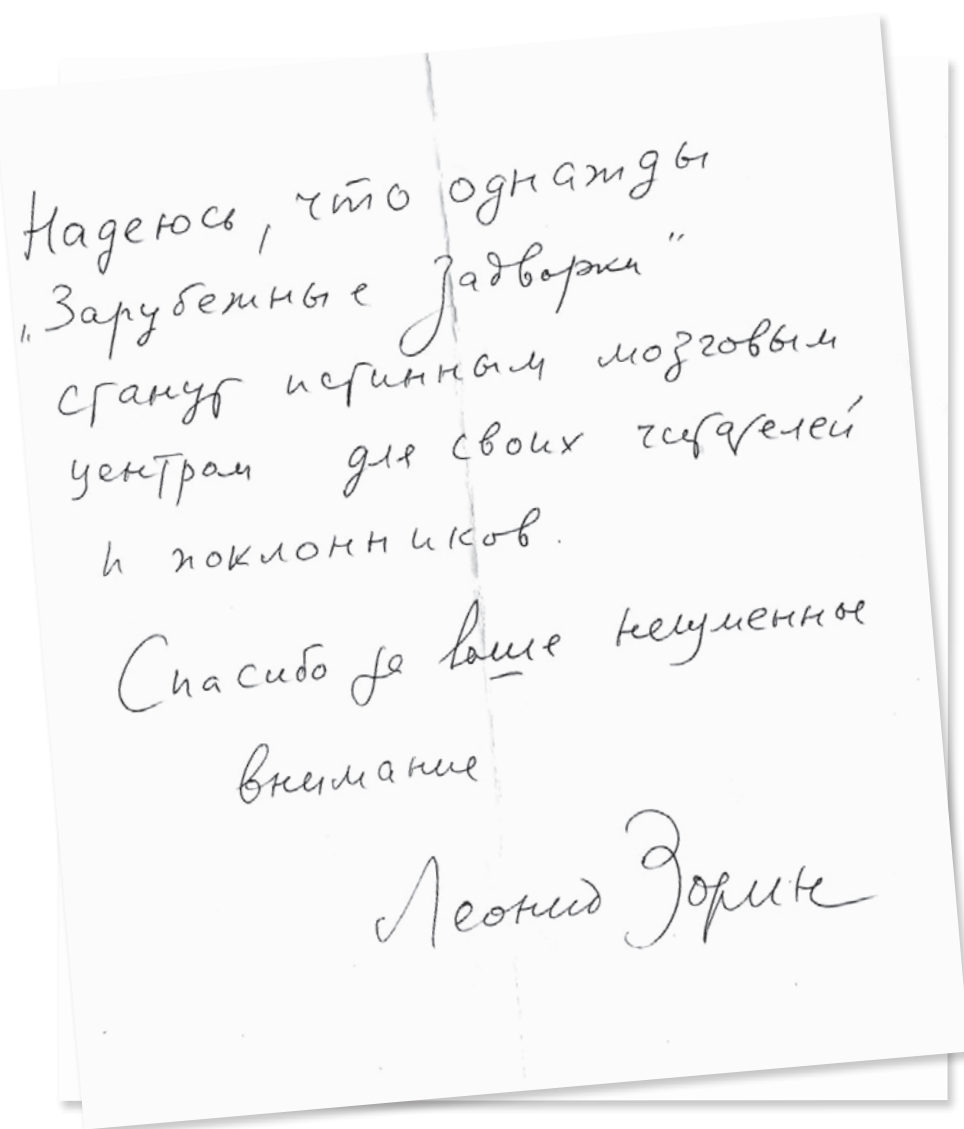


<i>Евгения Жмурко</i>	3	С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НОВЫЙ ЖУРНАЛ!
<i>Гайй</i>	4	ВАРИАНТЫ
<i>Игорь Дж. Курас</i>	9	СЕТЕРАТУРА И ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА
<i>Владимир Порудоминский</i>	11	ПОСЛЕЗАВТРА. БЕНЬКА
<i>Каринэ Арутюнова</i>	53	ИДУЩЕМУ НАЛЕГКЕ
<i>Наталья Борисова</i>	61	СЖАТАЯ ПРУЖИНА МАСТЕРСТВА
<i>Валерий Бочков</i>	63	БЕГ МУРАВЬЯ
<i>Андрей Медведев</i>	82	КАМО ГРЯДЕШИ?
<i>Евгений Имиш</i>	84	Я — 385 14 16
<i>Гея Коган</i>	92	ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО
<i>Елена Крюкова</i>	96	DIA DE LOS MUERTOS ХЛЕБ СМЕРТИ
<i>Нина Садур</i>	126	НЕТАКИСТЫ — ТЕТРАЖИСТЫ
<i>Марго Па</i>	144	ПЕРЕЛИЦОВКА
<i>Владимир Алейников</i>	151	СТИХОТВОРЕНИЯ
<i>Анна Агнич</i>	156	НАТЮРМОРТ С СЕЛЕДКОЙ И БЕЗ
<i>Алеся Шаповалова</i>	159	ЛЮБОВЬ ВСЕГО СИЛЬНЕЙ
<i>Григорий Блехман</i>	162	ДЕВОЧКА ИЗ МАГАДАНА
<i>Виктор Хатеновский</i>	199	НАДОРВИ МОИ ПЕЧАЛИ
<i>Борис Левит-Броун</i>	203	НЕ ЧЕРЕЗ РОДИНУ, А ЧЕРЕЗ ИСТИНУ... Размышления над эссе Осипа Манделштама «Петр Чаадаев»
<i>Юрий Холодов</i>	215	СЛУШАЙТЕ СЮДА!
<i>Александр Ланин</i>	227	ЖИЗНЬ ОДНА
Об авторах	234	КОРОТКО

---

---

НАПУТСТВИЕ нашему новому литературному журналу от Леонида Зорина, прозаика, драматурга, сценариста, автора знаменитых «Покровских ворот» и «Варшавской мелодии» и нашего друга.



Надеюсь, что однажды  
"Зарубежные задворки"  
станут истинным мозговым  
центром для своих читателей  
и поклонников.  
Спасибо за ваше внимание  
Леонид Зорин

Спасибо, дорогой Леонид Генрихович,  
мы не подведём!

---

---

*От редактора*

## С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НОВЫЙ ЖУРНАЛ!

**К**огда 5 лет тому назад я начала выпускать Зарубежные задворки, никому, и мне в том числе, не приходило в голову, во что это может вылиться. А вылилось это в Za-Za Verlag, которое всего за один год своего существования стало успешным, профессиональным издательством полного цикла. Мы осуществляем редактуру, корректуру, вёрстку, дизайн и разработку макета книги и обложки. За год изданы 32 книги, имя Za-Za Verlag сегодня знают в Европе и Америке. В конце прошлого года мы наладили контакт с российскими полиграфистами, и теперь наши книги печатают и в Москве. Наш партнёр ООО «Книги по требованию» организует их продажи на нескольких интернет-сайтах и в ближайшее время намерен начать поставки небольших тиражей в московские и питерские книжные магазины. Все подробности мы опубликуем в скором времени на обновленном сайте Задворок. Как говорится — следите за рекламой. Очень надеюсь, что писатели, ищущие издателей и читатели, ищущие хорошие книги, найдут все это у нас.

Мы отметили день рождения издательства, проведя удачный Литературный Конкурс. Произведения дюжины финалистов вошли в сборник МАЛАЯ ПРОЗА, а победителю, Елене Крюковой, как мы и обещали, готовим к выпуску книгу. В этом номере представлены все три лауреата нашей Литературной премии, но с другими сочинениями. Это Крюкова, Бочков и Имиш. Кроме этого, было решено выбрать из трех десятков изданных книг «Книгу года». При

том, что мы ценим и любим всех наших авторов — Нину Горланову и Вячеслава Букура, Владимира Горбунова, Игоря Фунта, Александра Строганова, Георгия Турьянского и всех, всех, всех, «Книгой года» был выбран сборник рассказов Валерия Бочкова «Брайтон-Блюз». Сильным аргументом в пользу награждения именно этой книги стало наше страстное желание вернуть русскому рассказу его былую славу. Сборник талантливо составлен, это двенадцать историй, герои и события которых не пересекаются, но все вместе составляют модель вселенной, в которой живет, ненавидит, страдает и любит особая порода людей — русские эмигранты. Мы от души поздравляем автора с творческой удачей. Кстати, книга прекрасно иллюстрирована.

Нам помогли в выборе «Книги года» толстые российские литературные журналы: два рассказа из «Брайтон-Блюз» в 2011-2012 годах напечатало «Знамя», следом еще четыре рассказа были опубликованы другими российскими литературными журналами. Ну и мы решили не отставать, и в первом же номере опубликовали еще один рассказ из этого сборника.

Бумажный и электронный выпуски Задворок не дублируют друг друга. Осталось сказать, что журнал будет выходить ежеквартально, а заказать его смогут читатели из Америки, России, Европейских стран.

*Е. Жмурко*

ГАЙЙЙ

## ВАРИАНТЫ

### Привет

Чудовища не дремлют на постах.  
Железный исполин в подземке ожил.  
И монстры так похожи на прохожих...  
Чтоб побороть хоть на мгновенье страх,  
Приходится всё время лезть из кожи.

Для маскировки нужно подражать  
Гудкам такси, автобусов, маршруток.  
Я не шучу, мне вовсе не до шуток!  
Я так устал от ужаса дрожать...  
Но мир снаружи нестерпимо жуток.

Давай с тобой дружить, жестокий мир.  
Прими меня в свое тугое лоно.  
Я стану образцовым эталоном  
Для подражания — этакий кумир,  
Улыбки выдающий по талонам.

Шучу... я знаю, нам не по пути.  
Забей на всё, останемся врагами.  
Журавль надежды ломкими ногами  
Сучит от безысходности... лети  
За мотыльком, журавлик оригами.

Безумие опять глядит в глаза...  
И от худых предчувствий скулы ноют...  
И снова на губах кипит парное...  
Привет, моя всеильная шиза!  
Входи, моя шальная паранойя!

## Чёрный квадрат

...в небе над морем чёрный висит квадрат,  
этакое бездонное антисолнце.  
Рыбы боятся, птицам — страшной стократ...  
всё же одна — к этой дыре несётся.

Кто ты, пичуга, — Джонатан? Казимир?  
Кажется, Джонатан. Главное, что снаружи,  
там, за квадратом, может быть, — квазимир,  
царство теней или того похуже.

Чувствуя всеми фибрами — не к добру,  
Джонатан без раздумий и подготовки  
сходу ныряет в этот квадрат, в дыру...  
и вылетает с клёкотом в Третьяковке...  
Паника... ужас... крики: «Беги! Беги!»...  
топот зрителей, прочих гостей столицы...  
Медленно  
в море  
падает  
с неба  
гид.  
Джонатан плачет. «Чёрный квадрат» пылится.

## Жизнь прекрасна

С маяком расправилась темнота.  
Океан небрежно слизнул причал.  
Жизнь прекрасна... просто она не та,  
О которой некогда я мечтал.

Деловит, нахрапист, цветёт сорняк.  
Королева гусениц правит бал.  
Небожитель, рослый, глухой скорняк  
Без наркоза шкуру с меня содрал.

Неземной указкой стучит по лбу  
Каллиграф, суровый магистр чернил.  
На кого был зол он, когда судьбу  
Ногтем на ладонях моих чертил?

## ые паруса

Сиди, укрывшись пледом, в темноте,  
Вонзив свой взгляд в квадрат окна напротив,  
Где кофе выкипает на плите,  
И головой о зеркало колотит —

Прекраснейшая некогда — Ассоль,  
Больная, сумасшедшая старуха.  
В душе её — саднящая мозоль,  
А на лице заплаканном — разруха.

Мечты её покоятся в пыли,  
Глаза хранят печальную картину:  
Кораблик, задремавший на мели,  
И парус, заражённый цветом тины.

Сиди, в артритем скрюченной горсти  
Заржавленный клинок тоскливо грея,  
Не в силах с дряблой кожи соскрести  
Инициалы капитана Грея.

## И вот началось

И вот началось: расплющило, потащило  
По тёмным улочкам, дворикам, кабакам.  
И кто-то шепчет в шею тебе: «Ты милый»  
И льнёт к рукам.

И кто-то водки нальёт и водки нальёт и водки,  
И будет трогать тебя, шептать: «До чего хорош».  
А ты, снаружи краткий такой и кроткий,  
Внутри — как ёрш.

И кто-то будет смеяться и топтать ножкой,  
А ты — задыхаться, и кто-то — шептать: «Малыш»,  
А ты улыбнёшься, с разбегу нырнёшь в окошко  
И полетишь...

## Плюс на минус

Ты — принцесса. Я придурок.  
Ты — святая. Я пройдоха.  
Я анфас и в профиль страшен, так что, лучше не смотри.  
Я дымящийся окурочок.  
Дай мне знак, и я подохну.  
Ты — запретный плод. Я нолик с червоточиной внутри.  
Я теряюсь без подсказок.  
Я ищу дорогу с лупой.  
Я старательно хромаю. Ты безжалостно паришь.  
Мы с тобой из разных сказок:  
Ты — из мудрой, я — из глупой.  
Я звучу, как г. Урюпинск. Ты звучишь, как г. Париж.  
Ты — прекрасная Венера.  
Я не Марс и не Меркурий.  
Плюс на минус, всё такое, мы с тобою не разлей.  
Если верить пионерам,  
Скоро Бог меня докурит.  
Подыщи мне, если сможешь, подходящий мавзолей.  
Повстречаюсь лично с Боссом:  
Будет даже интересно  
Притвориться сбитой пешкой в ролевой Его игре...  
Я вернусь к тебе, не бойся.  
Дай мне знак, и я воскресну.  
За тебя — в огонь и в воду, на тебе — как на игле!

## Варианты

Покидая в поезде кутерьму,  
толчею и прочий хаос вокзала,  
подготовь себя ко всему тому,  
что гадалка старая предсказала.  
Проводница Клавдия вдрызг пьяна.  
Ни о чём упорно бубнит попутчик.  
В поездах нельзя полагаться на  
то, что время вылечит, жизнь научит.  
Будь себе учителем и врачом  
и, пока водитель считает шпалы,  
слушай трёп попутчика ни о чём  
и рассказы Клавы о чём попало.  
Если твой сосед не обрежет нить  
разговора, лишка хлебнув из фляжки,  
если Клава станет тебя дразнить,  
задирать подол, оголяя ляжки,  
притворись умело, что ты простой  
представитель армии пассажиров:  
демонстрируй прыть, боевой настрой,  
правоту, уменье беситься с жиру.  
Ври прекрасной Клаве, что всей душой  
с малолетства тянешься к проводницам,  
что готов отдаться любви большой,  
соблазниться, сблизиться, породниться.  
Потрепав попутчика по плечу,  
взяв стакан, бочком пробирайся к двери.  
Если спросят: «Хочешь?», ответь: «Хочу!» —  
и когда тебе, наконец, поверят,  
резко в лоб соседу метни стакан,  
убедись, что Клава тебя боится,  
и шагни за двери, где ждёт стоп-кран,  
полоса в газете и психбольница.

Или Клаве сам задери подол,  
а потом, её красотой сражённый,  
попроси деньжат у соседа в долг.  
Если даст, возьми проводницу в жёны  
и сыграй с ней свадьбу в своём купе  
(пусть попутчик песню споёт любую),  
веселись без удержу, водку пей,  
благоверной пьяной до слёз любуясь.  
Поселитесь в тамбуре. По утрам  
о любви воркуйте, смотрите ящик,  
принимайте вместе по двести грамм,  
близко к сердцу, меры, гостей курящих.  
Вы семьёю будете дорожить,  
запасаться впрок и бельём, и чаем  
и безбедно, счастливо, долго жить-  
поживать, друг в дружке души не чая.

Или скрой за шторами век глаза,  
заслони щитами ладоней уши,  
не смотри вперёд, не смотри назад,  
никому не верь, никого не слушай.  
Повернись к стене и считай до ста.  
Потому что ночь, потому что поезд.  
Потому что ты от всего устал,  
сыт по горло, окаменел по пояс.  
Гробовым молчаньем заполни рот,  
даже если вкус нестерпимо горек,  
потому что ты убегаешь от  
вот таких попутчиков, клав, попоек.  
Ощущая рёбрами стук колёс,  
немоту охотно приняв за норму,  
просто жди, пока скоростной колосс  
твою тень не выплюнет на платформу.



## СЕТЕРАТУРА И ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА

Термин «сетевая литература» (или «сетература») стал синонимом свободного русского литературного творчества, не знающего границ, прописки, жёсткой литературной иерархии. Любой талантливый человек, пишущий на русском языке, может (потенциально) почти мгновенно представить своё творчество многомиллионной аудитории. И нет никакой разницы, живёт ли этот человек в России или отделён от метрополии океаном. Нет никакого значения, «заслужил» ли этот человек (по мнению кого-то) выход к читателю или ещё нет. Нравится это кому-то или нет, но по всему миру, во всех уголках планеты, на всех зарубежных задворках создаются литературные произведения на русском языке. Произведения, способные удовлетворить самый взыскательный читательский вкус.

Проблема сетературы заключается в том, что она, как золотоносный поток, нуждается в тех, кто (иногда азартно, а иногда терпеливо) может намывать из него золото.

Наблюдая то, что происходит с сетературой в последние несколько лет, я могу сказать, что существует четыре различных подхода к тому, как быть с этой золотоносной жилой.

Первый подход простой — вообще не замечать никаких изменений литературного ландшафта.

К сожалению, многие из тех, кто профес-

сионально должны были бы интересоваться нарождающейся русской литературой, делают вид, что ничего не видят. Это отсутствие чисто человеческого (я уже и не говорю про профессиональное) любопытства мне кажется странным и не очень искренним.

Второй подход — это предоставление права «намыывать золото» самому читателю. Существует множество ресурсов с минимальной работой редактора, позволяющих пишущему человеку выйти на огромную аудиторию читателей. Достоинством такой модели является абсолютная (в принципе, невозможная никогда ранее) свобода слова. Недостаток тоже очевиден: слишком много «руды» приходится «перелопатить» тому, кто ищет что-то в этом потоке. Слишком много того, что не будет соответствовать взыскательному вкусу.

Здесь мне хочется вступить за «нелюбопытных» профессионалов. Думаю, что именно этот подход к сетературе и отпугивает их. Не каждому хочется стоять по колено в воде в надежде намывать золото.

Третий подход — это литературные конкурсы. В такой модели появляется коллективный редактор. Судьи (основываясь на своём опыте и вкусе) выбирают те произведения, которые кажутся им интересными. Недостатком такого подхода к сетературе является сама структура конкурса, соревнования. Здесь неминуемо появляется внешний, не имеющий отношения к литературе элемент случайности.

Четвёртый подход — это традиционная редколлегия, отбирающая произведения и авторов для последующей публикации. При внешней схожести этого подхода с тем, как работает редколлегия «толстого журнала», сетевая модель обладает значительно большей мобильностью и свободой. Ориентированная на сетературу, она не боится экспериментов, не боится показаться эклектичной, не боится дебютантов — вообще, в сущности, не боится ничего, кроме плохих (по мнению редколлегии) текстов.

Существует много успешных проектов, построенных по такой модели, но, на мой взгляд, «Зарубежные задворки» — один из самых ярких и интересных. Благодаря неутомимой энергии Евгении Жмурко, её любви к русскому слову, её вкусу и «чутью», «Za-Za» уже пять лет уверенно занимает здесь место лидера.

Появление системы печати на заказ (которая, на мой взгляд, спасёт бумажную книгу и бумажный журнал от, казалось бы, неминуемой гибели из-за очевидной ещё недавно невозможности конкуренции с электронными публикациями), открывает совершенно новые горизонты для сетературы, выводя её, наконец, из сети на бумагу.

Пока нелюбопытные и осторожные «профессионалы» держат оборону в своих «толстых» журналах и «солидных» издательствах, этот новый нарождающийся подход к сетературе не только выводит её в собственно литературу, но и начинает игру на совершенно другом поле. Более азартная, рискованная, бесстрашная и мобильная редакционная политика (унаследованная от опыта работы в сети) позволит не только открывать новые имена, но и станет привлекательной для «людей с именем», уставших преодолевать искусственные преграды традиционных редакций. Система, при

которой не нужно печатать огромные тиражи в надежде на последующие продажи, даёт колоссальную финансовую независимость, что в современном мире означает и независимость художественную.

Учитывая тот факт, что бумажный журнал «Za-Za» выходит не вместо сетевого журнала «Za-Za», а вместе с ним — и материалы бумажного журнала не будут повторять материалы сетевого журнала — мы получаем исключительную издательскую гибкость, когда по каждому конкретному произведению может быть принято решение о том, на каком «носителе» это произведение будет выглядеть наиболее выигрышно.

Это, в свою очередь, означает, что у традиционных и медлительных толстых журналов появляется серьёзный, мобильный конкурент. Означает то, что именно такая модель способна обыграть застывшую в прошлом веке концепцию журналов, с доставляемыми «с курьером» произведениями, рукописи которых «не редактируются и не возвращаются». Для талантливого и умного молодого литератора (а молодым литератором является любой дебютант, независимо от возраста) публикация в «толстом» журнале перестанет быть критерием успеха, и он пойдёт в «новый» журнал. Для писателя «с именем» публикация в таком журнале будет подтверждением витальности и молодости его произведений. А читатель — этот неутомимый золотоискатель — сделает свой выбор, оказывая, таким образом, поддержку наиболее интересным и жизнеспособным изданиям. И это будет самая естественная и справедливая модель взаимодействия журнала (литератора) и читателя. Модель, которая была потеряна за последнее столетие русской литературы, и вот, наконец, возвращается обратно.

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

## ПОСЛЕЗАВТРА. БЕНЬКА

*Инне и Славе Вольфсонам*

### 1

**М**осковский поезд прибывал в Б. утром. Мама и папа никак не могли уйти с работы. На работе, и у папы, и у мамы, с недавних пор начались большие строгости. Многие втайне считали, что эти введенные суровыми законами строгости — к войне.

На вокзал — встречать дядю Иосифа — отправили Беньку.

Бенька бездельничал уже вторую неделю. В школе каникулы, в музыкальной школе — тоже. Оставались, правда, занятия с Жаком Изановичем, который давал ему частные уроки, но послезавтра, в воскресенье, Беньку увезут на остаток лета к тете Соне, в Борки, и, хотя родители, конечно, заставят его взять с собой скрипку, там, в Борках, можно будет не очень-то стараться с упражнениями: тетя Соня ничего не понимает в музыке (Бенька даже не слышал, чтобы она когда-нибудь пела), не то что мама, которая, только он возьмет случайно неправильную ноту, тотчас весело кричит ему «тю-тю» и этим ужасно его раздражает.

Посреди вокзальной площади городской озеленитель Каролина, которую все звали просто Лина, красивая полька с выбеленными перекистью волосами, размещала на клумбе-календаре плоские ящики — в них из цветочной рассады выложены были цифры и буквы. На Каролине был цветастый сарафан, такой же цветастый, как клумба. Хотя лето еще не успело вдоволь побаловать теплом, ее крепкие руки и полные плечи были темны от загара.

Горожане любили свой живой календарь, и редко кто, проходя через вокзальную площадь, не останавливался, чтобы увидеть и уяснить запечатленное в цветочном узоре мимолетное и неповторимое мгновение вечности. Они даже гордились своим календарем, кажется, полагая его местным изобретением, нигде более не ведомым; во всяком случае, когда Анна Марковна, Бенькина классная руководительница, возвратившись из Крыма, куда ей дали путевку как ударнику производства, рассказала, что в доме отдыха была точно такая же клумба-календарь, ребята не хотели ей верить, а некоторые даже на нее обиделись.

Бенька дождался, пока Каролина расположила ящики в нужном порядке, и прочитал:

20  
июня  
1941 года  
пятница

«Ну! — сказал Кривой Ефим, подъехавший со своей тачкой. — Теперь им снова понадобится пятница. И кому она мешала, я вас спрашиваю?»

Года не прошло, как в стране обратно ввели отмененную революцией семидневную неделю; названия дней — пятница, вторник, воскресенье — еще не потеряли приятный вкус заново обретенной новизны.

По перрону неторопливо прохаживался дежурный по станции Олейник в красной фуражке; он держал в руке кожаный футляр со свернутыми трубочкой флажками, желтым и красным.

С Ленькой Олейником, сыном дежурного по станции, Бенька учился в начальной школе; они даже целую четверть сидели на одной парте. Ленька в каждом классе оставался на второй год, потом отец устроил его в железнодорожное училище. Там Ленька тоже не выказывал заметных успехов. Бенькин папа, Боря, который преподавал в железнодорожном училище математику и физику, говорил, что Леньку не выгоняют только из уважения к отцу, заслуженному железнодорожнику и дежурному по станции.

Бенька сам не заметил, как пристроился вслед Олейнику, глядя в его плотный, выступающий из-под красной фуражки затылок, как вышагивал следом той же степенной неторопливой походкой, широко расставляя ноги.

Из громкоговорителя над перроном послышалась песня «Катюша». Куда ни пойдешь, все вокруг пели эту песню. Бенька тоже ее любил. И мама Муся любила. Иногда они с Бенькой пели «Катюшу» на два голоса. Когда прошлым летом Бенька был в Борках, он пробовал петь с Белкой, тетисониной дочкой, но у Белки, как, наверно, у тети Сони никакого слуха не было; она к тому же по-хулигански переиначивала слова, вместо «про степного сизого орла» пела «про дурного рыжего кота», — было смешно, но петь с ней не хотелось.

Песню в громкоговорителе выключили на середине, и вокзальная радистка объявила, слегка откашлявшись, что московский поезд прибывает по расписанию.

## 2

**Д**ядя Иосиф не приезжал в Б. целых двенадцать лет. Он, правда, и прежде, с тех пор, как его направили на учебу в промакадемию, лишь однажды навестил родной город: занятия, работа не оставляли времени на разъезды и свидания; главное же — строительство новой жизни, которому дядя Иосиф предался всей душой, которому отдавал все свои силы, звало вперед и вперед, отучало оглядываться. Последние двенадцать лет он и вовсе возводил на Крайнем Севере какие-то важные объекты, и было это так далеко, что оттуда даже до Москвы, по самым важным государственным делам, случалось, добирались едва не месяц, а иной раз и вовсе не могли добраться.

Недавно дядю Иосифа, совершенно для него неожиданно, срочно вызвали в столицу и назначили на ответственную работу в Наркомате. Папе Боре очень хотелось повидать старшего брата, но в весенние каникулы выпускные классы училища готовились к производственной практике — педагогам было не до разъездов; в Москву поехали мама Муся с Бенькой. Папа Боря провожал их на вокзале, говорил, что очень за них рад — и дядю Иосифа повидают, и Москву, но глаза у него были грустные.

Бенька до этого никогда не бывал в Москве, ездил, правда, несколько раз с классом в областной центр. Там ребят водили в краеведческий музей и в драматический театр.

В залах музея картины и макеты рассказывали о природе области, в витринах стояли чучела животных, которые обитают в здешних лесах. Животные были самые обыкновенные — медведь, волк, лиса, заяц, белка. Другие залы знакомили с историей края. Под потолком жарко пылал освещенный прожектором красный флаг — первый флаг Советской республики, водруженный после революции на здании горсовета. На высокой подставке красовался станковый пулемет со свесившейся почти до пола тяжелой патронной лентой. Драчливый и горластый Фимка Нухимзон тотчас начал громко объяснять его устройство, да с таким видом, будто он, как Чапаев какой-нибудь, косил из такого пулемета белогвардейцев. Фимка наладился даже хватать пулемет руками, но дежурная по залу пригрозила, что выведет его вон. Рядом с пулеметом в стеклянном шкафу висела длинная с красными нашивками на груди шинель убитого героя гражданской войны; здесь же находилась его остроконечная буденовка.

В Москве дяде Иосифу дали квартиру на седьмом этаже недавно построенного дома. Таких высоких домов Беньке прежде видеть не приходилось. А тут еще вдобавок — лифт. Земля вдруг вырвалась из-под ног, и сердце остановилось, и в животе защекотал холодок. На седьмом этаже дядя Иосиф заглянул в распахнутые восторгом Бенькины глаза, засмеялся: «Хочешь еще раз: вниз, вверх?» — и с царской щедростью снова нажал на кнопку.

Из окон квартиры далеко внизу была видна просторная красивая улица, которая вела прямо на Красную площадь. По улице, как корабли по реке, плыли троллейбусы и автомобили. Была какая-то особенная радость смотреть на мир вот так, с высоты птичьего полета, когда люди, перебегающие улицу на перекрестке, кажутся игрушечными фигурками, поодаль расстилаются застиранными красными половиками прямоугольники крыш соседних домов, и когда чудится — если высунешь руку в форточку, кончиками пальцев дотянешься до неба.

В первый же московский вечер Бенька с мамой Мусей отправились слушать оперу. Дядя Иосиф по броне достал билеты в Большой театр на «Руслана и Людмилу». Мама Муся заволновалась: пускают ли до шестнадцати на вечерние спектакли. «На эти места пустят», — сказал дядя Иосиф и слегка улыбнулся.

Дядя Иосиф, улыбаясь, поджимал верхнюю губу — от этого улыбка казалась снисходительной.

«Мы, три месяца в Москве, ни разу в театре не были. Ему всё некогда, — сказала тетя Маня, жена дяди Иосифа. — Я вообще уже забыла, когда была в настоящем театре».

«Хочешь, пойдешь вместо меня, — бросилась к ней мама Муся. — А я пока драчников наготовлю. Мы даже сумку картошки с собой привезли. У нас картошка особенная».

«Что ты, что ты, — отмахнулась тетя Маня. — Это я так, к слову. Тебе в оперу полезно. Ты у нас музыкант, а я — что? Расчетчик. Всю жизнь с цифрами. Арифмометр кручу. Костяшками на счетах щелкаю. Да и когда ты еще в Москву попадешь...»

«В ходе непродолжительной беседы стороны к соглашению не пришли», — улыбнулся дядя Иосиф.

Бенька тотчас схватил памятью это: «стороны к соглашению не пришли» — можно щегольнуть при случае. Сам того не замечая, попробовал поджать верхнюю губу — не получилось; только нижняя оттопырилась. Мама Муся покосилась на него и громко засмеялась.

Места были в ложе бельэтажа. Сидели в первом ряду, у барьера, обтянутого мягким красным бархатом. Пока не открылся занавес, Бенька восторженно вертел головой: золото, красный бархат, уходящие ввысь дуги лож и ярусов, обрамленные электрическими свечами в золоченых подсвечниках, хрустальные подвески, лучившиеся оранжевыми, зелеными, фиолетовыми иглами преломленного света, ниспадающий тяжелыми складками с неба на землю золототканый занавес и над всем этим круглый небосвод плафона и солнце люстры, переливающейся тысячами, или, наверно, миллионами сверкающих алмазов... — нет, это был не театр, это был мир, это была сказка, и это было счастье.

Зрители, наверно, тысячи зрителей, заполняли зал, вливались в соты лож, растекались по рядам партера, рассаживались. Их движение, голоса, звучание инструментов, которые в таинственной глубине оркестровой ямы пробовали и настраивали музыканты, сливались в общий гул, прекрасный и неповторимый, и, если бы в этот вечер Беньке даже ничего больше не довелось слышать, он навсегда сохранил бы в памяти этот сказочный гул.

Но вот в зале погас свет, в темной яме зажглись лампочки на пюпитрах оркестрантов, волной прокатились по рядам аплодисменты, дирижер поднялся на свой помост и поднял руку с палочкой...

Увертюру к опере Бенька помнил: ее часто передавали по радио. Еще — хорошо знал марш Черномора: ребята в фортепьянном классе, то и дело слышалось, выколачивали веселую, бурную мелодию из усталых школьных пианино. Лучшим исполнителем марша в музыкальной школе считался Гарик Розенвассер, сын всем известного в Б. главного врача детской поликлиники. У Гарика, тощего, с круглой, наголо остриженной головой и оттопыренными ушами, были большие кисти рук и на удивление длинные пальцы. Гарик пальцами хвастался и то и дело старался выставить их напоказ. Ногти у него были обкусаны. Марш Черномора Гарик играл на всех школьных вечерах и концертах, и, если даже по программе ему назначено было исполнять что-нибудь другое, из зала непременно раздавались требования: «А теперь марш Черномора!» — и он играл.

Поэму «Руслан и Людмила» Бенька впервые прочитал еще четыре года назад, в дни Пушкинского юбилея. Папа Боря поехал на педагогическую конференцию в областной центр, там на книжном базаре ему досталась необыкновенной красоты книжка со звонкими цветными картинками. «Всего три экземпляра было, но я изловчился», — похвастался папа Боря. Бенька с мамой весело переглянулись: чего, чего, а уж изловчатся папа Боря совсем не умел. Мама Муся выхватила из папиных рук книжку: «По-моему, я Руслана и Людмилу с детских лет не читала!». Папа Боря засмеялся: «Ну, вот, и прочитаешь вместе с Бенькой. И мне расскажете, о чем там. А то я уже не помню. Помню только, что всё хорошо кончается». Мама полистала сверкающие глянец страницы: «В поэме шесть песней. Будем каждый вечер читать по песне». «Как раз за шестидневку справитесь», — похвалил папа. Тогда еще недель не было, а были шестидневки.

...Занавес поехал вверх — на сцене шумно ликовал свадебный пир у киевского князя. Сцена была залита солнцем, ярко озарявшем богатое убранство княжеских палат и радостное соцветье костюмов. «Ах, как хорошо!» — прошептала мама Муся и взяла Беньку за руку. «А голова будет?» — тихо спросил Бенька. В поэме ему особенно нравилось описание боя Руслана с головой. Тогда, четыре года назад, к юбилею, в школе задали сделать

картинку на тему какой-нибудь пушкинской сказки, и он, не задумываясь, нарисовал гигантскую голову в половину альбомного листа, — щеки у головы были раздуты, из губ вырывался ветер, а встречу ветру бесстрашно мчался Руслан с копьем в руке...

На сцене появилась женщина, полная и немолодая, со знакомым некрасивым лицом. На ней было широкое голубое платье до пола, делавшее ее еще полнее. «Людмила», —дохнула мама в ухо Беньке. Бенька хотел улыбнуться: вот так невеста молодая!.. — но мама Муся опередила: «Барсова!» —дохнула она снова. Бенька много раз слушал по радио, как Барсова поет алябьевского «Соловья»: чудо!.. В музыкальной школе висели фотографические портреты народных артистов Советского Союза; под портретом Барсовой было написано: «Советский соловей». И правда...

Потом, уже дома у дяди Иосифа, мама Муся всё распевала каватину Людмилы: она сняла праздничное темно-красное платье (Бенька и папа называли его «вишенка»), надела веселый домашний халатик, повязала косынкой черные, коротко, как у девочки, постриженные волосы и, распевая, ловко хозяйничала в кухне — сразу на двух сковородках жарила картофельные оладьи, драники.

«Я таких драников шестнадцать лет не ел, — сказал дядя Иосиф. — Как в двадцать пятом уехал в Москву учиться, больше уже не ел. Такие драники только в Б. готовят. Это ведь ты, Муся, такие делаешь, как у мамы покойной?»

«Непременно как у мамы». Мама Муся на минуту прервала пение, быстрым движением перевернула звонко потрескивающие на сковороде оладьи и запела снова.

Дядя Иосиф заехал домой только отдохнуть; поздно ночью, в час или в два, за ним должны были прислать машину — в Наркомате по ночам тоже работали.

«Артистка, — сказала тетя Маня, прислушиваясь к маминому пению. — Красиво поет». Лицо ее и голос показались Беньке печальными.

«За это ее Борька и любит», — отозвался дядя Иосиф, тоже, как показалось Беньке, серьезно.

Бенька без охоты тянул из большой кружки молоко, которого терпеть не мог; зато ему разрешили, хотя было уже к полуночи, не ложиться спать.

«Ну, как, голова была?» — повернулся к нему дядя Иосиф.

«Еще какая голова! Огромная, как гора. И пела. И рот открывался».

«О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?.. — хорошо и верно пробасил дядя Иосиф за Руслана. — Что? Не хуже Рейзена? Борька так может?»

«У нас только мама поет», — сказал Бенька.

«Ну, это оттого, что папа помалкивает». — Дядя Иосиф слегка улыбнулся.

«А я не умею петь, — грустно сказала тетя Маня. — И драники печь не умею. Только считать».

Дядя Иосиф подошел к двери, с порога крикнул в кухню: «Муся, как там драники? Я ведь только из-за них приехал. Вообще-то я в Наркомате ужинаю»...

### 3

**В**окзальная радистка выключила музыку. Минуту-другую громкоговоритель молчал, сонно посапывая. Потом радистка, откашлявшись, еще раз объявила, что московский поезд прибывает по расписанию и поставила буденновский марш. Его всегда ставили к приходу поезда.

Бенька разучивал этот марш в школе на уроках пения. «Газыри лежат рядами на груди, треплет ветер голубые башлыки...» — повторяли ребята слова вслед за учительницей, Ниной Ивановной. Никто не понимал, что за газыри такие, что за башлыки. «Ну, газыри — это патроны, что ли, на грудь нашивают, — Нина Ивановна провела ладонью по узкой плоской груди, упрятанной под серой вязаной кофтой. — Помните, танцевальный ансамбль из центра приезжал, лезгинку танцевали?.. А башлыки — вроде шарфов, что ли...»

Дежурный по станции Олейник тоже воевал в Первой Конной; 23 февраля, в День Красной армии, он вместе с другими героями гражданской войны сидел в школьном зале на сцене. Теперь Бенька, невольно бормоча привязчивые слова, старался представить себе, как Олейник, большой и тяжелый, скачет верхом, на груди его черной форменной тужурки рядами нашиты патроны, а плотная шея под красной фуражкой обмотана голубым, выющим на ветру шарфом.

Под звуки марша вкатил свою тачку на перрон Кривой Ефим.

Кривому Ефиму было больше шестидесяти лет — совсем старый. Однажды Бенька слышал своими ушами, как он рассказывал кому-то, что видел царя, когда тот в собственном поезде проезжал через Б. на войну. Царь стоял у окна вагона и курил папиросу. Он заметил на перроне Ефима с тачкой и помахал ему рукой в белой перчатке.

В городе все знали Ефима, и он знал всех, но вряд ли кто-нибудь помнил его фамилию: Кривой Ефим — и точка. Несмотря на возраст, он был еще очень силен: без труда выжимал двухпудовую гирю, которая имела на вокзальном складе.

Как заправский носильщик Кривой Ефим надевал белый холщовый картуз и белый фартук с шестиугольной медной бляхой на груди; на бляхе был выбит номер «12», хотя одиннадцати других носильщиков в Б. никогда не водилось. Он исполнительно появлялся на перроне ко всем поездам, имевшим остановку в Б., но приезжих, которым требовались его услуги, находилось не так-то много; всё остальное время с утра и до вечера Ефим бродил со своей тачкой по городу, что-то привозил, что-то увозил и за всякую исполненную работу брал одну и ту же плату — рупчик. Этих рупчиков ему хватало, чтобы каким-то неведомым образом содержать себя и свою бездетную супругу, Толстую Мнуху, которую именовали так в отличие от другой Мнухи, тощей и многодетной, торговавшей у входа на базар жареными семечками. Совершая свои эволюции по городским улицам, Кривой Ефим едва не с каждым встречным останавливался поговорить и с каждым, с кем остановился, находил, о чем поговорить: сообщал новости и выспрашивал, давал советы, размышлял вслух, вспоминал прошлое и пророчил будущее.

«Что? Или встречаем Йосифа? — Кривой Ефим подрулил со своей тачкой к Беньке. — Говорят, он в Москве теперь большой человек?»

«В Наркомате, — заважничал Бенька. — Квартира на седьмом этаже».

«Ниже не могли найти?» — удивился Кривой Ефим.

«Там же — с лифтом, — засмеялся Бенька. — Нажал кнопку — и на седьмом».

«Да — не Крыжополь...». Ефим почистил ногтем уголок пустого глаза.

«Из окна Красную площадь видно. И Большой театр», — приврал Бенька.

«Ну! — сказал Кривой Ефим. — Так он-таки, Иосиф, не зря еще пацаном был горой за советскую власть?..»

Дежурный по станции Олейник вытянул из кармана тужурки часы на ремешке, сверил с уличными, висевшими над перроном, и тем же неторопливым шагом, широко ставя ноги, направился к зданию вокзала. Громкоговоритель замолчал, пошуршал разрядами эфира,



наконец сквозь шорох снова проклюнулся легкий кашель и голос радистки: московский поезд опаздывал на пятнадцать минут.

Московским поездом в Б. прибывали редкие пассажиры, соответственно, и встречавших собиралось наперечет.

Нередко, правда, иные из горожан, оказавшиеся в этот час на вокзальной площади, подходили из любопытства — поглядеть, кто приехал, да и на самый московский поезд. Возле красного противопожарного щита, на котором развешены были багор, топор, ведро и огнетушитель, курила озеленитель Лина в цветастом сарафане; пепел с папиросы она стряхивала в окрашенный тем же суриком ящик с песком.

Беньку окликнула тетя Лиза Валуйко:

«Говорят, Иосиф приезжает?».

«На три дня всего...».

Бенька будто оправдывался и оправдывал дядю Иосифа.

...Что-то у них было, у дяди Иосифа и тети Лизы, сто лет назад. Кажется, большая любовь. Иосиф был тогда секретарем парткома в железнодорожных мастерских, а Лиза работала там чертежницей. Они уже хотели пожениться. Но Иосифа направили в Москву на учебу. И он почему-то не взял Лизу с собой. И не писал ей. Лиза долго ждала, а потом вышла замуж за командира Красной армии Зарецкого. Бенька его хорошо помнил. Тетя Лиза, большая, улыбчивая, с серыми глазами и толстой светлой косой, уложенной вокруг головы, и рядом, ей по плечо, легкий, всегда как взведенная пружина Зарецкий, со смуглым узким лицом индуса, глубоко запрятанными колючими глазами и черными топырившимися усами. «Пальцем бы поманил, она бы и сейчас к нему на Северный полюс помчалась», — слышал Бенька, мама Муся однажды сказала папе — и понял: про тетю Лизу и дядю Иосифа. «Если бы только в этом дело, — сказал папа Боря. — Да и наш Иосиф, похоже, теперь не на полюсе». «Когда любишь, мчишься непременно на полюс. На северный. Или — на южный. Всё равно. Иначе — ничего не получится».

Мама и папа дружили с тетей Лизой...

«А я Танюшку встречаю, — сказала тетя Лиза. — Соскучилась ужасно».

...После того как расстреляли Зарецкого, тетя Лиза поселила дочку Таню у бабушки, где-то на Урале. Зарецкий был человек известный; о том, что он оказался врагом народа, даже в газетах написали. Директор школы в Б., где раньше училась Таня Зарецкая (классом старше Беньки), требовал, чтобы она отказалась от отца. Но Таня не захотела отказываться... И тетя Лиза увезла ее к бабушке. Потом директор школы тоже оказался врагом народа, но Таня в Б. так и не вернулась. Раньше тетя Лиза была завучем в железнодорожном училище; после ареста Зарецкого ее перевели учителем черчения. «Никто и не пошевелился, — сказал папа Боря, слышал Бенька. — И я не пошевелился. Все, наоборот, радовались, что так хорошо обошлось. Сколько раз на дню встречаю Лизу, столько раз стыдно ей в глаза смотреть». Папа Боря помолчал, поправил очки, хотя они крепко сидели на его большом носу (это у него привычка — поправлять очки, как будто они съезжают): «А Лиза — молодец. Несмотря ни на что — живая». «Главное, у нее глаза не отучились улыбаться», — сказала мама Муся...

«Папу с мамой с работы не отпустили», — посетовал Бенька (хотя в душе рад был, что один, по-взрослому, на вокзале).

«А я хитрая, — улыбнулась тетя Лиза. — У меня по пятницам свободный день. Такое расписание. Ты в Борки надолго собрался?».

«На всё лето».

«Жалко. Гуляли бы вместе с Танюшкой каникулы. Ну, ничего, я ее к вам на недельку подкину. Вот сама на нее нарадуюсь как следует, и к вам пошлю, чтобы вы нарадовались».

Бенька вспомнил Таню Зарецкую, ее светлую косу, точно такую же, как у тети Лизы, ее серые, всегда будто чем-то удивленные глаза — и огорчился: в самом деле, жалко уезжать. Белка всегда почти рядом, а с Таней когда еще увидишься. Надо попросить родителей, чтобы привезли в город хоть на несколько дней, тогда можно даже сходить с Таней вечером в парк, в открытый кинотеатр. Там без строгостей — на вечерний сеанс пускают и до шестнадцати.

«Вы когда уезжаете?» — спросила тетя Лиза.

«Двадцать второго. В воскресенье».

«Самый хороший день в году, — сказала тетя Лиза. — Самый длинный. Самый светлый».

## 4

**М**еждународный вагон можно было узнать издали: в цепочке синих вагонов единственный светлого коричневого цвета. Когда состав остановился, международный оказался прямо против главного входа в вокзал.

Первым на перрон спустился проводник, высокий, плотный, в красивом мундире с золотыми пуговицами в два ряда; выглядел он, пожалуй, даже главнее Олейника, хотя Олейник был дежурный по станции, а проводник — просто проводник.

Следом показался дядя Иосиф, проводник принял у него чемодан, потом, прощаясь, приложил руку к козырьку фуражки.

Бенька огляделся: ему требовались свидетели его торжества, но немногочисленные встречающие были заняты своими приезжими, до Беньки никому дела не было.

Из международного, кроме дяди Иосифа, никто не вышел, на окнах вагона были наглухо заперты белые занавески, то ли спали там все, внутри, то ли вообще никого больше не было.

Тотчас подоспел Кривой Ефим со своей тачкой: «Сдавай багаж, Йосиф. Цена прежняя».

«Неужели рупчик? — засмеялся дядя Иосиф. — Ты, Ефим, великий экономист. Целый мир переменялся, а у тебя всё — рупчик».

«Я тебе, Йосиф, так скажу: оно, конечно, раз на раз не приходится, но жизнь долгая — выравнивается».

Чемодан у дяди Иосифа был большой, красивой желтой кожи, и видно, что набит до отказа. Дядя Иосиф перехватил Бенькин взгляд: «Одни подарки». (Спросить бы, что ему привез.) В руке у дяди Иосифа была еще сетчатая сумка с апельсинами (каждый плод завернут в прозрачную бумагу). Бенька уже попробовал апельсины, когда ездил с мамой Мусей в Москву.

«Привет, Иосиф! Надолго?».

Это тетя Лиза Валуйко, проходя мимо, замедлила шаг.

«В понедельник утром на работу».

«И чего спрашивает: я ведь ей сказал — на три дня», — подумал Бенька.

«Что ж так коротко? Целую вечность не был».

«Работа. Хорошо, на три дня вырвался».

«А ты постарел. Или нет, не постарел — посолиднел, что ли».

«Тороплюсь. Не оглянешься — полсотни разменяю...»

Тетя Лиза улыбалась, и дядя Иосиф улыбался, но Бенька чувствовал, что ему хочется быстрее закончить разговор.

Таня Зарецкая сильно выросла, пока не виделись, — выше Беньки на полголовы. Косу обстригла — волосы совсем короткие, и от этого взрослое лицо. Еще неизвестно, пойдет ли она с ним в парк на вечерний сеанс. Да и в кинотеатр, если всё-таки до шестнадцати, ее, пожалуй, пустят, а его, скорей всего, нет. Хорошо, что послезавтра в Борки.

«Как там, на Урале?» — спросил Бенька.

«Здорово. Горы — рядом совсем. Я геологом буду. Решено. — Серые Танины глаза смотрели так, будто она сама удивлялась тому, что говорит. — Мне уже этим летом предлагали в геологическую партию...». («Врет», — подумал Бенька.)

«А я весной в Москве был, — не упустил он своего. — У дяди Иосифа там квартира на седьмом этаже. Лифт. Красная площадь рядом. Большой театр».

«Кажется, целая жизнь прошла, — улыбалась Лиза. — Сколько было всякого...».

«У меня было — одна работа. Только работа. Больше ничего».

Иосиф говорил с каким-то даже ожесточением, и Бенька вдруг заметил яркие белые нити в его жестких черных волосах, глубокие морщины на щеках, тяжелые лиловые веки.

«Мама, пошли». Таня удивленно смотрела на Иосифа.

«Клади багаж на тачку, — приказал Кривой Ефим тете Лизе. — По дороге наговоритесь».

«Нам сегодня в другую сторону», — сказала тетя Лиза...

Вышли на вокзальную площадь.

«Дай оглядеться, дух перевести», — дядя Иосиф придержал Кривого Ефима за плечо.

«Дыши, Йосиф, дыши, — сказал Кривой Ефим. — В Москве ты такого воздуха не получишь. Давно же ты дома не был».

«Двенадцать лет. А по-настоящему получается и того больше».

По-настоящему, если не считать, что в двадцать девятом перед отъездом на Север примчался на день-полтора попрощаться с родителями (оказалось, навсегда), по-настоящему получилось целых шестнадцать лет.

Шестнадцать лет назад, в двадцать пятом, таким же погожим июньским днем он стоял на перроне, нет, перрона еще не было, на дощатой платформе Б-ского вокзала, — в нагрудном кармане путевка губкома партии на учебу в Москву, в руке зеленый фанерный чемодан, в чемодане — скудная одежда, пачка книг и заботливый материнский кулек с холодными драниками. Родителей он на вокзал не взял, и они понимающе уступили: мужчина под тридцать, имеется невеста, можно сказать, жена, ей и провожать.

20  
ИЮНЯ  
1941 года

увидел Иосиф составленный из живых цветов календарь. Тогда, в двадцать пятом, никакого календаря, конечно, не было, но число, может быть, было то же самое — двадцатое июня, и даже наверно то же самое — помнится, Лиза говорила про самый длинный день в году.

Они с Лизой решили: как только он обоснуется, сразу же вызовет ее к себе. Но обосноваться в столице оказалось непросто: сперва койка-раскладушка в коридоре Дома железнодорожника, где определили ему место ночлега, потом маленькая комната на троих в

общезнанию академии, возведенном на Покровке. Соседями были два его товарища по учебе и по партийной ячейке — Бакин и Бакалин. Кроме того, что фамилии странно совпадали, оба как бы дополняли один другого: шумный богатырь Бакин с раскосыми глазами скифа, готовый всякую минуту встрять в шишку, и маленький неприметный Бакалин, сосредоточенно вслушивавшийся во всё, что происходило вокруг, тихо и точно осмыслявший всё, что услышал. (Оба стали серьезными руководителями и оба безвозвратно сгнули через десяток лет.)

Но дело, конечно, не в жилье: приехала бы Лиза, что-нибудь само собой образовалось бы, — просто на семейную жизнь не оставалось ни времени, ни сил, ни желания. Москва с первого же дня закружила в водовороте: собрания, дискуссии, митинги — борьба с оппозицией, да не борьба — война, где врага уничтожают и пленных не берут, а оппозиция — поди разберись! — те самые вожди, чьи портреты недавно вместо икон вешали! Сам Троцкий — оппозиция!.. Парторг академии, крепыш-колобок, круглая лысеющая голова, нос картошкой, серая блуза-толстовка, подпоясанная кавказским ремешком) шаровой молнией катался по аудиториям, колотил кулаком по кафедре — звал, гнал в бой. Однажды, случайно оказавшись рядом в накуренном парткабинете, вдруг повернулся к Иосифу: «Говорят, хорошо учишься? Молодец. А я, понимаешь, совсем забросил. Сейчас партийная наша борьба — во главе угла. Победим — возьмемся за книжки. Подучусь чему-нибудь». Но Иосиф-то знал, что учиться надо не смотря ни на что и жадно желал учиться. Это знание, желание это, полученное от дедов и прадедов, у него от рождения в крови было растворено, жило в каждой клеточке тела. Откуда-то из вековых глубин он нес в себе убеждение, что только учением проторит себе достойный путь в этом косящемся на него с недоверием мире...

Доучиться всё же не пришлось (потом уже сдавал экстерном). Тот же парторг-крепыш вызвал однажды: «Нужны толковые мужики. Начинаем строить оборонку». (Это еще до Беломорканала.) Он сложил в чемодан одежду, какая была (ничего в Москве не нажил), опять же книги — и отправился по месту назначения. Вот только драпировки на дорогу напечь было некому...

...Посреди клумбы с календарем стояла красивая польская женщина Каролина в цветастом сарафане. Полные ее плечи были темные и теплые от загара. Она смотрела яркими зелеными глазами на Иосифа и улыбалась. Он посмотрел на нее и тоже улыбнулся. И тотчас почувствовал, как у него повеселели глаза, морщины разгладились и задышалось легче.

## 5

Они двинулись по улице Ленина, которую Иосиф помнил еще как Вознесенскую, — на ней, неподалеку от вокзала, стоял большой Вознесенский собор, главный храм в городе. Иосиф помнил, как со всех пяти куполов собора спливали кресты, потом снесли и сами купола, и собор превратился в тяжелое неуклюжее строение непонятого назначения. Одно время Иосиф по направлению горкома заседал там в мобилизационной комиссии: огромное пространство храма было битком набито ребятами-призывниками из окрестных мест, в алтаре хозяйничали медики, из царских врат выходили голые парни, прикрывая скомканной одеждой срам, в приделах парикмахеры лязгали

ножницами, со свистом правили на ремне бритвы; святые со стен печальными немигающими глазами взирали на всю эту суету.

«Раньше Зарецкий ее на машине встречал, — сказал Кривой Ефим про тетю Лизу. — Он ее летом всегда на Кавказ отправлял. Он, говорят, сам был какой-то кавказец. А, Йосиф?». Дядя Иосиф ничего не ответил. «Горячий был, шумел, кричал. Чуть что, говорят, — за револьвер. А?». «Я с ним знаком не был», — сказал дядя Иосиф. «Он разве не при тебе появился?» Кривой Ефим удивленно повернулся к Иосифу. «Ты все-таки шагай потихоньку, — сказал дядя Иосиф. — А то мы до вечера не доберемся».

...Они шагали по улице Ленина, Бенька, дядя Иосиф и Ефим с тачкой, на которой высился невиданно красивый чемодан желтой кожи (чемодан Маня очень кстати высмотрела в комиссионке накануне отъезда). Они шагали неторопливо, торопиться было некуда, и Бенька, замирая от горделивой радости, примечал, что все шедшие навстречу — все, как один — с интересом заглядывались на дядю Иосифа и, уже разминувшись, оборачивались, чтобы еще раз взглянуть на него, потому что не всякий день увидишь на этой улице такого человека, который, как посмотришь, тотчас понятно, что не здешний, и даже не из областного центра, а скорей всего, — московский, даже непременно московский, тем более, что на вокзал четверть часа назад прибыл московский поезд. Ну, конечно же, — каждому сообразительному встречному ясно, — человек приехал из Москвы: ладно сидящий серый костюм (сшили по ордеру в совнаркомовском ателье к партактиву), плащ через руку и апельсины в сумке, и эта не здешняя походка, такой походкой свысока только там, в Москве ходят. И, шествуя рядом с дядей Иосифом, Бенька, так само собой получалось, выражением лица, каждым своим движением показывал встречным, что для него этот не вполне ожидаемый здесь человек — свой, привычный и что он, Бенька, даже не замечает этого интереса встречных.

Утро было теплое и обещало жаркий день. Улица еще не раздышалась после ночного дождя, пахло влажной землей, камнем, обсыхавшей листвой. Собираясь в Б., Иосиф был уверен, что, как ступит с вагонной площадки на перрон, тотчас погрузится в громоздящийся вокруг картинами и образами мир воспоминаний. Но вот он шагал по главной улице города, прежней Вознесенской, которую знал когда-то от начала до конца наизусть со всеми ее домами, вывесками, подворотнями, выбоинами на булыжной мостовой, цветочными горшками на окнах, и его не оставляло чувство, что он идет по какому-то другому, прежде неведомому городу, отчужденно поднимавшемуся вокруг, тогда как тот город, в который он стремился, прячется где-то рядом, за этими деревьями, стенами и заборами, и нужно еще совершить, если удастся, усилие, чтобы пробиться к нему. И, неторопливо глядя вокруг, узнавая памятью и не узнавая душой то, что видит, Иосиф понемногу начал думать о назначенном на понедельник вечером совещании у наркома. Как-то неожиданно было оно назначено, и без объявления темы; это его тревожило.

Они проходили мимо главной городской аптеки имени Семашко, когда-то она именовалась Николаевской. На матовых стеклах окон сияли с детства знакомые Иосифу красные кресты. Некогда за прилавком аптеки возвышался по-гвардейски статный хозяин заведения, поляк с княжеской фамилией Радзивилл; в определенные праздничные дни аптекарь дарил детям мятные и анисовые таблетки, от которых рот на целый день заполнялся сказочным ароматом. После революции Радзивилл сбежал в свою Польшу, сын же его, Андрей, порвавший с отцом, служил в Красной армии, а после в городской ЧК, — по делам службы он часто наведывался в железнодорожные мастерские.

Кривой Ефим вдруг остановился и развернул тачку так, чтобы зрячим глазом лучше видеть Иосифа.

«Слушай, Йосиф, — спросил Кривой Ефим, — а как там у вас в Москве с продуктами?»

«Не жалуемся», — дядя Иосиф поджал верхнюю губу и улыбнулся.

«Такие штуки всегда можно купить?» Кривой Ефим показвл пальцем на сетку с апельсинами.

«Такие штуки — не всегда, — улыбался дядя Иосиф. — Зато разные другие штуки — пожалуйста».

«Смотри ж ты! — с чувством сказал Кривой Ефим. — Это, Йосиф, большая удача».

Они тронулись было дальше, но Кривой Ефим, видимо, пораженный нежданно явившейся мыслью, снова остановился и развернулся зрячим глазом к Иосифу.

«Слушай, Йосиф, что я тебя спрошу, — он прикоснулся пальцем к пустоте глаза. — Почему вообще получилось, что я тебя спрашиваю, как в Москве с продуктами? Разве в старое время, когда человек приезжал из Бобруйска, из Гомеля, даже из Крыжополя, его спрашивали, как в Крыжополе с продуктами?».

Дядя Иосиф улыбнулся: «Похоже, с политграмотой у тебя, Ефим, не очень».

«Какая политграмота, Йосиф! Вся моя политграмота, это когда я хожу по улицам и разговариваю с умными людьми».

«Тогда я отвечу тебе так. Мы сейчас строим далеко на Севере, где раньше не ступала нога человека, металлургический комбинат, который будет давать больше металла, чем вся старая Россия. Смекаешь, что я хочу сказать?».

«Я так смекаю, что у вас большие дела, Йосиф?».

«Мы решаем задачи, каких никто в истории не решал».

«Эти штуки, значит, потом?» Кривой Ефим снова показал пальцем на сумку с апельсинами.

«Эти штуки — потом», — удовлетворенно кивнул головой дядя Иосиф.

...В двухэтажном кирпичном здании сельскохозяйственного техникума на углу улицы Ленина и Чапаева (бывшей Богоявленской: она вела к реке) помещалось когда-то городское реальное училище.

«Видишь — два окна, крайних справа, на первом этаже? — показал Беньке дядя Иосиф. — Это мой класс».

Бенька представил себе дядю Иосифа, в его сером костюме и с плащом через руку, втиснувшего свое большое тело на узенькую скамейку парты:

«А раньше тоже надо было вставать, когда учитель входит?»

Если дядя Иосиф встанет, парта, наверно, будет ему до колен.

Дядя Иосиф вспомнил учителя математики, сухонького, ядовитого старичка, по прозвищу Угол в квадрате. Старичок постоянно придумывал всяческие каверзы: «А ну, отвечай, да без задержки: два в квадрате? три в квадрате?..» Не давая опомниться, пристукивал по столу костлявой ладонью: «Четыре в квадрате? пять в квадрате?..» «...Девять — шестнадцать — двадцать пять...» — поспешая вслед, чеканил ученик. И вдруг: «Угол в квадрате?» Ну?

«Два угла?..» — от неожиданности выпалил Бенька.

Дядя Иосиф захохотал: «Вот именно. Садись. Двойка. Угол в квадрате равен девяноста градусам».

Еще он вспомнил, как знаменитый хулиган Фомин, сын квартального, затащил однажды в училище с улицы козу. Учитель вошел в класс, а у доски перепуганная черная коза, жалобно мекает и сыплет на пол орешки...

«Их потом расстреляли, Фоминых, и отца, и сына, — вмешался в разговор Кривой Ефим. — Вместе свели в чеку — и расстреляли...»

(Нарком, когда отпускал Иосифа на три дня, казался спокойным, даже веселым. Пошутил: три дня тебе отдыха, зато потом ни отпуска, ни выходных. Но он и так работал без выходных...)

Вознесенский собор десять лет назад перестроили в кинотеатр. Высоко над фасадом поднимались тяжелые, угловатые буквы «ОКТЯБРЬ». По обе стороны от входа ярко пестрели большие фанерные щиты с афишами. На щите слева летел по небу самолет, а внизу, под ним, стояли два летчика, темноволосый и светловолосый, оба очень красивые, в красивой летной форме, — герои «Истребителей». Справа половину щита занимала белая шляпа с перьями красавицы— певицы Карлы Доннер: вот уже несколько месяцев по вечерам крутили «Большой вальс» — и всякий вечер полный зал. У певицы на афише были желтые волнистые волосы, ослепительно красные губы и сияющие бирюзой огромные глаза.

Дядя Иосиф задержался, разглядывая афиши. Афиши для кинотеатра рисовал художник Константин Арганов. Художника в городе не любили и побаивались. Папа Боря смеялся: «Он даже когда здороваается, кажется, что говорит дерзости». Мама Муся не соглашалась: «Ты заметил, какая у него тоска в глазах?» Глаза у Арганова были серые, узкие, будто прищуренные. И сам он был узкий, костлявый, и все время поеживался, будто его знобило. «Никакая не тоска, — сердился Бенька. — У него глаза злые». «Злоба и тоска часто бывают сестрами», — не очень понятно отвечала мама Муся.

«Я этого Арганова по реальному помню, — сказал дядя Иосиф. — Он всегда был такой сердитый. Рос без отца, в бедности. Мать колотила сильно».

«Они с матерью теперь в нашем доме живут, на Московской, — сказал Бенька. — Только на первом этаже. Он, как приехал из Средней Азии, так у матери поселился».

Мать Арганова была такая же высокая, костлявая, как сын, и глаза точь-в-точь такие, как у него, прищуренные, недобрые... Завидев старуху, Бенька старался обежать ее стороной. «Он в Средней Азии знаменитый человек был. Картины, говорят, в музее висели, — сказал Кривой Ефим. — Потом не поладил что-то; говорят, еле ноги унес... А что, Йосиф, эта Средняя Азия подальше будет, чем Крайний Север, или поближе?..».

«Смотря как ехать...».

Кривой Ефим толкнул тачку, они неторопливо двинулись дальше.

«Безобразие! Сто лет в кино не был. Вечно некогда. Работа... — сказа дядя Иосиф. — Даже «Большой вальс» не видел. Вся страна видела, а я не видел. Однажды начал смотреть — и не досмотрел...»

Фильм крутили летней полярной ночью в небольшом дощатом строении, оборудованном под клуб для начальства. После долгого тяжелого дня (торопились на все сто процентов использовать светлое время года), после котлованов, траншей, труб, возводимых стен, комковатой, промерзлой, не оттаявшей даже в летнее время земли, после цемента, кирпича, железа, после грохота, гула и тархтения моторов, металлического лязга, лая собак, переключки человеческих голосов, напряженных подсчетов, прикидок, неожиданных решений трудно было встроиться душой, мыслью, воображением в то, что происходило на полотне экрана, в этот благополучный, бисквитный, не ведающий подлинных потрясений мир благополучных, несмотря на все их трогательные страдания и заботы, обласканных жизнью людей, с привлекательными лицами, в красивой одежде, помещенных среди красивых вещей, красивой благополучной музыки и красивой природы, тоже,

казалось, благополучной, изготовленной чьей-то ласковой рукой. Механик уже дважды или трижды, стуча жестяными катушками, сменил части фильма, пока наконец жизнь на полотне начала уравниваться в душе с проживаемой действительной жизнью, — Иосиф вдруг почувствовал, что его занимает и, того более, волнует немудреная история, которая часть за частью раскручивалась перед ним на морщинистом куске ткани: вот рассмеялся весело, словно сбросил тяготу сегодняшней задачи, и слезу смахнул, и чудесная музыка, выплеснувшаяся из хриплого усилителя, подхватила его и понесла, как этот голубой Дунай, там, на экране. Но, запустив в помещение ровный белесый свет летней полярной ночи, в клуб торопливо вошел радист, протиснулся между рядами, шепнул что-то сидевшему справа от Иосифа начальнику строительства. «Пароход с людьми на подходе, — повернулся начальник строительства к Иосифу. — Пошли, посмотрим человеческий материал. Жена потом расскажет, чем дело кончилось...».

Папе Боре «Истребители», похоже, не очень понравились: «Слишком старательно придумано». (Что ж тут дурного?) «Зато песня какая хорошая, — это мама Муся, — и наш Бенька ее чудесно поет».

Песня «Любимый город» может спать спокойно, и правда, очень хорошая, но Бенька знал, почему мама Муся так усердно его нахваливает: ей очень хочется, чтобы Бенька спел ее завтра на заключительном концерте городской самодеятельности. Бенька петь не соглашался: на скрипке играть — пожалуйста, это его дело, а петь уговора не было. Мама Муся даже сердилась немного, но он, всегда покладистый, нипочем не хотел, и знал, почему не хочет (только в этом никому, даже маме Мусе, стыдно было признаться, даже себе самому): знал, что после него, к завершению концерта, куда — напоследок — оставляют всё лучшее, на сцену выпустят Аркашу Хитрика и он запоет своим свободным, как у птицы, вылетающим из самой глубины души голосом, заполняющим всё пространство зала и уносящим всех, кто есть в нем, куда-то ввысь, в небо, — запоет, и все, кто есть в зале, не то, что сравнивать начнут, но попросту тотчас забудут, что сегодня здесь, в зале, еще кто-то пел, вообще забудут, что слышали когда-нибудь еще чье-то пение. А «Любимый город» и в самом деле замечательная песня, и он споет ее Белке в Борках и, если выберется в город, Тане Зарецкой, каждой споет по-своему и, уж конечно, совсем иначе, чем спел бы на концерте городской самодеятельности.

«Большой вальс» ходили смотреть все втроем, с папой и мамой, потом Бенька с мамой Мусей еще два раза отдельно. Про любовь смотреть было не очень интересно. Жена Штрауса показалась Беньке более красивой, чем знаменитая певица Карла Доннер, хотя по фильму получалось наоборот, но Бенька чувствовал, что этих двух женщин, таких разных, и любить нужно по-разному, что для каждой из этих женщин есть какая-то своя, особенная любовь. Еще и еще раз смотреть «Большой вальс» манила его не история любви (ее и на один раз хватило бы) — манила музыка. И даже, наверно, не музыка сама по себе, хотя музыка очень ему нравилась: замирая от какого-то не выразимого словами счастья, он, пока длился фильм, сидел, завороженный радостным чудом, когда вся жизнь вокруг — радость и печаль, улыбка и слезы, солнечный луч и вечерние огни, пение птиц, плеск волны, цокот копыт и шорох земли под колесами экипажа, простенький мотив губной гармошки, который извлекал из инструмента заросший седой щетиной старичок-извозчик, похожий на учителя скрипки Жака Изановича, самая любовь, так и этак являвшая себя в каждом кадре, — когда всё, что только есть в мире, вдруг соединяется одно с другим и обращается в музыку...

«Любишь, небось, в кино ходить?» — улыбаясь, спросил дядя Иосиф.



Еще бы! Это же праздник — рано утром в выходной (теперь — воскресенье), сжимая в кулаке двадцать копеек на билет, мчаться к самому раннему — девятичасовому — сеансу, нетерпеливо толкаться у кассы в толпе знакомых и незнакомых ребят, где каждый так и норовит пробраться к окошку без очереди, и злиться, что очередь движется медленно, ведь до сеанса надо еще успеть разделаться с мороженым (в зал с морожеными не пускают). Мороженым торгует Вера Ивановна, могучая женщина в натянутом поверх одежды тесном белом халате и — во всякое время года — в красной вязаной шапке. Перед началом сеанса она подъезжает к кинотеатру со своей синей тележкой, на которой в ящике со льдом помещен металлический бачок, наполненный желанной белой массой; Вера Ивановна вкладывает в специальную формочку круглую вафлю, столовой ложкой выскребает из бачка мороженое, наполняет формочку, прикрывает второй вафлей и выталкивает порцию покупателю. Формочки разной величины, и вафли, соответственно, разные, и порции: есть за десять копеек, за двадцать и, самые большие, за сорок (эти — редким счастливым). На вафлях выдавлены имена: если попросить Веру Ивановну, она выберет вафельку с твоим именем; часто, и просить не надо — половина покупателей Вере Ивановне давно знакома. У Беньки с мороженщицей тоже давняя дружба, только вот имя его на вафлях никогда не бывает написано: «Юра», «Таня», «Вова» — пожалуйста, а «Бени» нет. Бенька брал «Борю» и «Мусю» (мама Муся подсказала).

«Если завтра война» я четыре раза смотрел, — сказал Бенька. — Там кавалеристы с шашками, потом танковая атака, а под конец воздушный десант — здорово!.. Ты с парашютом прыгал?»

«С парашютом не пришлось, — покачал головой дядя Иосиф. — А ленту эту видел. Отличная лента».

(Бенька тотчас выудил непривычное словцо лента и мысленно примерил к какому-нибудь возможному разговору.)

...Ленту «Если завтра война» показали на хозяйственном активе. На просмотр приехал сам Ворошилов, в фильме его назвали — «первый маршал». После фильма Ворошилов долго аплодировал, и весь зал дружно аплодировал вместе с ним. Потом Ворошилов поднялся на сцену и произнес короткую речь. Он уверен, созданы все возможности выиграть войну малой кровью и на территории противника. Так думает и товарищ Сталин. Картина товарищу Сталину очень понравилась. Все встали с мест и начали снова аплодировать, еще сильнее, и не переставали до тех пор, пока Ворошилов не показал рукой, что хватит.

Иосифа приятно возбуждали снятые на маневрах сцены победоносных атак и боев: это были бои и победы оборонки, которой он год за годом, не жалея, отдавал свою жизнь, ему хотелось верить — не напрасно. Он с совершенной искренностью долго рукоплескал вместе со всеми стоявшими вокруг в зале, и улыбался, и глаза у него возбужденно блестели, но полного удовлетворения от картины (он чувствовал) не было, какой-то следок оставался: очень уж легко всё удавалось на этой показанной в фильме ненастоящей войне. Он, конечно, ни с кем не поделился своими сомнениями, жизнь выучила помалкивать.

Вот и сейчас: хотел было похвастать перед Бенькой, главное, Беньку порадовать, что смотрел кино вместе с самим Ворошиловым, но тут же себя одернул — лишнее.

«Песню-то поешь, конечно? — спросил дядя Иосиф и, не дожидаясь ответа, затыкнул громко своим мягким правильным басом: — Если завтра война, если враг нападет...»

«Если темная сила нагрянет», — подхватил Бенька и пристроился в ногу и зашагал, вытягивая носок, крепко опуская ступню на мостовую, как красноармейцы шагают на параде. Дядя Иосиф принял игру.

«Как один человек, весь советский народ  
За свободную родину встанет...»

«Скажи, Йосиф... — Кривой Ефим развернул тачку и остановил их победное движение. — ...Так будет завтра война или нет?»

«Завтра, Ефим, войны не будет», — уверенно ответил дядя Иосиф.

«А послезавтра?»

«Постараемся, чтобы и послезавтра не было», — поджав губу, улыбнулся дядя Иосиф.

«Это большая удача, что ты там, в Москве, Йосиф. Ты уж держи свою линию».

(«Зря из Москвы уехал, — снова кольнула Иосифа тревожная мысль. — Как бы что-нибудь важное не проморгать.»)

Свернули на Московскую.

«Завидная улица, — заметил Кривой Ефим. — Другим улицам по два, по три раза имена меняли, а эта спокон века, так и стоит».

«Дом сорок пять», — подсказал Бенька.

«А то...» — усмехнулся Бенькиной дурости Кривой Ефим (будто не он шесть лет назад перевозил их сюда, на Московскую?).

Дом был двухэтажный из белого кирпича. Бенькина квартира на втором этаже, окна на улицу, двухкомнатная, отдельная.

Раньше жили у бабушки с бабушкой, за рекой, где в старое время обитала по большей части беднота; этот край города в Б. называли местечком.

Бенька помнил запахи старого дома: бревенчатых стен, простокваши в стоявших на подоконнике глиняных кринках, тяжелого кособокого шкафа, в котором, чтобы моль не заводилась, лежали пучки какой-то душистой сухой травы, колкого бабушкиного платка — в платок заворачивали Беньку, когда он болел. Про некоторые вещи Бенька всегда говорил, что пахнут бабушкой и бабушкой — местечком.

Бабушки и дедушки уже на свете не было. Не было и местечка: шесть лет назад (еще при Зарецком) местечко со всеми его сутулыми домишками, палисадниками, сиренями, грушами, вековечными, казалось, бытом и обычаями, снесли с лица земли, чтобы построить на его месте большой военный городок, полигон для учений и мастерские по ремонту боевой техники.

Кривой Ефим сгрузил с тачки желтый чемодан дяди Иосифа и поставил у двери подъезда. Дядя Иосиф достал из кармана зеленую трехрублевую бумажку: «Получай свой рупчик, Ефим».

Порылся в сумке, выбрал апельсин побольше: «А это передай тете Мнухе. Скажи, от Иосифа, если она меня еще помнит, — из Москвы».

«Как тебя не помнить, Йосиф! Разве не твой отец, Бенцион, был нашим соседом? Я помню, как ты родился...» — Ефим сбросил пальцем со зрячего глаза слезу.

Он развернул папиросную бумагу и с наслаждением понюхал сверкающий оранжевый плод.

«Помнишь, Йосиф, в старое время в лавке у Ицика Гуткина на Базарной, теперь — улица Дзержинского, всегда продавали такие штуки. И летом, и зимой».

«И часто тебе в твое старое время доставалось есть такие штуки?» — сердито спросил дядя Иосиф.

«Что ты, Йосиф! Я их вообще не ел. Я всю жизнь ел груши. Ты же знаешь, какие у нас в Б. груши? О наших грушах пишут в книгах. На вид они, конечно, неказистые, но это же один сок и аромат!»

Кривой Ефим снова бережно укутал апельсин тонкой оберткой и опустил в карман белого форменного фартука, на груди которого светилась шестиугольная бляха с номером «12», хотя одиннадцати других носильщиков в Б. никогда не водилось.

## 6

**Б**енька и дядя Иосиф позавтракали вдвоем и отправились во Дворец культуры здороваться с мамой Мусей. Заключительный концерт городского смотра самодеятельности назначили на субботу, 21 июня.

Накануне, в пятницу вечером, — генеральная репетиция.

Мама Муся ушла из дома ни свет ни заря, предупредила, что до поздней ночи. Во Дворце культуры мама Муся именовалась — зав. художественной частью.

Серое напористое здание Дворца культуры «РОДИНА» высилось на площади Революции, напротив горисполкома. Оно было как бы составлено из нескольких взбиравшихся одна на другую прямоугольных бетонных коробок. Дворец построили в конце первой пятилетки. Его создатель, известный в те годы архитектор-конструктивист, объяснял, что, работая над проектом, вспоминал броневик, с которого выступал Ленин. Рассказывали, что поначалу предполагали поместить на плоской крыше здания какую-то особенную огромную фигуру вождя революции; фигуру потом так и не поместили; обычных размеров гранитный Ленин с призывно поднятой вперед и вверх рукой (точь-в-точь такой, как в областном центре) встал перед входом в горисполком. После окончания строительства Дворец торжественно назвали именем героев Первой Пятилетки, но несколько лет спустя, на исходе уже второй пятилетки, почему-то переименовали.

Когда Иосиф уезжал из Б., на этом месте ни Дворца не было, ни самой площади. Стоял здесь просторный двухэтажный дом самого богатого в городе купца Тарасевича. Позади дома был большой сад. Над высоким забором поднимались округлые купы усыпанных плодами деревьев, воздух вокруг был напоен ароматом цветов и природного меда, — такой аромат был, наверно, в раю. После революции в доме Тарасевича поселился горисполком. Сад томился заброшенный, ограду разобрали, деревья порубили на дрова. Полуподвал горисполкома, где прежде располагались кухня, людская и подсобные помещения, захватил городской комсомольский вожак Гришка Кацман, рыжий, веснушчатый, горластый, сжигаемый постоянной энергией деятельности, — казалось, в жилах его течет огонь, тот самый, который заставляет отливать пламенем его курчавые волосы. Собирались, обсуждали злобу дня, спорили до хрипоты, едва не до драки, рисовали плакаты, сочиняли листовки, песни пели, свои, боевые, революционные песни, — что-то вроде молодежного клуба, или штаба, в ту пору большой разницы не было: когда приказали создать молодежный боевой отряд особого назначения, сборный пункт тоже назначен был у Гришки, в полуподвале. (Где он теперь, рыжий Гришка Кацман?

Одно время был слух, что сам Троцкий приметил его на каком-то комсомольском или партийном съезде, обронил о нем в речи благожелательное слово. Недобрые вести о Гришке застали Иосифа еще в промакадемии.)

Бенька всякий день прибегал во Дворец и чувствовал себя там как дома. Кажется, не осталось ни секции, ни кружка, где не обретался он хотя бы месяц-другой. Вот разве что со спортом не слишком ладил: когда крепкие ребята в поделенном волейбольной сеткой спортивном зале прыгали, падали, бросались, не жалея себя, грудью на гладкий паркет пола, чтобы отбить мяч, подхватить, передать товарищу, нанести звонкий решительный удар, тут Бенька большей частью оказывался в стороне.

«Драмкружок, кружок по фото — это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок», — насмешничала мама Муся. Но он слышал, как папе Боре она сказала: «Он не занятие себе ищет, он себя ищет». «Искать себя — это и есть главное занятие. На всю жизнь», — ответил папа Боря.

«У нас во Дворце сцена больше, чем в областном драмтеатре, — похвастался Бенька. — И голос лучше звучит. Мне один знакомый артист говорил». — «Сам-то не собираешься в артисты?» — спросил дядя Иосиф. Бенька пожал плечами. Вообще-то он уже играл на сцене: в прошлом году драмкружком ставили «Снежную королеву», в нынешнем «Тома Сойера». Но главный артист у них Бенька Волкович — тоже Бенька (он, между прочим, ужасный хулиган: ругается плохими словами, а в перерывах бежит тайком курить в туалет). Когда на репетиции Мирон Ильич, режиссер, показывает каждому, что нужно делать, Бенька Волкович вдруг спрашивает: «А можно так?» — и показывает по-своему. Мирон Ильич даже вскрикивает: «Ну-ка, ну-ка!». Бенька Волкович показывает еще раз, уже по-другому, — и получается еще лучше. «Да, именно так», — громко радуется Мирон Ильич и требует: «Повтори». Но Бенька Волкович тут же снова придумывает что-нибудь новенькое: «А если так?..» Мирон Ильич сказал, что после школы Беньке Волковичу непременно надо ехать в Москву — в театральный институт. В «Томе Сойере» Бенька Волкович играл, конечно, Тома (о нем даже в городской газете написали и фотографию поместили); Беньке досталось в спектакле несколько слов в первом действии, и в самом конце он опять выходил на сцену, уже без слов. Но однажды на репетиции Мирон Ильич глядя на него, произнес задумчиво: «Надо бы подобрать для тебя что-нибудь интересное...» (Бенька даже маме Мусе об этом не рассказал).

Маму Мусю нашли в зрительном зале.

Электрик ставил свет: включал прожектора, лампы, так и этак освещал авансцену, ярко расписанный задник. Мама Муся то подбегала к самой сцене, то спешила в конец зала, громко командовала, какие зажигать лампы. На ней была синяя полотняная рубаша папы Бори, — он называл эту рубашу рабочей и надевал, когда ходил с учениками на практику в мастерские. Рубаша была маме Мусе несколько велика, и от этого ее тонкое, легкое тело казалось еще более легким.

«Ну, как там драмики? Не остыли? Уж я укутывала, укутывала...» — встретила их мама Муся.

«Хорошо укутала! И на полюсе бы не остыли!» — весело отозвался дядя Иосиф.

Обнял Мусю, расцеловал, отступил на шаг, посмотрел, точно впервые увидел: «Красивая же ты, Муська!..».

«Что ж ты Маню не привез? — спросила мама Муся. — Вот бы и повидались все разом».

«Да кто же ее отпустит? Предприятие новую продукцию осваивает. Работы выше головы. Она тебе духи «Красная Москва» послала. Теперь, кажется, в моде».

«Как она, Маня?» — спросила мама Муся.

«Считает».

Электрик врубил на сцене полный свет.

«Хорош задник?» — спросила мама Муся, не сомневаясь в ответе.

Задник в самом деле был хорош. Художнику каким-то чудом удалось разместить на нем всё, что было необходимо и что, казалось, никак невозможно разместить, пусть даже на обширном, сшитом из нескольких кусков холсте; при этом он сумел соединить разнообразие изображенного в некое стройное целое. В свете прожектора золотились созревшим хлебом бескрайние колхозные поля, дымили трубы заводов, по стальным путям мчались поезда, с шашками наголо устремилась в атаку кавалерия, корабли плыли по морским просторам, в синем небе несли распластанные крылья краснозвездные самолеты, и над всем этим солнце светило и победно реяли в лучах солнца полотнища знамен.

«Ого! Кто же сотворил такое чудо?». На лице у дяди Иосифа (кажется, неподдельное) изумление, но при этом, поджав губу, улыбался слегка.

«Арганов, конечно. Кто ж еще? Может быть, знаешь: он из старожилков? В городе его не любят. Дерзкий, неуживчивый, а мне жаль его почему-то. Такой чудак: запросил за работу триста рублей! А где их возьмешь? И потом: как можно? Ведь — смотр самодеятельности, общественное дело. И слышать не хочет. Я, говорит, профессиональный художник — самодеятельностью не занимаюсь».

«Заплатили?»

«Ну, что ты! Вызвал его к себе товарищ Бородюк, назвал стяжателем, тут он, конечно, на попятный».

«Кто это — товарищ Бородюк?»

«Наш новый городской отдел культуры. Недавно из области прислали. Мужчина молодой, но несговорчивый».

На сцене Жак Изанович настраивал рояль.

Снова и снова терпеливо постукивал пальцем то по одной клавише, то по другой; низко, к самому инструменту, наклонял голову, прислушиваясь к звуку. Длинные пряди седых волос падали ему на лицо.

Мама Муся считала, что Жак Изанович похож на Бетховена. «Куда Бетховену! — посмеивался папа Боря. — Наш Жак Изанович намного его старше». «Ну, как ты не видишь, — даже сердилась мама Муся. — Если бы Бетховен дожил до его лет, были бы замечательно похожи». Бенька встрял в разговор: в музыкальной школе портрет Бетховена — у него широкое лицо, а у Жака Изановича — узкое». Мама Муся пожалала плечами: «Разве в этом дело!».

«Хороший инструмент, — сказал Жак Изанович и бережно опустил крышку рояля. — Умный купец понимал, на что тратит деньги».

Рояль был еще от Тарасевича.

«Наши внуки смогут слушать».

Жак Изанович по-молодому спрыгнул со сцены в зал.

«Мой главный музыкальный советник», — представила его мама Муся.

Жака Изанович появился в Б. лет десять назад, в самом начале тридцатых. Откуда он взялся, никто в городе толком не знал, а те, кому положено знать, другим не докладывали. Он привез в кармане направление учителем в только что открывшуюся музыкальную школу, снял комнату далеко на окраине, в доме у вдовы Алевтины Чайки, и все десять лет учил детей играть

на скрипке, на фортепьяно, а, когда возникала надобность, и на других музыкальных инструментах, даже на духовых. Самым способным и самым отстающим ученикам он давал частные уроки, но денег не брал. Речь его была несколько странной, хотя без какого-либо акцента. Некоторые подозревали в нем иностранца и даже, кто в шутку, а кто почти всерьез, называли «швейцарским гражданином». Бенька собрался духом, спросил однажды: «Жак Изанович, вы, правда, швейцарский гражданин?» Старик печально взглянул на него из-под седых бровей: «Швейцарский гражданин — не Жак Изанович. Швейцарский гражданин — это Жан Жак Руссо». Бенька не понял, о чем это он. Дома у Жака Изановича висела фотография (коричневая, на плотной шероховатой бумаге, с зубчиками — заграничная, конечно): еще молодой, он запечатлен рядом с высоким, крепкого сложения человеком (сам Жан Изанович немногим выше Беньки), на обоих джемперы в крупную клетку (такие только за границей носят), в руках у обоих — скрипки. «Он — тоже скрипач?», — спросил Бенька. «Что значит — тоже? — вдруг сердито вскинулся Жак Изанович. — Он — скрипач. Это я — тоже».

«Какая-то струна у него порвалась, так и живет с порванной струной, так с порванной струной и играет. И хорошо играет», — сказала как-то про старого учителя мама Муся. Бенька вспомнил: Жак Изанович рассказывал, что Паганини играл целую пьесу для скрипки на одной струне. Папа Боря пожал плечами: «Ну, это, пожалуй, слишком. Пьеса для скрипки — конечно, интересно. Но жизнь прожить на одной струне — не очень».

«Что наш капельмейстер? Подает надежды?» — спросил, улыбаясь, дядя Иосиф у Жака Изановича и положил на плечо Беньке свою крепкую ладонь.

«Еще сколько надежды! Но... — старик многозначительно поднял палец. — ...Смычок не лопата: не следует зарывать в землю свой талант».

Все засмеялись.

Бенька тоже засмеялся, больше из вежливости. «Сейчас — про Бусю Гольдштейна», — подумал он.

И в самом деле.

«Мальчик мог бы сделаться другой Бусей Гольдштейн», — завершил Жак Изанович.

«Вечно этот Буся Гольдштейн!» — злился Бенька. И Жак Изанович, и Ева Моисеевна, аккомпаниатор, и завуч музыкальной школы Матвей Львович (он раньше был первой скрипкой в оркестре областного драмтеатра), даже родители, иногда кажется (хотя прямо не говорит), — все только о том и мечтают, чтобы он, Бенька, стал таким же, как этот юный музыкант, который мальчиком уже победил на разных важных конкурсах, награжден орденом и даже беседовал со Сталиным. И чтобы в музыкальной школе висел его портрет. Главное, все знают: сколько он, Бенька, ни старайся, чудо-мальчик, который выигрывает конкурсы, именуется «скрипач-орденоносец», беседует со Сталиным, из него не получится. И все-таки пристают к нему с этим Бусей Гольдштейном. А у него, у Беньки, он чувствует, такая огромная жизнь впереди! Оттого и огромная, что ничего в ней неизвестно и столько всякого еще может в ней произойти. И нет ничего сладостнее, чем залетать мечтами в эту не известность, бесконечно сменяя разное хорошее, что еще ждет его в будущем, придумывая так ясно и ощутимо, что всем телом чудится, будто то, о чем мечтаешь, в это мгновение уже происходит на самом деле.

«Жаль, что вы сюда коротко, — повернулся Жак Изанович к дяде Иосифу. — Приезжайте в отпуск. Возвращение в пространство прошлого часто приносит разочарование, но, если правильно настроить душевный инструмент, на каждом шагу дарит прекрасные фантазии: жизнь открывается не как была, а как хотелось бы...»

«Отпуска не намечается, дорогой Жак Изанович. И на фантазии, о которых вы говорите, нет времени. Фантазирую разве о том, как перевыполнить годовой план или запустить предприятие раньше намеченного срока... В общем, покой нам только снится...»

(Бенька мгновенно устроил в памяти стихотворную строчку — находка просто! Он снова разглядел резкие морщины на лице дяди Иосифа, грубые белые нити в его волосах.)

«Ну, хоть спокойное лето нам пообещайте», — улыбаясь, попросил Жак Изанович.

Дядя Иосиф не принял шутки.

«Спокойное лето пообещало нам наше руководство, — проговорил жестко. — Читали, конечно, сообщение в газетах? Доверимся мудрости тех, кто ведет нас по дорогам истории».

Жак Изанович будто не почувствовал изменившегося тона дяди Иосифа.

«Давным-давно один мудрый человек заметил, что у счастливых народов не бывает истории», — сказал он, по-прежнему улыбаясь.

«Впрочем, это, кажется, шутка», — быстро добавил он.

(У Иосифа снова затомилась душа: не надо, не надо было уезжать из Москвы. Не то время, чтобы паломничать по святым местам. Недоглядел, расслабился — как раз сорвала с места фантазия, о которой говорил этот странный старик. Конечно, если бы чрезвычайное что-нибудь, нарком бы не отпустил. Но в принципе: какое уж тут пространство прошлого. Он и в настоящем-то не научился жить — только в будущем.)

В дверях зала появился Бенька Волкович.

На нем была новая клетчатая куртка (Бенька такой не видал никогда: ходил Бенька Волкович вечно в одной и той же красной байковой рубашке). Кепка тоже новая, клетчатая, под масть куртке.

Бенька знал Волковичей еще по местечку. Жили они трудно, без отца: мать, уборщица в военном городке, Бенька Волкович и две его сестры, обе старше него. Одна сестра училась в медучилище, другая ничего не делала, до поздней ночи шаталась по городу; говорили, что у нее дурная компания. Мать Беньки Волковича приходила к Бенькиной бабушке жаловаться на жизнь. Бабушка ее жалела: «А ведь была завидная невеста». Дедушка говорил: «Это и беда, что ее смолоду только тому и научили, что она завидная невеста». Но тоже жалел.

Бенька Волкович в зал не вошел, остановился на пороге, за спиной у мамы Муси, и знаками показывал Беньке, чтобы вышел к нему. Мама Муся крикнула, не поворачиваясь, будто у нее глаза на затылке: «Волкович, сними кепку. Ты же в театре. А еще артист!» Бенька Волкович изысканным жестом снял с головы кепку, отвел руку далеко в сторону и церемонно поклонился в спину маме Мусе. Бенька рассмеялся. «Волкович, не паясничай, — весело сказала мама Муся, по-прежнему не оборачиваясь. — Побереги остаток таланта для генеральной репетиции».

Бенька вышел в коридор. Бенька Волкович схватил его за руку, потащил в дальний угол. Белесые, будто выгоревшие волосы Беньки Волковича, обычно торчащие лохмами, были аккуратно причесаны. «Что это он?» — удивился Бенька.

«Слушай, этот дядька твой московский, он там, у себя, в Москве, наверно, всё по театрам ходит? А?» — оглядываясь, будто опасаясь, как бы не подслушал кто-нибудь, горячо заговорил Бенька Волкович.

«Ему по театрам некогда: всю ночь в Наркомате, — не без важности сообщил Бенька. — Но если захочет — пожалуйста. Сразу бронь в любой театр. Даже в Большой. И на вечерний спектакль — до шестнадцати».

«Ну, а я о чем? Мне и билет не надо. Пусть только в театр позвонит, чтобы взяли меня. А?».

«Ты что? В Москву собрался?»

«А то! Чего мне здесь сидеть? Вон и Мирон говорит — в театральный».

«А школа?»

«Да на что она мне, школа — алгебра-геометрия? Я Тома Сойера без алгебры-геометрии сыграл — видал, как!..»

Бенька Волкович вытащил из кармана куртки потертую газету с похвальной статьей, свернутую фотографией наружу.

«Да ведь в театральный, наверно, только после десятого?»

«А я туда и не хочу. Чего время терять? — Чуть раскосые, светлые глаза Беньки Волковича радостно сияли. — Я прямо в театр. Там ведь ребят всё бабы играют, тетки старые. Помнишь, в областном? Вышла старуха в коротких штанах, жопа толстая, «кар-кар», а на ней пионерский галстук — смех! А тут я — не хотите? А?..»

Он потряс перед лицом Беньки газетой, свернутой фотографией наружу.

«Я, конечно, попрошу, — пообещал пораженный Бенька. — Только дяде Иосифу театры ведь не подчиняются».

«Он там всё может: Наркомат!»

Бенька Волкович крепко пожал Беньке руку.

Посреди сцены на высоком задрапированном кумачом пьедестале стоял большой белый бюст Сталина.

Электрик возился с подсветкой.

Тени то ложились черными, резкими, то, наоборот, яркий свет размывал черты лица.

«Мягче, Саня! И пьедестал посветлее!» — крикнула электрику мама Муся. Повернулась к Иосифу: «С этим строгу».

Будто он не знал.

Иосиф смотрел на меняющееся от перемены света лицо вождя и вспоминал, как впервые увидел Сталина: не бюст, не портрет — живого. Окруженный соратниками, Сталин вышел из-за кулис на сцену, в президиум заседания. В первую минуту Иосиф даже не сразу высмотрел его в группе руководителей: совсем невысокого роста, неприметный, и лицо неприметное, если не знать, что это — он. Слегка жестикулируя, Сталин что-то договаривал тому, кто шел с ним рядом. В эту первую минуту Иосифа даже как-то огорчила эта нежданная будничность — облика, походки, жеста. Но вот шедшие со Сталиным как по команде замедлили шаг, и он, уже совсем один, выступил вперед, направляясь к центральному месту за столом президиума. Он шел неторопливо, значительно, недолгие метры от кулис до стола как бы разворачивались требующим времени для преодоления триумфальным путем. По залу, нарастая, сливаясь в единый океанический шум, покатались аплодисменты, ряды заполнивших зал людей, подобно валам океана, поднимались, чтобы стоя приветствовать этого идущего им навстречу человека. Сталин же, казалось, двигался не по ровному полу сцены, а поднимался по какой-то скрытой лестнице: с каждым шагом он становился всё выше и даже будто раздавался в плечах. Наконец, он остановился у середины стола, внимательно обводя прищуренными глазами пространство зала, как бы пережидая овацию, потом, подняв высоко руки и неторопливо смыкая ладони, начал тоже аплодировать... — и превратился в вождя, известного по портретам и бюстам.



...«Вы обед сами сообразите. Борька придет — поможет, — сказала мама Муся. — Я только к ночи появлюсь, после генеральной. Силы останутся, придумаю что-нибудь вкусненькое. Ну, а главная еда — в Борках. Соня, наверно, третий день у плиты стоит».

«Я ей кофту шерстяную в подарок везу, красивую, импортную. Маня где-то добыла. А Белке блузку модную, со всякими причиндалами, — Иосиф показал пальцами на груди. — Маня ей лаковые туфли высмотрела, да побоялись размером ошибиться. Растет, надо полагать, девица».

«Растет, растет, — слегка подмигнула Иосифу мама Муся (но Бенька заметил). — Смотри, как бы и с блузкой не промахнуться». Она тоже показала пальцами. (У Беньки — он почувствовал — щеки стали горячими.)

«Вы, наверно, сейчас по городу гулять пойдете? — спросила мама Муся. — Можете по дороге на базар заглянуть».

«Прежде всего — к старикам, — сказал дядя Иосиф. — Я ведь и на похоронах не был. Кладбище, наверно, не узнать?».

«Бенька покажет: мы ходили недавно. И Эфраима, наверно, встретите».

«Неужели жив?»

«Конечно, жив. Как же там без него?..»

Начать концерт решено было «Песней о родине» — объединенный хор. Финал — «Песня о Сталине», тоже — объединенный хор. «Так спеть, чтобы весь зал встал и подпевал, стоя», — приказал товарищ Бородюк.

Бородюк, хотя руководил культурой, носил суконную гимнастерку, подпоясанную широким командирским ремнем, и выправка у него была военная.

Спор с Бородюком вышел у мамы Муси из-за песни «Если завтра война».

Песню разучил Аркаша Хитрик. Когда Аркаша спел ее в первый раз, мама Муся почувствовала, что от волнения у нее перехватило дыхание. Молча перевела изумленный взгляд на Жака Изановича — старик сидел за роялем. Жак Изанович так же молча только развел руки в стороны — и правда, нечего сказать... Запетая, примелькавшаяся слуху песня вдруг наполнилась таким неожиданным чувством, что, думай, гадай, не поймешь, как этот мальчик, худенький, в очках, с каким-то болезненным румянцем, услышал, нашел в ней то, что вылилось теперь в его пении.

Но однажды на репетицию заглянул Бородюк, с сердитым, закаменевшим лицом послушал Аркашу и приказал решительно: номер убрать.

«Как же так? — расстроилась мама Муся. — Песню вся страна поет. Сталинскую премию дали. И такой мальчик замечательный».

«Не надо вашего мальчика, — сказал Бородюк. — Страна другую песню поет. И Сталинскую премию другой песне дали. Пусть песню гарнизонный ансамбль исполнит».

«Как этот мальчик, никто не исполнит». (Мама Муся чуть не плакала.)

«Вот и хорошо»...

«Сейчас сам услышишь, — сказала Иосифу мама Муся. — Бенька, позови Аркашу: он где-то на втором этаже в шахматы играет».

...Аркаша Хитрик, сутулясь, прошел по сцене к роялю, Жак Изанович положил руки на клавиши, тихо и коротко шепнул ему что-то, мальчик повернулся лицом к залу и как-то сразу, без подготовки, запел.

*Если завтра война, если враг нападет...*

Голос у него был звучный, удивительно гибкий, может быть, и не очень громкий, но тотчас без остатка заполнивший зал и вместе будто вбиривший всё вокруг, весь этот зал в образованное этим голосом пространство. Мальчик стоял на сцене, освещенный юпитером, худенький, с пятнами румянца на скулах, в больших очках, и вместе будто не было его, — так малая птица, заполняя пением очарованный лес, будто исчезает, целиком перетекает в свой голос.

*Полетит самолет, застрочит пулемет...*

«Как же так?» — поначалу еще что-то сопротивлялось в Беньке, кадры кинохроники бежали в его памяти — кавалерийская атака, танки, воздушный десант... Как же так? Вроде бы и слова те же, и мотив, но всё иначе, чем все поют, чем сам он пел полчаса назад, чем — полчаса назад казалось — только и назначено петь эту песню. Но пение Аркаши захватывало, влекло за собой, как поток захватывает и влечет то, что попадает на пути. Перед глазами Беньки расстелилась бескрайняя опаленная солнцем степь и над ней такое же, без края, блеклое знойное небо и что-то громадное черное — то ли страшная туча, то ли вздыбившаяся волною земля — поднимающееся на горизонте. И с каждым тактом Бенька всё больше чувствовал, что — молча, всем существом своим — уже поет вместе с Аркашей Хитриком и что только так, как теперь поет, может и хочет петь.

*И линкоры пойдут, и пехота пойдет...*

Аркаша Хитрик стоял на сцене, тщедушный, слегка вскинув голову, взгляд его был обращен вперед и вверх, лицо тревожно и печально, как печальна и тревожна была песня, которую он пел.

«Словно молитву поет», — подумал Иосиф.

(Он вспомнил: в Б. когда-то были два брата Хитрики, оба канторы...)

...А как лихо пели эту песню тогда, на активе, каким ладным маршем гремели крепкие мужские голоса, как лица весело покраснелись, и у Ворошилова лицо покраснелось, он улыбался, и тоже громко подпевал, и ногой в до зеркального блеска начищенном сапоге отстукивал такт.

И теперь этот мальчик...

Мальчик поет прекрасно и правильно. Но того, чем полнится его пение, нет ни в однозначном простеньком мотиве, ни в наспех набранных словах. Это есть только в нем самом, в тщедушном мальчике с удивительным голосом, послушно передающим всё, что есть в его душе и о чем он, конечно, сам не знает. Даже не чувство, наверно, — *предчувствие*.

Что, если, правда, — *завтра*, — перехватив дыхание, толкнулось в сердце.

Что, если завтра — *война*...

И вдруг все эти *линкоры-танки-тачанки*, которые так уверенно, победно перли вперед под звуки привычного марша, будто начали истаивать, терять свою реальность, оказавшись в мире стоящего на сцене мальчика, и вместо них оставалось только одно, невыносимо печальное и тревожное: *Завтра — война*...

«Ну, нет», — тотчас взял себя в руки Иосиф: там же знают, что делают.

Взглянул на большой белый бюст посреди сцены: он знает...

Однако, кажется, не лыком шит несговорчивый товарищ Бородюк: и правда, не нужно здесь этого мальчика, этой песни. Пусть песню военный ансамбль исполнит.

Беньке дали имя в честь деда. Когда мама Муся ждала ребенка, дед говорил: «Если родится мальчик, назовите его, как меня, Бенцион. Ну, в крайнем случае, Бениамин». Бабушка была против. Разве детям дают имена близких родных, которые еще живы? Так, ты смотри, не заживешься. Дед сердился: какое мне будет удовольствие, что его зовут так же, как меня, если меня уже нет на свете?..

Эту историю старый Эфраим рассказывал всякий раз, когда видел Беньку.

«Ну, разве не мудрый человек был наш Бенцион? — говорил Эфраим. — Вот он смотрит сверху на своего внука, который стоит у его могилы, смотрит и думает себе: здесь Бенцион, и там Бенцион, — оно идет правильно...»

Дедушку Бенька помнил хорошо, бабушку Риву — хуже. Бабушка умерла раньше дедушки, еще в местечке. Хлебовоз Миша Вайнштейн неловко развернул свой фургон перед дверью булочной: лошадь отчего-то попятилась, повозка въехала задом в ожидавшую хлеб очередь. Бабушка Рива упала, впрочем, тотчас снова вскочила на ноги, сообщила Мише Вайнштейну, что было бы хорошо, если бы Бог дал ей столько, сколько ему не хватает, оттерла с подола грязь и стала дальше дожидаться, пока подойдет ее черед. Но дома она занемогла: грудь разболелась, сделалось трудно дышать, она лежала на кровати и тихо стонала. Беньке было страшно, оттого что бабушка стонала, но когда она переставала стонать, становилось еще страшнее. Он спросил: «Баба Рыся, ты не умрешь?» «Что ты, сыночка, зачем мне умирать? — ответила бабушка. — А кто тебя осенью в школу поведет?» Летом Беньке исполнялось восемь. Хлебовоз Миша Вайнштейн пришел просить прощения, бабушка сказала, что это она виновата, зря на него напустилась: не он же попятился — лошадь. Она заставила Мишу взять для детей гоменташей, треугольных пирожков с маком: блюдо с гоменташами стояло на буфете — бабушка напекла их к завтрашнему дню, к Пуриму. Вечером возвратились с работы взрослые. Папа Боря побежал за фельдшерницей Раей Вареник, бабушкиной дальней родственницей, — она жила неподалеку, там же, в местечке. Бабушка, маленькая, худенькая, всё еще в уличном платье, лежала, закрыв глаза, и тихо стонала. Фельдшерница Рая Вареник держала ее за руку. Дедушка стоял, ссутулясь, у изголовья кровати и смотрел на бабушку; по его темным небритым щекам текли слезы. Потом бабушка перестала стонать. Рая Вареник отпустила ее руку и тихо сказала: «Всё». «Ривочка, Рысенька моя...», — всхлипнул дедушка. Решено было срочно отвести Беньку на несколько дней к Вареникам; мама Муся принялась его одевать, никак не могла найти боты и, торопясь, натянула на него легкие праздничные ботинки. Едва вышли из дома, он оступился в лужу и набрал полный ботинок воды. Потом, думая о бабушке, он чаще всего вспоминал, как Рая Вареник ведет его по темной, освещенной лишь редкими фонарями улочке местечка, ее жесткая, сухая ладонь крепко сжимает его руку, он едва поспевает за ее быстрым широким шагом, в одном ботинке у него хлюпает вода, — нога, поначалу замерзшая, стала совсем горячей. Ему постелили на диване вместе с Анькой, Раиной дочкой; они долго не могли заснуть, в темноте, Анька, сама пугаясь и его пугая, спрашивала шепотом: «А баба Рыся там лежит, мертвая? Да?..» Бенька старался думать про бабушку, но теплое Анькино бедро касалось его бедра, и это путало его мысли.

Года два спустя дедушка вместе с ними перебрался на Московскую. Поначалу он еще ходил на службу, но вскоре из-за болей в ногах вынужден был заделаться домоседом. Целый день, с утра и до вечера, он курил и читал газеты, которые во множестве приносил ему папа Боря. Читая, дедушка держал в руке длинный, толстый карандаш с грифелем в одну сторону красным, в другую синим — и подчеркивал в газетах всё, что полагал заслуживающим внимания. В теплые дни дедушка Бенцион, кряхтя, спускался по лестнице и располагался со своими газетами, папиросой и карандашом на скамейке у входа в подъезд. Иногда к нему подсаживался художник Арганов. Дедушка пересказывал ему вычитанные в газете новости, художник, о чем бы ни зашла речь, непременно оснащал всякое известие собственными соображениями. Про Арганова дедушка говорил, посмеиваясь: «С этим не соскучишься. Неуютный». Однажды Арганов встретил на улице папу Борю, вдруг остановился: «А старик ваш, наверно, скоро умрет. Бледность какая-то нездешняя. И, главное, вот здесь», — Арганов прикоснулся пальцами к виску. «Что — здесь?» — спросил папа Боря. «Череп. Будто крылья собрались расти. Не заметили?» «Не заметил. Спасибо большое», — сказал папа Боря. Дедушку определили в больницу, оттуда он уже не вернулся.

С незапамятных времен дедушка служил бухгалтером на макаронной фабрике, которая до революции принадлежала Моисею Меттеру, а ныне именовалась: Б-ская фабрика макаронных изделий имени Микояна. Хоронили дедушку из клуба фабрики. Собралось много народу. Гроб стоял на покрытом красной скатертью столе. Бенька видел дедушкину щеку, заросшую синеватой щетиной, его большой, круто изогнутый нос, с досиня намятой очками переносицей. Беньку прежде никогда не брали на похороны; поэтому, хотя жалко было дедушку, он всё время отвлекался и смотрел по сторонам. Люди с красно-черной повязкой на рукаве становились в почетный караул. Двое мужчин принесли большой венок с красной лентой и поставили в ногах гроба. Ожидая выноса, входили в зал и снова выходили оркестранты со своими медными трубами. Директор фабрики прочитал речь: благодаря ударному труду Бенциона Соломоновича фабрика всегда выполняла план и обеспечивала население макаронными изделиями. Потом начал говорить старичок, который знал дедушку сорок лет. Он сказал, что дедушка делал людям много добра — и заплакал. День был летний, солнечный, небо ярко-голубое и сверкающая зелень травы и деревьев. На кладбище гроб везли на открытом грузовом автомобиле с опущенными бортами. Первым за грузовиком шел оркестр и играл траурные марши. Трубы ослепительно сверкали на солнце. Барабан гулко отбивал такт. Словно рассыпаясь в воздухе солнечными бликами, оглушительно звенели тарелки.

...Кладбище когда-то называлось «Еврейским», но с некоторых пор стало просто «Городским кладбищем № 2». Да и хоронить на новых участках начали уже не только евреев.

Созданная после революции при горсовете еврейская секция энергично развернула борьбу с религией и ее обрядами: в двадцатых годах существовавшее испокон века на Еврейском кладбище погребальное братство было упразднено. Работники братства разбежались кто куда, один даже вступил в партию и служил в городском отделе народного образования; только Эфраим остался верен некогда избранному делу и всякое утро появлялся на смолоду обжитой им территории, где знал каждую дорожку, каждый могильный камень. Власти махнули на него рукой: кто-то должен был способствовать людям в минуты окончательного расставания с здешним миром.

Потом упразднили саму еврейскую секцию, ее председателя Якова Таубе, который, не жалея сил, день и ночь боролся с Богом, арестовали. Эфраим же стал числиться озеленителем, хотя по-прежнему ничего не озеленял: так сложилось в его жизни, что он умел только снаряжать умерших в последнюю дорогу и петь, если требовалось, погребальную молитву.

...«Сколько лет я здесь?.. — Эфраим тихо засмеялся. — Ты будешь смеяться, Иосиф, но, когда ты родился, я уже был здесь».

Дядя Иосиф, и правда, рассмеялся.

Эфраим был так стар, что даже старожилам казалось, что он жил всегда.

«Еще не всё, Иосиф. Сейчас тебе будет совсем смешно. Незадолго перед тем, как ты явился на свет, умер твой прадед. Так я его тоже хоронил. Тогда я был еще совсем молодой — мне, наверно, и сорока не исполнилось».

«И не скучно: всю жизнь — на кладбище?»

«Скучно? Люди привыкли, что, если вокруг нет шума, крика, беготни, то — скучно. Здесь не скучно, Иосиф. Идешь по дорожке, читаешь надписи на памятниках... Здесь воздух полон прожитыми жизнями. Здесь всё время думаешь о тех, кто жил, кто еще жив, о людях думаешь, о судьбе. Разве на остановке автобуса бывают такие мысли? Или в булочной? Или на стройке?.. Отсюда видней, что там делается...»

Эфраим махнул рукой в сторону кладбищенской ограды...

«Если хочешь, Иосиф, я спою, что полагается?»

«Не надо, — сказал дядя Иосиф. — Постоим молча».

Эфраим отошел в сторону и присел на лавочку возле недалёной могилы. Беньке показалось, что он тотчас задремал. Его ладони покоились на мягком животе (злые языки в Б. именовали Эфраима яйцом без скорлупы), розовые мягкие щеки, казалось, не ведавшие бритвы, стекали на воротник, соломенная шляпа с узкими полями сползла на глаза.

Только однажды слышал Бенька, как поет старый Эфраим...

Мама Муся собралась на кладбище, и он попросился идти с ней. Мама Муся сначала уговаривала его остаться дома (Бенька удивился: обычно она всюду охотно брала его с собой) — потом махнула рукой: «Пошли». По дороге она сказала, что хочет помянуть своих родителей — годовщина их смерти. «Но они же там не лежат?», — сказал Бенька. «Ну, что ты, — улыбнулась мама Муся. — Разве это важно?» «А где они лежат?» — снова спросил он. «Вот здесь, — мама Муся положила ладонь на грудь. — Не лежат — живут». Бенька знал, что родители мамы Муси, его другие дедушка и бабушка, погибли во время Гражданской войны, оба в один день и час. Что с ними произошло, мама Муся никогда не рассказывала. Бенька чувствовал, что расспрашивать об этом не следует.

Эфраим ждал их возле могилы бабушки Ривы (дедушка Бенцион был еще жив). Эфраим спросил о чем-то маму Мусю по-еврейски (дома по-еврейски лишь иногда говорили между собой дедушка и бабушка, а мама с папой никогда не говорили), и мама Муся, к удивлению Беньки, так же ответила. Эфраим вынул из кармана пальто два гладких белых камешка, положил их на черный гранит памятника, — и запел негромко. Пел он на языке и вовсе непонятном, и мелодия была для Беньки так же нова, как язык. Мелодия походила на нескончаемый плач — бывает так: вот, кажется, уже перестаешь плакать и вдруг всхлипываешь, раз, другой, и точно какую-то иную ноту взял и с этой ноты начинаешь плакать дальше. Тонкие струйки слез текли из выцветших, выпланных за годы здешней

службы глаз по мягким румяным щекам Эфраима, он печально раскачивался взад и вперед, мягкий живот его колыхался, голос то и дело прерывался, и непонятно было, то ли старик в самом деле рыдает и сдерживает рыдания, то ли того требует эта странная мелодия. Мама Муся стояла рядом, тоже плакала и вытирала маленьким платочком покрасневший нос.

Был, кажется, конец февраля, или начало марта. Высокий голос Эфраима легко растекался в напоенном тонкой весенней влагой воздухе. Большая черная ворона, будто желая послушать пение, устроилась на голой черной ветке росшей неподалеку березы. Иногда она каркала, подпевая, и громко хлопала крыльями. Бенька, не в силах удержаться, то и дело задирает голову и смотрел на нее.

Когда возвращались домой, он спросил маму Мусю — про ее родителей: «А бабушка с бабушкой были за красных?» (хотя и так было ясно: за красных, конечно!). «Да разве они понимали, — пожала плечами мама Муся. — Красные... Белые...» (Ну, что тут можно не понимать: красные — это красные, а белые — белые.)

«Какая ворона была смешная! — засмеялась мама Муся. — Хорошо! Весна!..»

Иосиф, слегка ссутулясь, стоял у могилы родителей, высокий, крупный, статью в отца — единственный из всех троих: Борька и Соня получились мелкими — в мать. Бабушка Рива считала, что младшие не успели хорошо поесть в детстве — мировая война, гражданская: голодные времена. Отец любил Иосифа больше, чем брата и сестру, Иосиф это знал, — старший сын, первенец: пока остальные дети появились на свет, отец успел привязаться к нему, увидеть в нем свое продолжение, поверить, что этому крупному, видом своим и ухватками похожему на него мальчику удастся в жизни всё то, что не удалось ему. Что именно, отец, наверно, и сам не мог бы сказать, но Иосиф с малолетства чувствовал эту возложенную на него отцом надежду. Груз не тяготил его, — наоборот, радовал, как радуется заветная вещь, которую постоянно несешь с собой — оберегом — в набитом дорожным скарбом заплечном мешке.

Когда он в реальном переходил из младших классов в средние, отец пообещал ему за успехи в учении (он всегда хорошо учился) подарить коня. Иосиф посмеялся шутке, но в назначенный день отец достал из саквояжа две толстые книги в коричневом с разводами под мрамор переплете: «Вот тебе конь, — сказал отец. — С таким конем будешь долго ехать, и далеко уедешь, и он вывезет тебя в нужные люди. Потому что, если не станешь нужным человеком, то будешь никому не нужен». «Что значит нужный человек?» — спросил Иосиф. «Это тот, кто собирает камни. А ненужный человек их разбрасывает». Книга оказалась переведенной с немецкого двухтомной «Энциклопедией элементарной математики». Больше тридцати лет прошло, но лошадка и в самом деле попалась долговечная: куда бы ни бросала Иосифа судьба, всюду непременно сопровождала его; случалось, и вправду, — вывозила (недаром страницы рябили пометками), но главное — таилось в ней какое-то волшебство: стоило взять ее в руки, открыть, начать неспешно перелистывать, задерживаясь взглядом то здесь, то там, как томившие его вопросы, подчас вовсе не связанные ни с элементарной, ни с какой иной математикой, начинали проясняться, думалось точнее, приходили решения. «Это отец мне помогает», — с улыбкой думал Иосиф, хотя вовсе не был склонен к сентиментальности.

О смерти отца он узнал с недельным опозданием. Когда в управлении приняли телефонограмму, начальник строительства сообщил ему новость по селектору на участок, где он в тот момент находился. Прибавил: «Отпустят дела, загляни — помянем». В переры-

ве он ушел один в тундру. Там, километрах в двух от строительства, отведено было место под кладбище. Стояло полярное лето. Хотя час подходил к полуночи, почти не стемнело, только неяркое небо еще больше поблекло, и земля вдали, у горизонта, набралась буроватой темени... Он остановился посреди, казалось, бесконечного, холодного, ровного пространства, и, как только остановился, тотчас почувствовал мертвый холод этой далеко промерзшей вглубь земли под ногами. Он стоял, курил и старался вспоминать отца. Но в памяти теснились картины только что оставленной стройки, выскакивали какие-то цифры, звучали, набегая один на другой, деловые разговоры, и никак не получалось протолкаться сквозь эту копошащуюся массу к тому далекому, о чем только и хотелось вспоминать. Небольшая территория кладбища была охвачена колючей проволокой. Рядами стояли красные фанерные пирамидки с жестяной звездочкой на маковке, кое-где даже гранитные надгробья. А вокруг, за колючей проволокой, до горизонта, торчали из земли покосившиеся колышки с наспех написанными на дощечках номерами, а то и колышков не было, лишь возвышались над поверхностью тундры, похожие на кротовые норки, смерзшиеся комья земли.

«...У них на меня больше нет фонда, Иосиф... — жаловался Эфраим. — Товарищ Тимофеева так и сказала: у нас нет фонда, вы теперь свободный человек и вам не обязательно всякий день находиться на кладбище...»

«Кто это — Тимофеева?» — спросил дядя Иосиф.

«Товарищ Тимофеева — это коммунхоз».

Они шли по аллее к воротам кладбища. Солнце припекало голову, плечи. Деревья попадались нечасто: тень листвы была приятна и приметна.

«Я спросил: товарищ Тимофеева (это — коммунхоз), но раз я свободный человек, значит, я имею право всякий день находиться на кладбище? Она даже не улыбнулась. Ты понимаешь? Люди живут целую жизнь, пока переселяются сюда, а я целую жизнь прожил здесь, и теперь мне вдруг говорят, что я могу отсюда уйти. Куда?.. Это очень смешной вопрос, Иосиф...»

Эфраим тяжело переставлял ноги, то и дело останавливался и приподнимал шляпу, предлагая вспотевшей лысине побольше воздуха.

«Я сказал: товарищ Тимофеева, сейчас вам будет совсем смешно, но я старше почти всех этих памятников. Эти камни мне как дети. Я помню, когда каждый из них появился, как его зовут, и даже, что каждый из них думает, потому что знаю, кто под ним лежит... Но она (коммунхоз) снова сказала мне про фонды»...

Беньке было скучно идти так медленно, слушать одышливые речи старого Эфраима. Дядя Иосиф собирался еще погулять с ним по городу, и Бенька связывал с этой прогулкой свои тайные планы.

Недавно в городе открыли кафе-мороженое «Север» — мороженое там было не такое, как у Веры Ивановны. Не то, обычное, из формочек, с вафлями, которое быстро и липко тает в пальцах, так что нужно поспевать слизывать его то с одной, то с другой стороны: мороженое в кафе называется пломбир, подают его в никелированных металлических вазочках и едят ложечкой. Пломбир бывает не только белый, сливочный, — еще розовый, клубничный, шоколадный; есть и совсем особенный, самый вкусный, с прекрасным названием *крем-брюле*... Это — во-первых.

Но Бенька таил и вовсе заветную мечту — уговорить дядю Иосифа покататься на лод-

ке. У мамы Муси лодочная станция — строжайший запрет. Мало, что лодку и так не дают даже не до шестнадцати, а до восемнадцати, мама Муся со взрослыми тоже не разрешает — только с папой Борей. А папа Боря вечно занят, главное же (Бенька давно понял) — просто не любит кататься на лодке. Если бы дядя Иосиф согласился, на него мама Муся, конечно бы, не рассердилась...

Бенька в душе торопил время, прибавлял шагу, стараясь подать пример, но Эфраим всё так же медлительно нес свой живот, всё так же, задыхаясь, говорил что-то, останавливался, обмахивался шляпой — и снова говорил; дядя Иосиф, хоть и взглянул раз-другой на ручные часы (иметь такие — это уже мечта почти несбыточная!), тоже как будто не торопился: шел, заложив руки за спину, и опустив голову, и то ли слушал старика, то ли думал о чем-то своем.

«И у меня тут Додик, — говорил Эфраим. — Разве я в силах хоть на день оставить его одного? Ты помнишь Додика? Ты должен его помнить, Иосиф: вы были ровесники. И вот мы с тобой (чтоб ты жил сто двадцать лет!) идем к воротам, а Додик уже переселился сюда насовсем. Когда я стою у его могилы и беседую с ним, я поднимаю глаза к небу и спрашиваю: за что?.. И Он, наверху, как Он Иову праведному не отвечал, за что, так и мне не отвечает... Ты ведь любил Додика, Иосиф? Мы могли бы подойти к нему. Это недалеко: бывший синагогальный участок, хорошее место, три шага от раввина Шпицера...»

Бенька испугался: если повернут обратно, прощай лодочная станция. Но дядя Иосиф промолчал, и они продолжали идти к воротам.

Иосиф едва вспоминал этого Додика. Бледный, болезненный мальчик, с аккуратно приглаженными волосами — таким он Иосифу представлялся, но, может быть, этот мальчик был и не Додик вовсе, а кто-то другой. Додик одолел процентную норму, пробился в гимназию (Эфраим оповестил об этом весь город), потом, уже во время войны, поступил на медицинский факультет, кажется, в Казани. Что еще? Больше, наверно, ничего. Ничего больше об этом Додике он не знал, не помнил. Вроде бы в самом деле — ровесники, но будто обитали в разном времени. То, что для Иосифа составляло сущность его времени, Додик, кажется, было неведомо. Они не встречались на рабочих сходках, Додик не читал запретные брошюры и газеты, не пел песни и не спорил до хрипоты в клубе — штабе Гришки Кацмана, и в отряд особого назначения тоже не записался... Отношения с революцией проложили когда-то для Иосифа рубежи между ним и ровесниками. И хотя многое переменилось в жизни, особенно за последние годы, это в глубине души так и хранилось недвижимо.

«Весь город у него лечился, а кто не лечился, тот мечтал лечиться...», — нескончаемо продолжал Эфраим, медленно переставляя ноги. — К нему приезжали больные даже из областного центра...»

Каждое полугодие, а иногда и каждую четверть Давид Ефремович (так знали Додика в городе) появлялся в школе и осматривал детей. Бенька этих осмотров терпеть не мог. Перед встречей с Давидом Ефремовичем приходилось мыть голову, ноги, стричь ногти на руках и ногах. Бенька злился и ворчал. Мама Муся посмеивалась: «Экономия времени и сил: моя ноги, ты одновременно моешь руки». «И не прихвати лишнего! Ты ведь помнишь, какие места осматривает Давид Ефремович...», — добавлял папа Боря.



Давид Ефремович был кожный врач. Сквозь увеличительное стекло в медной оправе он внимательно осматривал головы ребят, ногти на руках и ногах. «Посмотрим, что у тебя в голове делается», — любил он шутить, длинными белыми пальцами раздвигая здесь и там волосы очередного пациента. Был Давид Ефремович совсем не похож на Эфраима — худой, бледный, с бородкой (кроме стариков бороду, кажется, никто и не носил). Во время осмотра ребята пугали друг друга лишаям и рассказывали про Толю Черемина из восьмого «Б»: три года назад у Толи обнаружили лишай, Давид Ефремович облучил ему голову рентгеном и убрал все волосы; теперь голова у Толи была гладкая и блестящая, как глобус.

«Сколько лет, Иосиф, как ты уехал? Шестнадцать?.. Тогда ты вряд ли помнишь Лёвика: он же был совсем маленький. Теперь он уже студент...». Внук, сын Додика, остался главным утешением и надеждой старого Эфраима. Лёвик учился в Смоленске, на медицинском. «И знаешь, Иосиф, это даже смешно, он такой же способный учиться, как Додик. Ты бы посмотрел его тетрадки! — Старик сложил кончики пальцев и поцеловал. — Хоть в музей! Я скажу откровенно, Иосиф: может быть, Лёвик еще способней учиться, чем Додик».

В последнем письме внук сообщал, что многих студентов берут в армию; сам Лёвик был мальчик болезненный, в отца, — какая ему военная служба! Но всё-таки беспокойно.

«Я хочу тебя спросить, Иосиф... — Они уже остановились в воротах, чтобы распрощаться. — Что слышно в Москве насчет войны?»

«А здесь разве не услышали того, что слышно в Москве?.. — Дядя Иосиф заговорил почему-то жестко, почти сердито. — Наше правительство заявило громко и ясно: мы воевать не собираемся».

Он замолчал, поджал губу и прибавил: «Пока».

«Я тебе скажу всю правду, Иосиф... — Старик несогласно повел головой и понизил голос. — ...Не нравится мне эта дружба, Иосиф!.. Гитлер, фашисты — это что, друзья?..»

«Друзья, не друзья... — Дядя Иосиф говорил совсем сердито. — ...Лучше иметь дело с ними, чем лезть в огонь... И правительство это понимает».

«Ты, конечно, прав, Иосиф, и они там, в Москве, наверно, знают, что делают... — Тяжелое лицо старика было печально, выцветшие глаза будто увидели что-то невидимое остальным и оттого казались незрячими. — ...Но я скажу тебе напоследок, Иосиф, очень смешную вещь. Самые лучшие яблоки вызревают на кладбище; но люди не сажают на кладбище яблонь».

## 8

**Д**ень удался на славу!..

И мороженое было — крем-брюле, и к нему два стакана шипучей, колкой газировки с вишневым сиропом. И — лодочная станция: дядя Иосиф гребец оказался замечательный, и Беньку посадил на весла, учил грести («Если мама Муся начнет ругаться, ответственность принимаю на себя!»). И сверх того: когда проходили Ленинским сквером, дядя Иосиф приметил стоящий в стороне от аллеи, за кустами, балаганчик тира и предложил сразиться в стрельбе.

Это оказалась и вовсе нежданная радость: тир для Беньки был под таким же запретом, как лодочная станция (всякий раз история про какого-то маминого приятеля, которому — вот из такого точно духового ружья — в тире вышибли глаз). Но дядя Иосиф и здесь принял ответственность на себя: «Скоро в армию — не будешь знать, с какого конца ружье стреляет»...

Взяли каждому по пять пуль. Бенька стрелял первый. Дядя Иосиф показал, как точнее целиться, как правильно, плавно, спустить курок. Но ружье тяжелило руку, с дыханием тоже никак не удавалось справиться, мушка прыгала вверх и вниз, не хотела замереть в прорези прицела, к тому же после выстрела ружье сильно отдавало в плечо, это тоже мешало. Белые жестяные кружочки мишеней были прикреплены к таким же вырезанным из жести фигуркам разных животных: если попадешь, фигурка, лязгнув металлом, переворачивается вниз головой. Бенька целился то в зайца, то в лису, то в медведя, но так ни разу не попал. «Дело наживное, — успокоил дядя Иосиф. — Зато ты теперь человек обстрелянный».

Сам дядя Иосиф перед первым выстрелом старательно целился (Бенька заметил, как спокойно, уверенно улеглось ружье в его большой ладони) — и сразу сшиб медведя. Потом быстро, вроде бы уже не целясь, выстрелил еще три раза — и всё точно. «Вот таким образом, — сказал дядя Иосиф. — Если завтра война...»

Последнюю пулю он щедро подарил Беньке: «Кто там остался? Волк? Давай в волка».. Налег на Беньку сзади большим телом, крепко взял его руки в свои: «Целься внимательно... дыши ровно... не рви крючок...». Но волк остался невредим. «Ничего, — сказал дядя Иосиф. — Запишись в стрелковый кружок — есть, наверно, в школе?».

Обидно, конечно, что стрелял мимо. Но всё равно — радость. Шутка ли — стрелял!..

На скамейке у входа в подъезд сидел художник Арганов и курил.

Обойти его стороной было совершенно невозможно.

Бенька расстроился. Он боялся, что Арганов остановит дядю Иосифа, заведет разговор.

Бенька не любил Арганова. Он не то что боялся его, но, встречаясь с ним, всегда, не сознавая, почему, чувствовал какую-то исходящую от него опасность.

Арганов, наверно, заметил Беньку с дядей Иосифом еще издали, но делал вид, что не подозревает их приближения: сидел себе и курил — делал глубокие затяжки и наблюдал задумчиво, как отработанный дым медленно растворяется в воздухе.

Только что возле тира они видели большой щит: юноша в белой рубаше и девушка в белом платье, в руках у юноши и у девушки винтовки, на груди и у него, и у нее краснеет значок «Ворошиловский стрелок»; на щите — надпись: «Комсомолец, крепи оборону Родины!». «Надо полагать, тоже моего однокашника творение», — дядя Иосиф слегка хмыкнул, поджал губу и улыбнулся.

«Ага! — будто от неожиданности встrepенулcя Арганов, когда они были уже совсем рядом. — Смотри, не врут: и правда, приехал! Может, удержишься на чуток — сколько лет не виделась?». Он слегка подвинулся, будто освобождая побольше места.

«Не надо, не надо», — затосковал душой Бенька. Тревожно сделалось, что ненужная встреча ляжет черным штрихом на этот радостный день.

Но дядя Иосиф улыбнулся и вроде бы даже охотно опустился на скамью.

«Ты, как я понимаю, главный художник города?». Дядя Иосиф всё улыбался, поджав губу, по обыкновению, и Беньке, глядя на него, отчего-то хотелось, чтобы он побыстрее стер с лица эту, будто приклеенную, улыбку.

«Поднимай выше — главный маляр, — строго отозвался Арганов. — Главный художник у нас товарищ Бородюк. Слыхал про такого? Он творит, я раскрашиваю».

«Ну, а если серьезно?»

«Я — серьезно. — Арганов притушил окурочок о спичечный коробок и щелчком отправил его в стоявшую неподалеку урну. — Главный художник завтра, смотришь, уже и не художник. А, к примеру, главный сапожник. Или главный садовод. А маляр — он всегда маляр. Профессия».

«А мне, не успел с поезда сойти, уже напели: Константина Арганова картины в музеях висят».

«Висят. — Арганов слегка повел плечами, будто выгоняя холод, сидевший в глубине его сухого, костлявого тела. — В прошлой жизни я, и правда, художником был. Не главным — просто художником. Мои работы Волков хвалил, в Средней Азии, Шевченко Александр Васильевич. Слыхал про таких?»

«Не приходилось».

«Куда им! Художники серьезные, но — не главные. А потом пришел совсем главный художник, не Бородюк, другой, трубой повыше, и объявил: такой художник, как ты, нам не нужен. Странный получается колорит. Я, значит, — это я, а он — мы. Ну, а если так, никуда не денешься: он сочиняет, я раскрашиваю».

Улыбка сошла с лица Иосифа.

Арганов, прищурясь, смотрел на него:

«Вот ты, к примеру, как себя понимаешь: как я или как мы?»

«Без сомнения, как — мы», — жестко ответил Иосиф.

«Вот видишь, — засмеялся Арганов (зубы у него были плохие, прокуренные). — Куда мне в художники. Вас много, а я один».

Он встряхнул помятую бумажную пачку папирос «Норд» (именуемых в народе гвоздиками), ухватил зубами гильзу, чиркнул спичкой.

Иосифу тоже хотелось закурить (коробка хороших столичных папирос в кармане пиджака своими прикосновениями напоминала ему о том), но он опасался, что, закурив, протянет ненужный, неприятный разговор. Он почувствовал, что сильно устал за этот долгий, не заполненный настоящим делом день. Назначенное на понедельник совещание снова встревожило его. Напряженная жизнь Наркомата с ее приметами чувственно, до самых незначительных ощущений — стрекотания пишущих машинок за тяжелыми дверями, ковровых дорожек в коридорах, приглушавших звук шагов, — пробудилась в его памяти, и тотчас всё прожитое нынешним днем в Б., и сам город, почудились ему давним, не раз уже являвшимся сном.

«Встать и уйти», — подумал Иосиф. Но не к лицу было уйти побежденным, — а тут еще этот мальчик, который смотрит на дядю Иосифа с надеждой, того более, — с уверенностью, что всё в его силах, как смотрел в тире, когда он взял в руки ружье, — уже невозможно было промахнуться.

«Смотри, не промахнись, — недобро сказал дядя Иосиф. — Старая байка: один прут переломят, а метлу не одолеют».

Арганов снова засмеялся: «А я про что? Метлой картину не напишешь. Вот и малярничаю».

...Учитель черчения в реальном училище, сильно пьющий человек, поражавший учеников тем, что умел без циркуля, одним точным движением нарисовать круг, говорил Арганову: «Ты руками работай, руки у тебя золотые, — а язык придерживай».

Но сейчас дело было не в языке: резкостью речи Иосифа не так-то просто смутить, всякого наслушался в жизни, — дело было в скрытом смысле, таившемся в словах Арганова; чуждым, даже враждебным было напитано его шутовство, и это чуждое, как инородное тело в глазу, царапало Иосифа, болезненно мешало ему, отторгалось всем его существом.

Встать и уйти, — снова подумал он. Не для того же он выбрался в Б., чтобы слушать злую чушь непризнанного художника Константина Арганова. В газетах ему попадались статьи о вреде формализма — всё в статьях было понятно. Наверно, и Арганов из подобных формалистов, а весь мир, как водится, перед ним виноват. Иосиф ругнул себя: столько времени в Москве — в Третьяковку так и не выбрался. Надо бы посмотреть настоящее искусство...

...Бенька ненавидел Арганова. И чем больше увязал в разговоре дядя Иосиф, тем больше ненавидел. Он так и не присел, хотя дядя Иосиф, приглашая его, похлопал ладонью по скамейке рядом с собой. Он переминался с ноги на ногу, едва ли не шептал какие-то отчаянные слова, — всем своим видом он, желая того или нет, побуждал дядю Иосифа скорее покинуть это недостойное его поле сражения. Бенька чувствовал: сколько ни стреляет дядя Иосиф, всё никак не может попасть, опрокинуть противника вниз головой, как только что с одного выстрела опрокидывал в тире зайца или медведя: пули будто ударялись о гранит — отскакивали обратно и, чувствовал Бенька, ранили дядю Иосифа. И самое обидное, что противником оказался Арганов, с его прищуренными холодными глазами и костлявыми плечами, о котором в городе ни от кого доброго слова не услышишь (только одна мама Муся защищает). «Злой, злой», — едва не шептал, а, может быть, и шептал Бенька. Разве дядя Иосиф обидел его чем-нибудь? И умоляюще взглядывал на дядю Иосифа: «Ну, пошли же!..»

Иосиф поднял глаза на мальчика. И в самом деле — пора. Черт с ним, с этим Аргановым! Уйти и забыть.

Но Арганов, почувствовав намерение Иосифа, жестом удержал его:

«Я тут повестку получил. В солдаты. — Он вертел в пальцах блекло-голубую бумажку. — Вообще-то я невоеннообязанный. Легочник. Да и переростки мы с тобой...».

«Я — военнообязанный, — перебил его Иосиф. — И если завтра война, пойду воевать». (Он не заметил, что говорит словами песни.)

«А я про что? — сказал Арганов. — Очень уж вокруг подбирают. Значит — к войне?»

«Ты бы, Арганов, иногда газеты читал. Полезно».

На лице дяди Иосифа снова напечаталась снисходительная улыбка.

«Отец твой был мастер по этой части. Четыре газеты в день обрабатывал. Я его спрашиваю: ну, что там пишут? А он отвечает: я, что пишут, не читаю, я читаю то, что не пишут. Умнейший был человек».

Дядя Иосиф побледнел, резко поднялся со скамьи. («Сейчас он его ударит, этого Арганова ужасного», — подумал Бенька, и в животе у него что-то щекотно сжалось от страха.) Но дядя Иосиф только сказал чужим голосом: «Пошли, Бенька».

«Константи-ин! — послышался из окна первого этажа недовольный голос аргановской матери. — Ты куда пропал? Картошка сварилась».

... **О**т загара кожа у Белки на плечах шелушилась, и там, где она отошла, розовели нежные островки. Плечи и грудь усеяны веснушками (Белка называет их конопушками), всё лето она носила ставшие ей короткими старенькие сарафаны, очень открытые — две тонкие тесемки через плечи. Волосы у Белки темно-рыжие, как крепко заваренный чай, длинные, до пояса, — тетя Соня требует, чтобы она заплетала их в косу, но Белке вечно некогда: перехватит ленточкой — и хорошо.

Белка незаметно подкралась к нему, когда он в одних трусах, разомлев от жары, сидел на ступеньках крыльца, и плеснула ему на спину холодной водой из чашки. Он расширепел, вскочил на ноги, бросился за ней, — да разве ее догонишь! Шустрая (и в самом деле — белка), она с пустой чашкой в руке обежала вокруг дома и нырнула в тесную, как стенной шкаф, кладовку, где у дяди Исаака, ее отца, хранились инструменты для садовой работы — грабли, коса, лопата, одноколесная тачка, поставленная на попу рукоятями вверх. Разогнавшись, он ворвался за Белкой следом в узкую темную щель кладовки — и вдруг, сам того не ожидая, оказался так близко к ней, что этого невозможно было себе представить. Белка стояла у стены к нему лицом, а он, точно они сделались чем-то единым, прижался к ней, всем телом чувствуя ее напухшую грудь, живот, бедра. Закрыв глаза, она дышала ему в лицо, дыхание ее было сладким. В животе у Беньки трепетал томительный испуг, колени стали слабыми. Белка обняла его, он почувствовал на спине ее вспотевшую ладонь. Прикосновение чашки в Белкиной руке обожгло его холодом, он неожиданно вздрогнул, сильно и остро, это была почти боль. Белка мягким движением отстранилась от него, сказала как-то даже деловито: «Давай скорее вырастем и поженимся»...

Это было прошлым летом, и уже целый год, Бенька, лежа в постели, прежде, чем уснуть, всякий вечер, как нечто заповедное, возбуждал в памяти воспоминание о том дне. Снова и снова срывался он с теплой, согретой солнцем ступеньки крыльца и мчался направо и направо, по утопанной песчаной дорожке вокруг дома, мимо куста сирени, мимо клумбы, где днем нежились лиловые и розовые флоксы, а вечером раскрывал отоспавшиеся за день цветы одуряюще ароматный табак, мимо стоявшей в отдалении досчатой будочки уборной, мимо нескольких толпящихся на небольшом пятачке яблонь, отделенных от дорожки кустами крыжовника и смородины и, наконец, еще раз резко направо — покрашенная под цвет обшитой тесом стены дверца кладовки притаилась почти неприметно с бокового торца дома: он делает шаг в затягивающую его темноту и тесноту — и тут же во всем его теле пробуждается мучительно волнующая память о пережитом мгновении...

Беньку укладывали теперь спать в комнате деда. Дверь в комнату была полуоткрыта, такой уговор — он не любил оставаться один в темноте. В просвете двери тянулись волокнистые сизые облачка табачного дыма. С Бенькиного дивана был виден стол, накрытый голубой клеенкой, белый эмалированный чайник, чашки. Дядя Иосиф и папа Боря сидели за нескончаемым чаем. «Кури мои, — сказал дядя Иосиф. — Они вроде полегче». Папиросы у дяди Иосифа были «Казбек» — голубое небо, снежные вершины, черный всадник на черном коне мчится по горной дороге. «Да я уж как-то привык к своему «Беломору», — сказал папа Боря. — Отец в последние годы тоже «Беломор» курил. Мама называла — «Белый мор».

«Да... «Белый мор»... — задумчиво повторил Иосиф. — Ай да мама, вот умница, хоть сама и не понимала, наверно, о чем она...»

Когда на Каналстрой прибыл эшелон из Средней Азии, Иосиф (чего к тому времени уже не увидался) замер от ужаса: зима на дворе, промерзлая земля гудит под ногами, стволы сосен стонут от мороза, а тут вывалилась из вагонов толпа — пиджачки, полупальтишки, тюбетейки, вовсе шляпы соломенные... Какой-то гепеушник из сопровождавших эшелон — плотный, коренастый, квадратная лысая голова, глазки маленькие, бойкие — подмигнул, посмеиваясь: «Шибче бегать будут!..», оглянулся, прибавил вполголоса: «Однако третью часть, наверно, уложили вдоль путей...».

«Всё дорогой ценой, невероятной (я лучше тебя, Борька, знаю, уплату-расплату своими глазами видел), но — воздвигаем! На столетия вперед воздвигаем. Цена со временем забудется, а что воздвигли, будет жить... — сказал Иосиф. — Нынче ваш старичок-музыкант красиво цитировал: счастливые народы не имеют истории. Чепуха! Только с историей, с большой историей, часто страшной, кровавой, народ чувствует себя счастливым, гордится собой. А народ без истории вроде бы и не народ даже: так — профессия».

«Речь не о том, — папа Боря движением пальца возвратил очки на докрасна намятую оправой переносицу. — Речь не о цене канала или завода, а о цене человеческой жизни».

«То, что мы делаем — продолжение революции. Если остановимся, ей — конец. Согласен? А какая революция совершается без жертв? Вспомни Французскую...»

«Парень что надо! — сказал Иосиф. — Разве что слабоват немного. Погоняйте его побольше: гимнастика, спортивные игры. А то в армии засмеют».

«Куда его гонять? Смотри, какой тощий», — заспорила мама Муся.

«От физкультуры не убудет. Наоборот: нарастет мускулатура».

«Все мои предложения по данному вопросу отклоняются двумя третями голосов», — улыбнулся папа Боря и поправил очки.

«Я вам свежий чай заварила, — сказала мама Муся. — Пойду Бенькину белую рубашку поглажу. Такой дурачок: на скрипке — пожалуйста, петь — ни за что. А жалко: голосок пока хороший. И, главное, знает, что поет».

«Это из-за Аркаши Хитрика, — сказал папа Боря. — Желание успеха уступает страху проигрыша».

«На скрипке Бенька тоже не Буся Гольдштейн, хоть Жак Изанович и нахваливает».

«В том-то и дело. — Папа Боря поправил очки. — На скрипке, лучше, хуже, все вторые. А Аркаша Хитрик — первый, и рядом — никого».

...За кустом сирени таился кто-то — Бенька чувствовал. Это могла быть Белка, это, даже наверно, была Белка, — но сумерки сгустились, и куст высился огромный, черный, непроницаемый: не разглядеть. Бенька сперва побежал было как обычно, но из-за куста будто позвал его кто-то: он не слышал зова, но почувствовал его пробежавшей по телу дрожью — и замер напряженно и неподвижно. Он знал (чувствовал), что там, за кустом, замерев точно так же, как он, тоже стоит кто-то, — ни шаг сделать не было сил, ни окликнуть. Куст между тем начал расти, вверх, вширь, — уже и не куст — черная стена, отгородившая от него половину мира, и только совсем наверху сумрачная полоса неба. Всё Бенькино существо ждало Белку, сладкая тяжесть, сопутствовавшая ожиданию, томилась внизу живота, но всё вокруг сделалось так непривычно, неуютно, угрюмо, что привыч-

ное томление ожидания ощущалось томлением ужаса перед неведомым. Черная стена куста вдруг странно закачалась, будто колеблемая ветром, разделилась где-то посередине — половинки ее поехали в разные стороны полотнищами театрального занавеса. В образовавшемся просвете Бенька увидел каменистую пещеру, посреди нее перед очагом, в котором шевелился красный ком огня, сгорбилась старуха с темным лицом и распущенными седыми волосами. Да ведь это же злая волшебница Наина — «Руслана я в седьмое царство заведу», — узнал Бенька и даже хотел засмеяться, но старуха что-то сделала руками над самым огнем и крикнула сердито: «Картошка сварилась». Она выпрямилась. Это была мать Арганова. Черное длинное платье висело на ее костлявых плечах. В руке у нее было ружье. «Вот таким образом... Дыши ровно...», — сказала старуха, вскинула ружье и выстрелила...

«Утюг уронила, — засмеялась в кухне мама Муся. — Пока с вами болтала, так раскалился, сквозь прихватку обожгло. Хорошо, Аргановы у нас соседи терпеливые. Да и ложатся поздно, полуночники».

«Не нравится мне этот ваш Арганов, — голос дяди Иосифа холодел неприязнью. — Чуждое в нем что-то. Другой состав».

«Отец с ним ладил, — сказал папа Боря. — Говорил: недобрый ум, но — ум».

«Когда человека много бьют, трудно остаться добрым», — поддержала папу Борю мама Муся.

«Я не про то: умный — глупый, добрый — злой. Чужой. У меня на это шестое чувство. Враг».

...Бенька проснулся. Сердце страшно колотилось и долго не хотело униматься. Костлявая старуха в длинном черном платье с ружьем в руках стояла у него перед глазами. Он гнал ее прочь, — но она не уходила. Бенька вспомнил: ни старуха, ни сам Арганов никогда не называли его по имени, только — мальчик. И правда, — чужие...

Табачный дым беспокойно качался в просвете двери.

«Мы не виделись шестнадцать лет...», — сказал дядя Иосиф.

В его голосе Беньке послышалась обида.

Папа Боря негромко ответил что-то. Когда волновался, он всегда говорил тише обыкновенного.

Бенька испугался, что папа Боря и дядя Иосиф поссорятся.

Мама Муся вошла с белой Бенькиной рубашкой.

«Совсем мальчика прокурили...»

«Ничего, в деревне продышится...»

Папа Боря засмеялся, кажется, совсем мирно.

Мама Муся открыла в комнате у Беньки окно и подошла к его дивану. Хотя глаза у Беньки были закрыты, она тотчас почувствовала, что он не спит, присела возле него на корточки, протянула ему палец — так было у них заведено с давних пор, когда Бенька был еще совсем несмышлениш. Он крепко сжал в кулаке ее палец, глубоко вздохнул, как бы отгораживаясь от всего, что мешало ему снова по-настоящему заснуть, разные интересные мысли поплыли у него в голове. Мама Муся тихонько потянула палец из его кулака, он, будто и вправду заснул, отпустил ее.

Старуха Арганова в самом деле похожа на злую волшебницу — как ему такое прежде в

голову не приходило, — хотя Наина в «Руслане и Людмиле» маленькая, горбатая, а она высокая и прямая.

Завтра на концерте Гарик Розенвассер непременно сыграет на бис марш Черномора, хотя мама Муся на генеральной репетиции предупредила: концерт длинный, бисировать только в самом крайнем случае. Вот Аркаша Хитрик никогда не поет на бис. Даже кланяться не выходит — говорит: устал. Он совсем слабый, Аркаша, — маленький, очкарик.

Наверно, и Таня Зарецкая будет на концерте. Какая она красивая, Таня! Раньше ему нравились ее тяжелые светлые косы, но теперь с короткими волосами, такая, как сегодня на вокзале, она стала еще красивее. И почему у нее всегда удивленные глаза?.. Он представил себе, что там, в кладовке, вместо Белки стоит Таня, — решительно отворил дверь, шагнул в зовущую темноту, но Таня с ее удивленными глазами жила только в его воображении, — в узкой темноте кладовки ее не было: пустота. Ее просто не могло быть в этой темной щели, рядом с граблями и тачкой, не могло быть у нее влажной от пота ладони, веснушек и шелушащейся кожи на обгорелых плечах...

«...Не мучай меня, Борька!.. — Дядя Иосиф говорил горячо, Беньке казалось, что — сердился. — Не мучай меня!.. Там, на краю света, мы грызли, бурили, взрывали, копали эту вечную мерзлоту, искали, находили — и строили, строили, строили, и верили, что строили лучшее будущее, лучшее на всей планете, — понимаешь ты? Без этой веры ничего не построишь, не проживешь, просто не выживешь. Я — не выживу... Закури «Казбек»...»

«У меня — «Беломор»...»

«Да, «Белый мор»... Умница мама... Ты говоришь: край света...»

«Это ты сказал...»

«Да. Край света. Столбы, проволока колючая, вышки. Край. Но дальше — тоже земля. Наша земля. И на той земле люди живут, тяжело работают, строят... И если не верить, что это окупится будущим...»

«Не окупится, — тихо сказал папа Боря. — Будущее спросит с нас за это».

...Иосиф снова почувствовал, что страшно устал, наверно, ничуть не меньше, чем этот милый Бенька, который притих, раскинувшись, на своем диване и отплыл в прекрасные сны — машет веслами, стреляет в тире, запивает вкуснейшее крем-брюле шипучей, ароматной газировкой. Может быть, и ни к чему было ему приезжать в Б. — лучше бы позвать Борьку на каникулы в Москву, отправить в Большой театр, в Третьяковку, на Сельхозвыставку, выбрать время — самому с ним сходить, а то, и правда, стыдоба: который месяц в Москве, нигде еще не успел побывать — только Наркомат, домой и снова Наркомат. Беспокойная мысль о назначенном на понедельник совещании снова выбралась из-под впечатлений минувшего дня: он снова вспомнил свой наркоматовский кабинет, просторный письменный стол, эбонитовый чернильный прибор, стакан с остро оточенными карандашами, большую пепельницу из красного стекла, подаренную Маней. Он любил приезжать на службу в выходной день, который назывался теперь воскресеньем: здание встречало его непривычной тишиной, пустотой коридоров и приемных, онемевшими телефонными аппаратами — разве только нарком, уверенный, что застанет Иосифа на рабочем месте, вдруг позвонит, чтобы услышать ответ на какой-нибудь внезапно явившийся вопрос. В такие дни удавалось особенно хорошо сосредоточиться, думалось лучше, решения получались интересными и основательными, в такие дни Иосиф ясно сознавал масштабы и цели дела, которым был занят, и это приносило уверенность, что живет он нужно и правильно. Конечно, ему хотелось увидеть Борьку и Соню, сестру, после долгой разлуки, сколько раз на своем краю света он меч-



тал, что однажды вот этак накатит сюда, в Б., будет бродить по знакомым сызмальства улицам, узнавать знакомые дома и лица, есть драники за семейным столом и (что греха таить, с чувством превосходства) рассказывать родным о своей жизни, заполненной делами необыкновенной важности. Но, уже погрузившись в международный вагон, где, кроме него, пассажиром был один-единственный человек, похоже дипкурьер, который быстро вошел в крайнее купе, защелкнул изнутри замок, и больше не высовывал наружу носа, уже в вагоне, ворочаясь на удобной полке от нежданно навалившейся бессонницы (он-то полагал, что отоспится по дороге), Иосиф не то что бы понял — почувствовал, что задуманная поездка скорее всего только разрушит вымечтанную фантазию путешествия в прошлое, о которой говорил нынче этот старичок музыкант. А жаль! Жить бы и жить с этой фантазией, из года в год отодвигая ее осуществление, — греть ею душу...

Иосиф любил младшего брата, и ему нравилось, что брат — младший. Борька был еще совсем мальчиком, Иосиф брал его с собой — в свои железнодорожные мастерские, на прогулки с друзьями, такими же взрослыми (он был старше Борьки на восемь лет), даже, случалось, приводил на серьезные деловые свидания, где мальчику, казалось, вовсе нечего было делать. Встречая кого-нибудь из знакомых, он клал на худенькое плечо Борьки крепкую рабочую ладонь, слегка подталкивал его вперед, представлял с затаенной, но ощутимой гордостью: «Брат». В нем жило, пожалуй, скорей, отцовское — не братнее — чувство, и от этого не всегда даже сознаваемое стремление вести Борьку за собой, во всяком своем деле видеть в нем младшего и верного сотоварища.

Борька только перешагнул из отрочества в возраст юности, он явился с ним в клуб — штаб Гришки Кацмана. Какой-то отчаянный диспут был в разгаре; выступавшие нетерпеливо сменяли один другого, слушатели перебивали ораторов; воздух был густо заполнен выкриками, аплодисментами, табачным дымом; рыжий Гришка, требуя внимания, стучал по накрытому кумачом председательскому столу какой-то толстой книгой. Борька, тихий, сосредоточенный, теснился в уголке — казалось, не только слушал речи и споры, но вбирал всё происходящее взглядом сквозь стеклышки своих очков (близорукость у него с детства). «Ну, как, понравилось?» — заранее предвкушая ответ, по дороге домой спросил Иосиф, когда они, наконец, отделались от попутчиков и остались одни.

«Шумно очень», — пожаловался в ответ Борька.

Иосиф огорчился: «Ребята молодые, активные — горячатся, спорят, ищут истину».

«А одному нельзя искать?» — голос у Борьки звучал робко.

«Чудак! Вместе — всё легче, быстрее. Сам не сообразишь, товарищи помогут».

«Мне бы хотелось самому...»

Иосиф принес ему кое-какие книги — Ленина, Троцкого, «Капитал» Маркса, первый том. Борька возился с ними, наверно, год целый, потом — вступил в комсомол.

В Красную армию его по близорукости не взяли; он пришел в железнодорожные мастерские, попросился на работу в кузницу (началось восстановление транспорта, требовались рабочие руки). «Посмотришь в зеркало — куда тебе молотом махать», — сердито осадил его Иосиф. «Вот я и хочу молотом махать, чтобы не стыдно было в зеркало смотреться», — тоже сердито отозвался Борька.

Мать очень хотела, чтобы Борька стал врачом, но он выбрал педагогический: «Врач, учитель — в принципе это одно и то же». Мать его не поняла.

Когда Иосиф собрался на Север, он звал младшего брата с собой: главные наши стройки сейчас на Севере, на Востоке. «Главная наша стройка всегда здесь, — Борька легонько похлопал себя ладонью по лбу и засмеялся. — География не имеет значения».

«Дети, слава Богу, получились не лоскутные». Так отец говорил.

У отца была история про лоскутного — он им маленьким рассказывал.

В День Поста человека мучила жажда. «Такой ли уж грех, если я выпью глоток воды?», — подумал человек и направился к колодцу. Но пить всё же не решился и возвратился в дом. «Молодец я, — похвалил он себя. — Пост есть пост». А пить хочется. Он опять пошел к колодцу: «Неужели Богу угодно, чтобы я умер от жажды?». И снова повернул обратно: «Продержусь до первой звезды — и Бог не оставит меня милостью»...

Они, маленькие, спрашивали: «Ну и как? Попил воды или не попил?»

«Какая разница! — почти сердился отец. — Пил, не пил! Главное, что — лоскутный: целый день бегал туда и обратно»...

Соня тоже получилась не лоскутная. Окончила фельдшерскую школу, место в Б. получила хорошее, в родильном доме, но однажды встретила где-то случайно своего Исаака — он работал в Борках, механиком на сахарном заводе — собрала в один день пожитки и заделалась сельской жительницей.

Из кухни вкусно запахло сладким печеньем. Мама Муся пекла свои знаменитые сухарики с изюмом и орехами. Принесла мисочку — на пробу: «Вообще-то я в Борки пеку: Соня такие не умеет. Меня когда-то мама научила. Странно: сухарики запомнила, а маму живую почти и не помню. Когда о ней думаю, сразу фотографию вспоминаю, — у тети Гени, сестры ее, сохранилась; мама на ней молоденькая совсем, почти девочка. Они там, на карточке вдвоем с Геней. Принаряженные. В туфельках. Наверно, в городок бродячий фотограф какой-нибудь ненароком заехал. Мама эти сухарики называла дордочки. Почему дордочки?..»

Ночь была светлая. Когда Бенька просыпался и открывал глаза, он видел в окне серебристый прямоугольник неба. Месяца видно не было — только это серебристое полупрозрачное отражение его сияния.

«Ко мне во Дворец Лиза Зарецкая заходила, с Танюшкой, — сказала мама Муся. — Собираются завтра прийти на концерт. Лизе-то, я так думаю, Иосифа хочется повидать. Шестнадцать лет не видела». «Смотреть особенно не на что, — сказал дядя Иосиф. — Да и говорить, в общем-то, не о чем. Пересказывать ей, что со мной происходило в эти шестнадцать лет? Нелепо. Ее спрашивать, как она жила? Того хуже. Упасть на колени: прощения просить? Знаю, что виноват. Сам себе не простил и уже не прощу, — это главнее...». «Бывает, говоришь вслух, другому, — сказал папа Боря, — и вдруг находишь, понимаешь в себе что-то неожиданное, очень нужное, чтобы жить дальше». «Нет уж, братцы, уберегите меня от серьезного разговора. А то и с концерта сбегу, пожалуй, — сказал дядя Иосиф. — Что было, не вернешь. А остальное — подробности»...

...Бенька стоял на сцене и играл на скрипке. Он уже доигрывал свою сонату, оставалось еще несколько трудных пассажей, но он не думал о них, руки сами совершали всё, что от них требовалось, ему было легко и радостно. В зале сидела Таня с ее коротко постриженными светлыми волосами, повзрослевшим лицом и удивленными глазами, — Бенька играл только для нее. То есть отсюда, со сцены, ослепленный светильниками рамп, он не мог различить Таню в тесном многолюдье уходящих в черную глубину зала рядов, — просто для него весь этот зал, смотрящий и дышащий ему навстречу, был — Таня, ее светлые волосы, удивленные глаза. И Таня, конечно, должна была чувствовать это... Потом он ждал ее за кулисами, в тупичке, возле покрашенной в белое железной двери запасного выхода, — место тайных встреч и сокровенных разговоров: сюда убегали ребята в перерывах между занятиями и репетициями от зоркого взгляда педагогов. Бенька знал, что Таня придет непременно — и

Таня появилась; белый свитер красиво облегал ее повзрослевшую фигуру: она была прекрасна, как Любовь Орлова в кинофильме «Цирк». Он направился к ней, идти было непонятно трудно, как будто он шел в воде. Таня смотрела на него удивленными глазами и, казалось, ждала чего-то. Бенька чувствовал, как напряглось его тело, он чувствовал — еще мгновение, и что-то неведомое, прекрасное и страшное откроется ему. Но тут за спиной Тани оказался Бенька Волкович в красной рубаше. Он как-то особенно, противно улыбался, как всегда улыбался, когда рядом были девочки. С девочками Бенька Волкович не церемонился: распускал руки, лез обниматься, отпускал разные неприличные шутки, — девочки кричали: «Дурак!», краснели, хихикали, но по-настоящему на него не сердились; похоже было, им даже нравилось всё это хулиганство Волковича. Бенька шагнул было к Тане, но Бенька Волкович обхватил ее сзади обеими руками, нахально положив ей ладони на грудь (он всегда так, пугая, подкрадывался к девочкам и обнимал их).

«Не вернешь...» — проговорил Бенька Волкович чужим низким голосом... Вдруг тяжелая железная дверь запасного выхода протяжно заскрипела и медленно, будто сама собой, начала отворяться. Бенька застыл от ужаса. Он был уже совсем один в тесном глухом закутке — только он и черная пустота в проеме отворяющейся двери. Но он знал, что это не пустота — что это старуха Арганова, костлявая, в длинном черном балахоне, с ружьем... Бенька хотел закричать, но не было ни голоса, ни дыхания...

«...И этот договор... — говорил папа Боря. — Есть ли хоть один человек, которому не известен наш подлинный завтрашний противник, если завтра война? Который всерьез полагает, что нам предстоит воевать с Англией, с Америкой, не знаю уж, с кем — в Европе, кажется, никого, кроме немцев, и не осталось?.. Эта дружба с Гитлером, с фашистами, с самыми заклятыми врагами нашего строя... Наше знамя и рядом — свастика!..».

«Со свастикой не подружимся... — Бенька слышал, как дядя Иосиф поджал губу и улыбнулся. — ...Но есть — стратегия. Одно дело — если завтра война. Другое — если послезавтра... Запад два года воюет, а у нас — мир».

«Послезавтра — тоже страшно, — вмешалась мама Муся. — В Финляндии за три месяца сколько народу полегло...»

«В верхах убеждены... — (Иосиф вспомнил румяного улыбчивого Ворошилова на хозяйственном активе) — ...начнется война — победим быстро, малой кровью и на вражеской территории».

«Опечаток не предвидится?» — непонятно спросил папа Боря.

«Там люди серьезные».

«Самого — видел?»

«Один раз — совсем близко. Почти — вот как тебя — сейчас...»

(Месяца полтора назад нарком взял Иосифа с собой на совещание к Сталину: «Сидеть молча. Ни единого слова, пока не обратятся лично к вам. Отвечать коротко: факт, цифра — всё. Никаких рассуждений. И упаси бог — по имени-отчеству: только «товарищ Сталин». За полчаса совещания Сталин ни о чем его не спросил; похоже, даже не смотрел на него — разве что, когда только вошли в кабинет, искоса придавил в дверях коротким тяжелым взглядом. Говорил Сталин мало: встал из-за стола, прохаживался по кабинету — нарком, докладывая, поворачивал голову в лад его движению, — казалось, Сталин не слушает доклада, думает о чем-то другом. Неожиданно каким-то вопросом он прервал речь наркома; не дослушав ответа, задал еще несколько дельных вопросов — снова наркому, первому заместителю, незнакомому генерал-полковнику, приглашенному на совещание откуда-то со стороны, приказал подготовить к завтраш-

нему дню проект постановления и движением руки, показавшемся Иосифу небрежным, отпустил всех.)

«Ну, и каков он?» — подался вперед папа Боря.

«Ему веришь. Такое чувство, что видит всё лучше других».

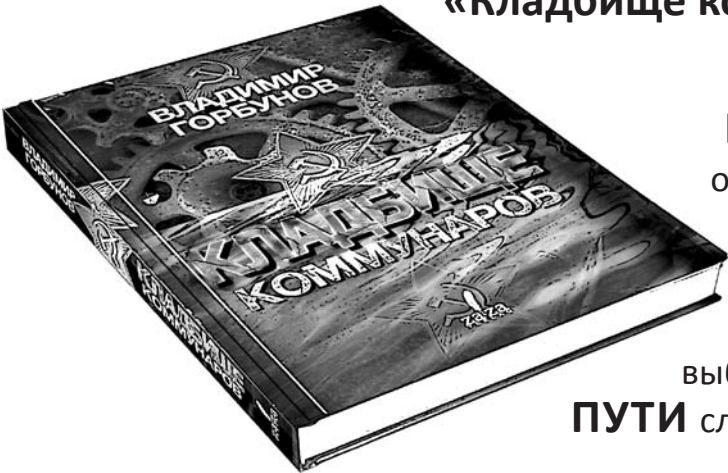
...Бенька был уже снова в Борках. Он мчался вокруг дома, мимо куста сирени, за которым уже никто не томился, мимо дощатой уборной, мимо яблонь и крыжовника, и Белка бежала впереди. Он видел ее обгорелые плечи и лопатки, ее медные волосы, наскоро перехваченные ленточкой, ее бедра, едва прикрытые коротким выцветшим сарафаном, из которого она давно уже выросла. Белка с разгона свернула в узкую дверь кладовки, и он, не умеряя шага, ринулся туда за ней. Белка не успела повернуться, он налетел на нее сзади, обнял, положив ей ладони на грудь, как Бенька Волкович обнимал девочек, почувствовал телом ее мягкие, горячие, будто дышащие ягодицы, — и тут что-то случилось с ним: мучительно-сладкие содрогания, желанные и вместе пугающие, сотрясали его тело, он спал и не спал, желал остановить их и, сжимая пальцами свое тело, мечтал, чтобы они никогда не кончились, — ему чудилось, что каждое содрогание уносило его вперед и вперед, в какое-то прекрасное будущее. «Послезавтра... Борки...», — прозвучало в его наполовину пробудившемся сознании...

В открытые окна залетел от кого-то из соседей прозвучавший по радио звон кремлевских часов. Куранты на Спасской башне в Москве заиграли «Интернационал».

«Ну, вот уже и завтра», — сказала мама Муся.

---

---



**РОМАН**  
**«Кладбище коммунаров»**  
**Владимира**  
**ГОРБУНОВА**  
о двух последних  
поколениях  
**советских**  
**людей,**  
выбравших разные  
**ПУТИ** служения Родине.

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

*Каринэ АРУТЮНОВА*

## ИДУЩЕМУ НАЛЕГКЕ

### Мои мысли как свежее тесто

раскатываю мысли,  
как тесто по столу,  
пресное тесто  
с добавлением соли  
и воды  
вместо глаз у меня  
две огромные сливы  
а в желобах раскрытых  
ладоней —  
моя нераскатанная  
нежность к тебе.  
подсыпаю немного  
коричного сахара,  
и чуть апельсиновой крошки.  
луна усмехается  
ущербным овалом,  
догадываясь  
о моих намереньях.  
о моих благих намереньях,  
о моём уставшем лукавом сердце  
маленькой женщины.

## еще о вещих снах. утреннее

...

Слова  
позабытой нежности  
шепчу из вещего сна.  
Касаний неспешность.  
Из утренней смежности, —  
пульса под пальцем биение  
остро.

Сквозь брызги оконной  
замазки осколок  
размером с птенца, —  
будто младенец в подоле.  
тренье виска о запястье.  
Сплетение.  
Медленней...  
Смеженней...

Неважность времени.  
Места.  
Ноль декораций. Имён.  
Перспектив.

Всё бренно.  
Всё временно.  
Только, пожалуй  
одно неизменно, —  
вот это, из вещего сна,  
вечное...

Ты — мой Мужчина.  
Я — твоя Женщина.

...

Амено.

## Идущему налегке

А последнюю треть жизни  
он занимался  
разведением  
бабочек.

Он даже вывел  
особую породу  
индейской бабочки,  
порхающей  
в предчувствии,  
и угасающей  
в разгар того,  
что принято называть  
любовным опьянением.

\* \* \*

Поезд уходил  
точно по расписанию.  
Ни минутой позже,  
и ни минутой раньше.  
Как правило,  
он ехал налегке  
и занимал верхнюю полку.  
В такт стучащим колёсам  
мечтал о чём-то  
незначительном  
и засыпал с улыбкой,  
пробуждаясь внезапно,  
подхватывая обрывки сна,  
приникая щекой к подушке,  
удобной ровно настолько,  
сколько требуется  
путешествующему  
налегке.

\* \* \*

Как правило,  
она идёт слева,  
поглядывая  
на идущего справа  
от неё.  
Её правый глаз  
обращён к собеседнику.  
А в левом — усталость  
заходящего солнца.

## Земляника и шоколад

у моего чудесного пони  
бока в шоколадной глазури, —  
из-под мраморной чёлки  
он глазом косит  
и гарцует всю ночь напролёт,  
земляничною крошкой усыпан,  
он танцует Once In The Street,

не уснуть под серебряный топот копыт  
к кофе — сливки, к чаю — бисквит, —  
удержать бы удила...

## чёрной гуашью и красным вином

белоснежность бёдер твоих  
подчеркнёт  
прорисованная гуашью  
запятая,  
лаконично прекрасная  
в своей завершенности.  
огненный след оставит  
вино, или лепесток  
алой розы,  
не чайной,  
не белой,  
обжигающе-жаркой  
на твоей коже.



## И НИКТО НЕ СКАЖЕТ

и никто не скажет,  
что же такое она.  
может, песчинка,  
застрявшая в пальцах  
после долгой прогулки  
в горах.  
а, может, соль на губах,  
или пляска огней  
на воде,  
или танец  
солёных кузнечиков,  
всегда парный,  
всегда чуть меланхоличный,  
с острой горчинкой  
лунного блюза.

## Когда-то давно

...  
когда-то давно  
моё сердце было  
золотым петушком,  
оно было долькой лимонной  
и шоколадной крошкой.  
завёрнутое в тонкую  
фольгу,  
оно издавало звук  
колокольчика,  
но теперь оно  
тяжёлым стало,  
и звонит по праздникам,  
как большой медный колокол,  
часто с опозданием,  
иногда не попад.

с трудом умещается в моём теле.  
реагирует на жару и холод.  
а когда-то было лёгким и прозрачным  
как птица.  
и розовым как карамель.

## Можно плакать, нужно жить

...

Можно плакать,  
Нужно жить,  
Надевать светлое,  
Ложиться к рассвету, —  
Желательно избегать  
Блеклых тонов и  
Громоздких предметов.  
Утро начинать в полдень,  
С прогулки по несуществующим  
Городам, помечая зелёным цветом  
Места, где уже не ждут,  
И уже не встречают  
Где «потом» уже не с тобой,  
Где бульдозер рвёт на куски  
Асфальт, и лето начнётся  
В девять часов пятнадцать минут  
Неважно какого дня, пробивая  
Безжалостным светом безоружность  
Зрачка и век, где пальцев пустоты  
Играют в игру «обними», «дотронься»,  
«Дай», где над разрытой канавой  
Оголённым сопрано поют провода,  
Где слово «прощай» неуместно.

Можно любить, можно жить,  
Устроив пробег по карнизу  
С разлётом обеих рук,  
В торжественном марше пройти  
Вдоль стены и обратно, а с крыши  
Запустить фейерверк из конвертов и букв,  
Пасьянс разложить, навеки  
Рассорив даму с валетом...

Можно жить не спеша  
И не спеша заниматься любовью  
На колченогом диване,  
Оголённым меццо-сопрано взрывая  
Полночную тишь,  
А после ракетой взмыть  
И не вернуться к обеду...

## Клетка

Беспомощным взглядом  
ищешь опору и не находишь  
Трепетно проникаешь  
во все пустоты и щели  
Напрасно  
Маятник раскачивается  
неотвратно

Глубина колодца  
неизмерима

Бездомным бреду  
раскрытым навстречу  
ветру

Помыслы святы  
суетны мысли  
желанья — греховны  
Из всех оттенков спектра  
выбираю один — черный

Карусель несется  
по кругу сообщая  
головокруженье

взгляду  
Загнанный в угол —  
уже не прошу пощады

В лапках у белки  
орех перекачивается  
без остановки

Стекленеет взгляд  
Ей отсюда не выбраться  
без сноровки

У поезда нет назначенья  
и предназначенья  
нет тоже

Боже!

Из всех объятий  
выбираю одно, —  
и это вернее,  
чем упоенье  
надеждой  
ложной

## От камня — круги по воде

Ты говоришь — рассвет.  
А небо такое тёмное.  
От камня — круги по воде.  
И месяц с губами острыми.

Ты говоришь — постой.  
А на́ сердце скука смертная.  
Здесь ночи такие свинцовые...  
И за окном всё белое.

Ты говоришь — пускай.  
Я ставлю давно на чёрное.  
Здесь ночи такие длинные.  
Здесь воды такие пресные.

Рассвета седого нить  
На шее узлом затянута.  
Ты ещё не ступил за порог,  
Но уже всё случилось, кажется.  
И вина за расплатою тащится,  
У витрин желтолицых греется.  
Здесь ночи такие напрасные,  
Здесь дни такие поспешные...

Пунктиром оборван крик.  
О мёрзлую землю заступом  
Стучат от зари до зари.  
И месяц губами поджатыми  
Вместо пылкой луны ухмыляется.  
Косолазой голодной дрянью  
По улицам тёмным мечется.  
Он не просит, не плачет, не кается.  
Сгребаёт окурки веничком.

Ты еще не ступил за порог,  
Но уже всё случилось, кажется.  
За окном то ли дождь, то ли снег,  
За окном двадцать первый век.  
Рождество. Ночь на двадцать пятое...

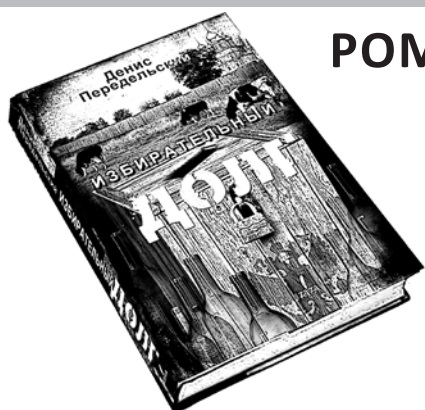
## СЖАТАЯ ПРУЖИНА МАСТЕРСТВА

Двенадцать рассказов Валерия Бочкова вовсе не «пестрые истории» из жизни эмигрантов. Вам приходилось бывать в католическом соборе? Если да, то вы наверняка заметили, что разноцветная мозаика витражных окон «звучит» только для тех, кто внутри. Праздник мозаичного окна живет только в святых стенах. Выйдите наружу и взгляните на стрельчатое окно — витраж исчезнет. Автор видит мозаику эмигрантской жизни изнутри не только как умный и заинтересованный наблюдатель. Бочков-писатель строит книгу так, как Бочков-художник komponует картину — все здесь подчинено ощущению постепенного приближения к «точке сборки», к вожделенному катарсису, гармонии составляющих. Энергетика и накал этих прозаических пьес, их динамика не оставляют читателю выбора — книжку нужно читать не останавливаясь. Ведь каждый следующий рассказ, так или иначе — продолжение предыдущего, часть мозаики одного большого витража. Сквозной «персонаж» сборника — интерес к человеку, к его большим радостям и маленьким трагедиям, к его взлетам и безднам. Интерес этот так непредвзят и искренен, что заражает и самого иммуно-сильного.

Возьмите в руки эту стильную книгу, распушите ее страницы, прислушайтесь... Русская речь, звяканье ложечки о блюде, чья-то неровная поступь, скрежет металлического стула о кафель пляжного кафе. Это зазвучал рассказ Брайтон-блюз, давший название книге. Он не просто открывает «парад 12-ти планет». Это камертон, эпитафия. «Агнесса Васильевна сошла с ума...» Но у читателя, привыкшего к безумию мира, создается впечатление, что как раз сейчас над этим «готическим затылком» восприятие мира абсолютно обострилось, пусть его ракурсы и смещаются в неожиданных направлениях. И мы идем на поводу у синапсов «испорченной головы» героини, где «звенят бубенцы» по узнаваемому нами прошлому. Тонким лучом высвечиваются осколки прихотливо работающей памяти Агнессы Васильевны, иногда неожиданно больно вонзаясь в сердце читателя. Длина этого луча такова, что, дотянувшись до прощелыги Когана, персонажа мелкого во всех измерениях, этот луч выталкивает его на «сцену», неожиданно возвышает до воплощения Зла и, обратившись клинком из трости, нанизывает на себя. Конец жизни так же важен, как рождение. Когану дали аванс — старинная сталь сделала его конец почти благородным, дав шанс в следующей жизни уже не быть подонком. Архетипичность персонажей Валерия Бочкова, их «первообразность» эластичны ровно настолько, насколько гибко пространство, в котором они существуют. Постоянно меняя конфигурацию, оно то сужается до размеров коробки из-под ботинок, то расширяется за полосу горизонта. Последнее столкновение с земным завершилось полной победой Агнессы Васильевны. И,

будто в награду, в безразмерной пучине океана она обретает окончательную свободу от реальности, с которой потеряла контакт.

Известно, что драматургия короткой истории должна быть спрессована, уплотнена до предела. Каждый рассказ Валерия Бочкова — это сжатая пружина времени и действия. Помещая своих героев в пространство такой высокой концентрации, автор проверяет на подлинность каждую деталь повествования. Мастер многозначного заголовка, Бочков кодирует в нем зачастую разгадку всего произведения. Брат моего брата — кто это, если не я сам? В этом названии если и не весь секрет и не вся правда, то, безусловно, подсказка в расшифровке замысла автора. Мой брат-близнец — и я, две враждующие ипостаси одного и того же сознания. Все на двоих — любовь к Яне, ненависть к отцу, соперничество, продолжающееся непрерывно 30 лет. Разлученные неизбывной ненавистью друг к другу, они навсегда объединены ею, и неважно, что один находится в захолустном Линде, а другой — на берегу Ист-Ривер. Брат вызывает брата не столько на похороны отца, сколько на последний и решительный поединок. Пружина, сжатая, как это ни парадоксально прозвучит, абсолютным пониманием друг друга, глубинной генетической идентичностью сознания близнецов, эта пружина разжимается с чудовищной энергией, копившейся годы. Подлость Валета самоотверженна, как самоотверженна и цельна любовь Чижа. Убив Яну, Валет подписывает себе приговор, его душе никогда больше не будет покоя — ведь брат, из ненависти к которому он совершает преступление — его зеркальное отражение, то есть, он сам. И вот последняя схватка состоялась. Братоубийство, самоубийство... Но спущен ли курок?.. И тут Валерий Бочков, душевед и мастер, снова на высоте — он предоставляет каждому из нас дописать свой собственный финал... Рассказ удивительный. Чем больше вглядываешься, тем больше открывается его глубина. Мне, одной из «двойни», здесь понятно что-то такое, чему в человеческом словаре нет названия. В детстве я прихрамывала. И моя ассиметричность в том органичном целом, что представляют собой два одинаковых человека, была диссонансом, фальшивой нотой, ошибкой природы. «Lame duck», я долго оставалась лишь тенью красивой и успешной сестры. Нам повезло — нас учили доброте, исподволь, умно и ненавязчиво. Истории Валерия Бочкова на самом деле именно об этом — о Добре и Человечности, иначе не обладали бы они такой «irresistible fascination» — неотразимой привлекательностью.



## РОМАН «Избирательный долг»

Дениса ПЕРЕДЕЛЬСКОГО

Ничем не примечательный процесс  
выборов **губернатора**  
в одном из регионов России  
неожиданно оказывается нарушен  
**РЯДОВЫМ** гражданином.

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

## БЕГ МУРАВЬЯ

**А**нтонов терпеть не мог, когда его называли на французский манер Серж. Сержем звала его Лора — норовистая московская пигалица, чуть косящая левым глазом и удивительно похожая на певицу Мадонну. Она — Лора, не Мадонна, складывала яркие губы уточкой и с истомой грассировала: «О, Сэрррж! Сэрррж, мон ами»...

Поздней вся история с Лорой представлялась Антонову гадостью и глупостью. Хотя, если откровенно, было в этой истории кое-что еще — зависть. Дело в том, что Антонов родился в невзрачном захолустье с пожарной каланчой на одном конце города и белой известью часовней на другом. Железная дорога резала городок ровно пополам, а безусловным центром провинциального мироздания являлась станция. Здание вокзала построил полтора века назад Джузеппе Монзано, ненароком застрявший в среднерусской глуши архитектор из Милана. Об этом оповещала едва различимая надпись на позеле-невшей доске у входа. Ностальгия по бергамским закатам в сочетании с уездной тоской породили архитектурное чудовище. Темпераментный Джузеппе храбро смешал мавританский стиль с поздней немецкой готикой, щедро приправив это французским барокко. Здание красного кирпича двойной кладки получилось мощным, как крепость: в случае чего тут запросто можно было бы держать длительную осаду. Фортификационная надежность не помешала итальянскому мастеру проявить и изрядную эстетическую изощренность. Вдоль фронтона на уровне второго этажа из лепных алебастровых выкрутасов, хищных лилий и орхидей вылезали, траурные от паровозной сажи, крутобедрые наяды и грудастые нимфы. В нишах стрельчатых окон прятались хмурые чугунные воины с дротиками и кривыми ножами, а в час ясного заката центральная башня вокзала вспыхивала кафедральным витражом, ослепительному разноцветью которого могла бы позавидовать роза Шартрского собора. Вокзал, увы, оказался последним творением странствующего маэстро. Под конец строительства он сошел с ума и вскоре удавился в местной больнице. Похоронили архитектора тут же, на Ржаном кладбище, что у белой часовни. На могиле невезучего итальянца до сих пор грустит кособокий ангел без крыла и с оббитым лицом.

Поезда на станции лишь притормаживали, стояли не дольше пяти минут. Сонные пассажиры выползали на перрон, курили. Поплевывая под колеса, жмурились на солнце, пили желтый лимонад из бутылок. Дамы принюхивались к теплomu запаху мелких роз и паровозной гари, их красношеие мужья крякали и похохатывали, тыча пальцем в округлые прелести алебастровых нимф на фасаде. Маленький Антонов страстно завидовал пассажирам. И тем — бледным и нервным, что направлялись на юг, и тем — прокопченным и

ленивым, что возвращались с юга на север. Рельсы соединяли два недоступно волшебных мира, одинаково манящих и таинственных: столицу на севере и теплое море на юге. Столичная жизнь воображалась Антонову диковинной каруселью, головокружительным праздником без конца и без начала, сверкающим парадом мускулистой молодости, нагло презирающей законы гравитации и силы трения. Успех и слава отменяли нелепость биологии, небрежно вводя бессмертие в разряд банальностей. Манил Антонова и юг, яркий и знойный, с синими тенями колючих пальм на белоснежных стенах курортных отелей, таких розовых при восходе и оранжево-леденцовых по вечерам, томным вечерам, что сладострастным гитарным перебором незаметно ускользают в сиреневую ночь. Воображение рисовало замысловатые фонтаны, мраморные пологие лестницы, что сами влекут к бирюзовому морю, с уголками бледных парусов на безукоризненном горизонте.

Время шло, Антонов уже перестал играть в «ворона», уже не фехтовал на палках и не подкладывал на рельсы трехдюймовые гвозди — колеса поездов плющили их в отличные миниатюрные мечи. Последнее, кстати, закончилось тем, что в самом начале сентября сосед Антонова, толстый и рыжий Сенька Лутц, зацепившись штаниной за шпальный костыль, замешкался и угодил под пятичасовой экспресс. Сеньку рассекло пополам, его мать, рыжая и белотелая (Антонов как-то случайно влетел в ванную комнату, когда та, распаренная, неспешно обтирала свое большое тело мохнатым полотенцем), на похоронах страшно выла, под конец рухнула в могилу, а после поминок вскрыла себе вены. Антонова еще с год мучили тошнотворные кошмары громящего месива колес с прыгающим рыжим мячиком в поддонной черноте.

Именно тогда Антонов поклялся во что бы то ни стало бежать из злосчастного, поросшего унылыми лопухами, захолустья, где ничего хорошего никогда и ни с кем не случилось, а любая радость была изначально чревата бедой и неизбежно вырождалась в пошлость и фарс, мордобой или поножовщину.

## 2

**А**нтонову повезло — работы на ранчо оказалось не много, работа была легкая. До этого он дробил камни с Лупастым, звон стоял в голове даже во сне, а в прошлый четверг Лупастого тяпнула змея. Он убил ее, пригвоздив киркой к земле. Змея оказалась полутораметровой гремучкой и умудрилась укусить Лупастого за икру. Антонов растерялся, он пытался высосать яд, плюясь розовой горечью в пыльный щебень. Лупастый орал и матерился. Четыре красных точки казались чепухой, но по лицу подбежавшего охранника Антонов понял, что дело дрянь.

Лупастого не любили, его побаивались, охранники старались не задевать его, даже Фогель обращался к нему «мистер Мэллоу». В прошлой жизни мистер Мэллоу подавал надежды в полузащите техасских «Дьяволов» гонял на коллекционном «Спирите» и рекламировал спортивные тапки. Потом выяснилось, что он маньяк и педофил: в уликах, показаниях и прочих подробностях несколько месяцев копалось следствие и пресса, после присяжные. Судья из Сан-Диего вlepил ему сто тринадцать лет без права на апелляцию, словно двухметровый негр-здоровяк и вправду мог прожить так долго.

Оставшись без напарника, Антонов попал на ранчо. Рано утром тюремный автобус при-



возил его, вечером забирал. Весь день Антонов таскал воду на дальние грядки, наполняя два пятигалонных ведра из тупорылого крана, торчащего прямо из стены дома. Вода текла еле-еле, на каждое ведро уходило минуты полторы. Часов у Антонова не было, он следил за струйкой и считал, шевеля губами:

— Одна Миссисипи, две Миссисипи, три Миссисипи...

Выходило около ста двадцати Миссисипи на ведро. Потом пятьсот сорок шагов до дальнего конца поля, потом еще шестьдесят. Вся жизнь превратилась в устный счет, никогда Антонов не считал так много, никогда цифры и числа не казались столь важными. Особенно вот это число — тысяча восемьсот сорок три, завтра станет на день меньше — тысяча восемьсот сорок два. Антонов верил, что именно счет помог ему не свихнуться от здешнего однообразного бессмыслия. А иногда он подумывал, что именно в счете и выражается его сумасшествие.

Вода текла крученой тонкой струей, холодная и чистая, Антонов опускал руку в ведро, после проводил мокрой ладонью по лицу. И считал:

... — семьдесят три Миссисипи, семьдесят четыре...

Если солнце ныряло за облако, то в узком, пыльном окне он мог разглядеть угол кровати, иногда под кроватью лежал башмак с желтой от глины подошвой, иногда свисала какая-то тряпка — рубаха или платье. На стене висела пестрая картонная икона, такими торгуют на мексиканских ярмарках. Над Девой Марией висел дробовик. Антонов видел лишь приклад, но был уверен, что это именно дробовик, поскольку крестьяне меткостью не отличались, а из этой штуки промахнуться было почти невозможно.

Солнце выкатывалось и окно снова превращалось в зеркало: темный силуэт остриженной головы, за ним телеграфный столб с провисшими проводами, слепящее белое небо и рыжая сухая земля, над которой плавилась ртутью полоска знойного воздуха. Вдоль горизонта громоздились лиловые скалы — там уже была Мексика.

### 3

**А**нтонов нагнулся, снял башмаки, высыпал пыль и песок. Жаркий, безветренный полдень висел над выгоревшей степью, в дальнем конце поля маячил хозяин ранчо, на ярком солнце его бритый затылок казался совсем смуглым и напоминал цветом копченую камбалу. За четыре дня Антонов не услышал от него ни слова, даже, когда тот приносил обеденную миску бобов — Антонов благодарил, хозяин едва заметно кивал. Два раза колот дрова: оба раза хозяин подходил, жестом манил за собой. И когда Антонов махал тяжеленным колуном, ухал и зычно кричал, он видел, что хозяин его ничуть не боится. Это было даже немного обидно. Хозяин щурился от солнца, сунув жилистые, коричневые руки в карманы выбеленных штанов, наблюдал за работой, а после уходил.

Хозяина звали Киллгор, его ранчо именовалось «Вдовый Ручей». В округе находились еще две фермы, которые тоже специализировались на жгучем перце, но более ядерного хабанеро, по слухам, не выращивал никто. Антонов уже не сомневался в правоте этих слухов — в первый же день он сдуру надкусил маленький, столь безобидный на вид, зеленый стручок. Милях в пятнадцати на запад проходила железная дорога, по ней гнали контейнеры в Сюдад-Хуарес. Иногда ночью Антонов слышал едва различимый перестук

колес, до него долетали унылые гудки локомотива, такие одинокие и тоскливые, что хотелось выть. Тогда он начинал считать, где-то на пятой сотне обычно засыпал.

Тот день начался, как обычно: во дворе их погрузили в автобус. Фогель экономил на всем — это был обычный списанный школьный автобус, лишь окна снаружи забраны решетками, да вдоль рядов припаяна стальная штанга, к которой пристегивают наручники. Антонов сел, на спинке переднего сиденья неизвестный хулиган нацарапал, что «Нэнси — сука». Антонов, наблюдая за медленно раскрывающимися воротами, решил, что дело тут в неразделенной любви. Во дворе остались охранники, они закурили и начали зубоскалить. Четыре ротвейлера продолжали нести службу, синхронно поворачивая морды вслед автобусу. Антонов провел пальцем по имени Нэнси, подумав, что сейчас эта Нэнси уже взрослая — по-американски сочная и грудастая тетка, и что сам он последний раз был с женщиной семнадцать месяцев назад, за день до ареста. Когда тебе только стукнуло сорок, эти семнадцать месяцев кажутся гораздо длиннее, чем полтора года. Он подумал, каково было Лупастому с его наклонностями влезать в этот автобус, сидеть на этих драных сиденьях, по клеенке которых когда-то егозили попки шустрых школьниц — похоже на хитроумную пытку. Лупастого похоронили во вторник, перед ужином — зарыли за стеной на тюремном кладбище. Хорек рассказывал, что труп просто сунули в пластиковый мешок для мусора и обмотали изолентой, чтоб не скользил. Странно, что у бывшей знаменитости не нашлось ни родни, не друзей, пожелавших забрать и похоронить его по-человечески. При таком обилии церквей на квадратную милю, идея всепрощения в Америке выглядела спорно, как нигде. Пожалуй, сам Иисус, окажись он на воскресной службе в каком-нибудь арканзасском приходе, вряд ли догадался, что тут проповедуют его учение.

Автобус поднялся на холм и резво покатил вниз. Шоссе, широкое и гладкое, черной лоснящейся полосой убежало за горизонт. Сзади осталась тюрьма, игрушечные ажурные вышки, круглый бок центральной башни прямо на глазах окрасился невинной розовостью. На востоке уже показался персиковый край солнца, и по небу пробежала дымчатая рябь. Начинался день номер четыреста пятьдесят три, знойный, безветренный, бессмысленный.

После полудня жара стала невыносимой, казалось, что в воздухе не осталось кислорода и дышать приходится горячей рыжей пылью. Она скрипела на зубах, мешаясь с потом, щипала глаза. Антонов их тер и от этого становилось только хуже. Он сухо сплюнул, перевернул ведро, сел. Комбинезон прилип к телу, Антонов чувствовал, как пот щековыми струйками стекает по икрам в ботинки. Хозяина видно не было, его ядовито-зеленый трактор стоял у мертвого дуба на холме. Дерево, словно разрубленное циклопическим колунном, было расщеплено вдоль ствола, часть кроны обгорела и сучья топорщились черными обрубками. За дубом, вдоль горизонта тянулась серая полоса, небо от пекла полиняло и стало белым, как разведенное молоко. По верхнему краю серой полосы пробежала ртутная змейка, и оттуда донесся едва различимый утробный рокот. Полоса темнела и росла, растекаясь по горизонту и медленно наливаясь чернильной мутью. В фиолетовом мареве что-то клубилось, набухало и вспыхивало, рокот приблизился, стал громче, казалось, что терзают гигантский контрабас.

Солнце потухло, оно проглядывалось плоским желтым блином сквозь пыль, которая стеной приближалась к ранчо. Равнина окрасилась болезненно-желтым тоскливым светом, горы стали едко-лимонными. Тут же налетел шквал ветра и пыли. Антонов согнулся, закрыв лицо руками. За первой волной, сухой и жаркой, ударила вторая, холодная и

свежая. Запахло дождем. Ливень обрушился водопадом, хлестал по плечам, больно бил в лицо, Антонов подумал, что в таком дожде запросто можно захлебнуться. Он зачем-то схватил ведра и, неуклюже скользя по жидкой оранжевой земле, побежал к дому.

Дверь была распахнута настежь, в черном проеме, по-хозяйски оперев локти в косяки, высился Киллгор. Он смотрел на дождь, смотрел внимательно, даже придирчиво, словно имел непосредственное отношение к организации этого мероприятия. Антонов, добежав до крыльца, остановился и опустил ведра. Капли весело забарабанили, быстро наполняя их водой. Антонов взялся за поручень и хотел шагнуть под навес, но, увидев взгляд хозяина, передумал. Отступив назад, он оказался под самым стоком с крыши. В этот момент полыхнула молния и сразу же с оглушительным треском ударил гром, от неожиданности Антонов поскользнулся и упал.

— Его ж гроза убьет! Пусти его!

Он услышал сзади женский, почти детский голос, поворачиваясь, подумал, что убить может молния, а не гроза. За спиной Киллгора мелькнуло лицо, русые волосы, хозяин рывкнул: «На все Божья воля!» — и с грохотом захлопнул дверь.

## 4

Антонов повернул вентиль и из крана выползла змея. Она бесшумно упала в ведро и свернулась на дне блестящими кольцами, словно мокрый шланг. Это была точно такая же гремучка, как и та, что тянула Лупастого. Антонов заглянул в окно, хозяин спал, свесив из-под стеганого одеяла ногу в кавалерийском сапоге. Сапог сиял, будто облитый черным лаком, шип стальной шпоры воткнулся в пол. «Лошадей-то нет, странно...» — подумал, поворачиваясь, Антонов. Что-то красное промелькнуло и исчезло за углом амбара. Антонов, тихо ступая, приблизился к дощатой стене, осторожно выглянул. На дальнем конце поля, раскинув руки, стояла дочь фермера в красном платье. Она беззвучно смеялась и, поманив Антонова, быстро пошла к сухому дубу. Антонов пригнулся и, как в детстве, когда играл в индейцев за Ржаным кладбищем, неслышным скорым шагом помчался за ней. Она повернулась, улыбнулась и тоже побежала.

Она бежала очень быстро, белые пятки так и мелькали, красная ткань обтягивала бедра и ягодицы. Бегунья поравнялась с мертвым дубом, замерла на миг и скрылась за холмом. Антонов припустил, от бега стало радостно, он ощущал, как ноги несутся сами, едва касаясь земли. На холме он замешкался, открывшийся вид поразил его: выжженной степи не было — до самого горизонта тянулись клеверные поля, слева мутно белели вишневые сады, из-за которых выглядывали игрушечные крыши какой-то деревни. Отара овец рассыпалась по склону белыми бусинками, дальше высились загадочные очертания лиловых скал, а за ними синел бесконечный океан.

«Ну и красотища! — не веря глазам, прошептал Антонов. — Океан, надо же!» Красное платье уже мелькало далеко внизу. Антонов глубоко вдохнул и радостно помчал вниз под уклон. Мягкий клевер охлаждал ноги, он не помнил, когда снял башмаки. На ходу он сбросил комбинезон и увидел, что бегунья тоже, не останавливаясь, скинула платье. Сердце его отчаянно колотилось, предвкушение наполнило упругостью тело, мышцы ног сладко ныли, казалось, что он несется, не касаясь земли. Расстояние сокращалось, он уже ви-

дел капельки пота на ее плечах, мог уловить карамельный запах русых волос. Он знал, что она может бежать быстрее, но, маня его, нарочно замедляла бег. Вдруг она остановилась, повернулась, развела руки в стороны. Он, с жадной грацией самца, обнял ее, нашел губы, горячие и мокрые. Она застонала. Он, чувствуя, что уже не в силах сдержать себя, прижался к ней, тоже застонал, проваливаясь в звенящую бездну. Звон становился громче и громче, под конец взорвался ослепительным солнцем. Антонов вскрикнул и открыл глаза. В клетке включили свет, по коридорам, захлебываясь в собственном эхе, гремел звонок утренней побудки. В соседней камере зашелся в кашле Хорек, кто-то спросонья матерился, внизу злобно орала охрана. Начинался новый день, день номер тысяча восемьсот тридцать семь.

После завтрака, от которого у Антонова тут же началась неизбежная изжога, всех заключенных вытолкали во двор. Солнце пыталось пробиться сквозь марево, парило нещадно, после вчерашнего ливня жара была, как в русской бане.

— Хухим бежал, — кто-то сказал негромко сзади.

— Ну!

— Да взяли... — обреченно отозвался тот же голос.

Хухим, грязный, в рваном рыжем комбинезоне, лежал в центре плаца. На нем был строгий ошейник — стальной обруч на шее, от которого шли цепи к браслетам на запястьях и лодыжках.

— Собаками... вот выродки, — прошептал кто-то за спиной.

— А ты не бегай, — ехидно вякнул Хорек и тут же получил локтем под ребра от соседа. Ротвейлеры, натянув поводки, рычали и азартно переступали на мускулистых лапах, всем видом заверяя, что это была только разминка, они способны на большее.

Фогель только вернулся с утренней прогулки, не спешиваясь, он пустил Провокатора шагом вдоль строя. Без особого интереса поглядывая на заключенных, он что-то говорил лошади. Провокатор одобрительно кивал большой породистой головой. Поравнявшись с Хухимом, Фогель придержал поводья, вытянув шею, привстал в стремянах, выискивая кого-то. Нашел, подозвал жестом. Из строя вынырнул Лапочка и, отклячив бабий зад, подбежал, услужливо ухватил лошадь под уздцы. Фогель ловко соскочил. Звякнули шпоры — Антонов хмыкнул, узнав лакированные кавалерийские сапоги. Фогель потянулся, сняв шляпу, вытер платком лоб. Что-то негромко сказал.

— Парит, говорю... — повторил он громче. — Какая грозища вчера, а?

Фогель аккуратно, словно боясь повредить голову, надел шляпу. Скомкал платок и, заложив руки за спину, на прямых ногах пошел вдоль строя. Он напоминал худую черную цаплю.

— Меня очень расстроил Хухим, — Фогель сделал грустное лицо, — очень. В такие минуты кажется, что все мои старания напрасны. Что вообще все зря, — он промокнул лицо платком — Вот ведь парит...

Он, придерживая шляпу задрал голову, огляделся.

— С одной стороны, конечно, дождь нужен... А с другой — такая парилка, — он помолчал, — для вас ведь стараюсь. Я б мог ресторан купить. Или отель. На берегу моря. А? Вон, под Эрморсильо, там вообще все копейки стоит. Лежи в себе в шезлонге, пиноколады попивай. Шампанское «Дом Периньон». Тут же туристки из разных стран. Шведки.

Фогель, плюнув в платок, нагнулся и аккуратно протер острый нос сапога. Лак засиял, на носу загорелся зайчик.

— А тут вы — убийцы, грабители, насильники. Жулики.

Болтали, будто Фогель делает миллионы на своем тюремном бизнесе. Это было сомнительно: разумеется, какие-то деньги он получал из бюджета штата. Сдавал эков в наем фермерам, но при конкуренции с мексиканцами-нелегалами вряд ли тут можно было говорить о серьезном барыше. Кроме тюрьмы, которую в округе называли «Биржей», он владел конюшней и спекулировал лошадьми. Тоже не ради денег — лошади были для души. Основной же доход приносила контрабанда. Имея лицензию на оружие для тюремной охраны, Фогель наладил выгодные связи и снабжал приграничные районы от Ногалеса до Лос-Мочис «Глоками» и «М-16», не брезговал и транспортировкой кокаина. Тюрьма оказалась отличной ширмой, выдрессированная охрана — маленькой, мобильной армией. Единственное, что отвлекало от дел — это эки. Фогель грустным взглядом обвел строй, брезгливо покосился на Хухима, подмигнул Провокатору. Вынул мобильник, позвонил, что-то сказал. Из громкоговорителей, прикрепленных к столбам вышек, сперва тихо, после ширясь и разрастаясь, полились ангельские голоса хора первой части «Страстей по Матфею». Фогель улыбнулся и посветлел лицом, он считал Баха величайшим композитором.

В автобусе Антонов сидел, закрыв глаза. Сзади азартно обсуждали Хухимов побег, искали промахи.

— На мусорке надо винтить, — горячился Шакалыч, сетевой аферист и хакер, — мусорка — верняк!

— Ну да! Тебя как раз прямиком на сжигалку и доставят. Дымком из трубы на свободу!

— Главное время рассчитать, время! Если, к примеру, часа два форы...

«Хухиму припаяют пять лет за побег, — думал Антонов. — Вот так, на пустом месте. А, с другой стороны, сидеть, как кролик в клетке, и не рыпаться? Тут хоть какая-то видимость жизни — с собаками, опять же, ловят». На ранчо он складывал дрова в поленницу у стены амбара, потом копал яму. Киллгор пару раз возвращался, хмуро глядел на красную глину, постояв, уходил, так и не сказав ни слова. Антонов рыл не спеша, изредка поглядывая на окна дома. Лишь под вечер ему показалось, что она промелькнула в темноте комнаты.

## 5

Следующий день снова начался с ведер: сто двадцать Миссисипи на ведро. Потом пятьсот сорок шагов до дальнего конца поля, потом еще шестьдесят. Антонов стоял у крана, когда она вышла на крыльцо с большой корзиной. Он растерялся, кивнул, у него сорвался голос, когда он произнес «Привет»: из-за того сновидения он чувствовал к ней, незнакомой и чужой, странную близость, будто давно знал ее. Одновременно ему было неловко и стыдно, что он без согласия так вольно распорядился ей. Она промолчала, даже не кивнула в ответ. На вид ей было не больше двадцати, Антонов теперь видел, что она младше, чем ему показалось тогда, во время грозы, скорее девчонка, чем женщина: русые волосы, стянутые в пучок, серые, быстрые глаза. Угловато повернувшись, она поставила корзину на скамейку. Корзина доверху была наполнена стручками сушеного перца, похожего на рубиновые елочные фонарики.

— Халапиньо? — спросил Антонов.

— Хабанеро.

Голос оказался взрослым и чуть хрипловатым.

— У вас вода...

Вода лилась через край, вокруг ведра уже набежала лужа, постепенно подбираясь к ботинкам Антонова. Он упруго подхватил тяжелое ведро, вода плеснула на штанину.левой рукой он подставил пустое ведро под кран, струя бодро зазвенела о дно.

В клетке, как только выключили свет, он, закинув руки за голову, растянулся на узких нарах. Закрыв глаза, представил ее лицо. Губы. Вздохнул: ничего хорошего из всего этого явно не могло выйти. Вспомнил Лору, ее лица он представить не мог, мешала певица Мадонна. Он представил Мадонну, острогрудую, маленькую и жилистую, с капризными, слишком темными для блондинки, бровями. Получилось похоже — вылитая Лора. Добавил красный карамельный рот: «О, Сэрррж, мон ами!» Вот ведь гадость!

Лора Луцкер являлась женой, или, как она предпочитала себя называть «супругой» Глеба Луцкера, тогдашнего компаньона Антонова. «Нет у размаха в тебе, — потягивая пиво и почесывая красную, распаренную грудь добродушно сетовал Луцкер, развалясь на диване отдельного номера в Сандунах. — Провинциал ты, Сергунька, про-вин-ци-ал». Что тут возразить — Антонов всего шесть месяцев назад попал в столицу, его красный диплом никого тут не впечатлил, и он устроился в скучную контору без явных перспектив и с нелепой зарплатой, но вот пришел август и грянул путч. Антонов очутился на баррикадах. Происходящее напомнило детскую игру, он азартно включился, их отрядом руководил Луцкер. В ночь на двадцать первое Антонов оказался внутри Белого дома, видел, как горели троллейбусы на кольце, как подходила бронетехника. Замолчало радио. Игру это уже не напоминало, но и страха не было — сейчас, лежа на нарах калифорнийской тюрьмы, он уверенно мог сказать, что те дни стали лучшими днями его жизни. Никогда, ни до, ни после Антонов не испытывал такого восторженного подъема, чувства огромного и необъяснимого и очень похожего на счастье.

Он стоял рядом с танком, когда Ельцин говорил, стоял так близко, что мог дотянуться до его штанины, видел, как отчего-то плакал солдат-танкист, в шлемофон ему кто-то воткнул гвоздику, а на пупырчатой броне алой помадой было написано «свобода!».

«Парень! Такой шанс раз в жизни бывает — тут, главное, клювом не щелкать! — утверждал Глеб Луцкер, баллотирясь в депутаты, — Мы с тобой, Сергунька, так поднимемся, что правнукам хватит. Нам с тобой еще и дворянские титулы пожалуют с лентой через плечо, вот увидишь! Князь Луцкер и барон Антонов, зуб даю!»

Под офис князь ухватил особняк на Обуха, депутатство оказалось повыгодней дворянства — беспрошленная лицензия на ввоз спирта «Роял» и водки «Распутин» за год принесла сказочную прибыль. На Луцкера покушались, невероятное везение помогло ему вывернуться и отделаться лишь царапинами и изуродованным «Гранд-Чероки». Заказал убийство хороший знакомый Луцкера президент «Интер-Колосса» Владимир Нестеренко. Владимира нашли, привезли на дачу. Глеб в подвале сам забил его до смерти.

«Вот ведь сука! — ругался Луцкер. — Сапоги австрийские, новые испоганил, ведь хрен отмоешь!»

Ни тогда, ни теперь Антонов не мог взять в толк, зачем он связался с Лорой. Доказать себе, что он не хуже Луцкера? Пожалуй. Единственно логичное, но не очень утешительное объяснение. «Ты себе вообразил, что, трахнув ее, ты меня опустил, да? — в труб-

ке голос Луцкера звучал насмешливо. — Вон какой я ловкий пострел, гляди, жену шефа поимел. — Луцкер захихикал. — Ошибочка вышла, однако. Ты мне, Сергунька, не конкурент. И я б тебя простил, если б ты ее драл по-тихому, культурно, как интеллигентный человек. — Луцкер грустно вздохнул. — Так ведь нет, тебе непременно по кабакам, по казино нужно шастать, чтоб вся Москва видела. И получается, что Сергунька наш — герой-любовник, а господин Луцкер хоть и олигарх, а козел-рогоносец. Вот какая петрушка. Посему, в целях, так сказать, пиара и укрепления личного имиджа мне придется, друг ты мой ситный, тебя наказать. Счета я твои уже заблокировал, — тут голос его посерьезнел и он произнес угрожающе и с расстановкой: — Короче, если ты, шкура, в двадцать четыре часа не исчезнешь...»

Антонов не стал дослушивать и нажал отбой. Вечером он летел в Амстердам.

## 6

**Н**а какой запад, тетеря? — возмущенным шепотом возразил кому-то Шакалыч. — На юг! Если отрываться в одиночку — тут семь миль до железки, а там на товарняке через час ты уже в Мексике.

Лупастый тоже уверял, что железка это верняк. На границе порожняк не смотрят, американцам наплевать на весь выходящий из страны транспорт. А мексиканцам, тем вообще все до звонка. Ну, кроме, текилы, разумеется.

Автобус притормозил, Антонова качнуло вперед, Шакалыч тихо выматерился:

— Мать твою! Людей везешь, крестьянская морда!

— А ну молчать, гниды! — заорал охранник, треснув дубинкой по железной стойке. — Ант, на выход!

Антонов, гремя цепью, поплелся к выходу.

— Ни в чем себе не отказывай, сынок! — охранник ухмыльнулся щербатым ртом, отстегнул наручник и подтолкнул Антонова к дверям.

Он увидел ее только под вечер. Сначала мельком, на крыльце. Она, наклонясь, что-то там делала, ему с дальнего конца поля было не разобрать. Он еще подумал, что их крыльцо больше похоже на плот с навесом, чем на крыльцо.

К вечеру жара спала, по небу плыло одинокое пухлое облако, с розоватым боком. Антонов подставил второе ведро под кран.

— Как утка, да?

Волосы ее были расчесаны на пробор, на шее блестело ожерелье из фальшивого жемчуга. Она терла босую пятку об икру другой ноги и глядела вверх. Антонов поднял голову — облако больше напоминало толстушку в кресле, но он кивнул и согласился:

— Утка. Да. Похоже.

— А другие, которые камни для дороги дробят, те в цепях.

— Мне доверяют, — он улыбнулся, — заключенный, которому можно доверять.

Она недоверчиво прищурилась:

— У нас ружье. И я умею стрелять.

— Разумеется. Когда живешь в такой дыре, да еще рядом с тюрягой... — Антонов тут же пожалел о сказанном, но она, судя по всему, не обиделась.

— Я дальше Ногалеса не ездила. Даже океана не видела. Только по телевизору, Евангельский канал... Но у нас сигнал плохой, — она грустно кивнула в сторону допотопной тарелки, криво прибитой к водостоку на крыше.

Антонов молча кивнул. Его так и подмывало крикнуть этой девчонке, что там — целый мир: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Европа, Флоренция, Париж, Елисейские Поля; что будь он на ее месте, он бы прямо сейчас рванул из этого перечного захолустья, рванул, не оглядываясь и не сожалея. Будь он на ее месте.

— А за что в тюрьму попал?

— Паспорт просрочил, с документами недоразумение, словом.

Антонов решил не уточнять, что на таможне помимо фальшивого паспорта у него изъяли незарегистрированный «Магнум» и две коробки патронов. Облако вытянулось и из толстушки-уточки превратилось в алую пирогу.

— Долго еще сидеть?

— Тысяча восемьсот двадцать девять дней.

Она задумалась, считая про себя и по-детски шевеля губами.

— Тебя как звать? — спросил Антонов.

— Люси. Люси Киллгор.

Он ждал, что она спросит его имя. Она не спросила.

— А я — Антонов, можно, Ант.

Она засмеялась:

— Ант! Это ж муравей. Вот так имя! Ты откуда, из Канады?

Антонов тоже засмеялся:

— Почти.

Люси вздрогнула, мотнула волосами, неожиданно резко повернулась, и, стуча пятками, быстро взбежала на крыльцо. Суетливо подхватив корзину, она вошла в дом, ржавая пружина с треском захлопнула за ней дверь. Антонов потянул носом воздух — от ее волос действительно пахло карамелью, он ловко поднял полные ведра. На холме у сухого дуба стоял трактор, на подножке, свесив темные руки, сидел Киллгор.

## 7

Ночью, вспоминая разговор с Люси, Антонов не мог заснуть, ночью до него вдруг дошло: кто он такой чтобы учить жить кого бы то ни было? Даже эту сопливую девчонку, которая вдвое моложе его. Ему стало стыдно, он тихо выругался. Чего он добился в свои сорок, чему научился, что умеет? Свободно изъясняться на трех языках? Отличать калифорнийское «мерло» от французского «медока» и дробить дорожные камни молотком до звона в ушах? Единственное, в чем он преуспел — это бег. Мастерски научился бежать без оглядки, лететь на всех парусах, мчаться во весь опор. Непонятным образом жизнь превратилась в непрерывное перемещение по карте, сначала местного масштаба, после общесоюзного, а под конец дело дошло до глобуса. Муравей, ползущий по глобусу. Без смысла, без цели. От перемены географических координат сум-



ма души не меняется. Равна нулю. Антонов накрыл голову подушкой. От нее воняло тинной, она была тяжелой и казалась набитой сырым речным песком. До него донесся едва слышный гудок локомотива, после он разобрал перестук колес, скорее угадал, чем услышал, бодрый, четкий ритм, похожий на бой здорового сердца бегуна. Через час этот поезд пересечет границу, через полтора железная дорога отклонится на запад и поезд покатит над светлеющим от утренних лучей океаном. Антонов сжал кулаки и начал считать, пытаясь заснуть.

Прошло два дня, прежде, чем он увидел Люси снова.

— А ты не думал убежать?

Она спросила об этом просто, словно о чем-то совсем обыденном. Антонов представил клетки, вышки, садистов-охранников, чокнутого Фогеля на вороном Провокаторе, трехметровую стену с колючкой по верху, слюнявые пасти ротвейлеров.

— Конечно, — беззаботно ответил он. — А ты?

Она посмотрела ему в глаза со странным выражением: что-то похожее на смесь грусти и удивления. На шее у нее были те же копеечные бусы, фальшивая золотая застежка съехала набок, у Антонова появилось непреодолимое желание поправить. Он заметил на виске белый короткий шрам. Она, поймав его взгляд, поправила прядь и быстро спросила:

— А кто-нибудь пытался?

— Да, две недели назад. Собаки взяли след, через час парнишку поймали. Встречали с пирогами и пышками.

— А у тебя есть план? — она, сделав ударение на «у тебя» спросила так серьезно, что Антонов растерялся и ответил просто:

— Да.

И, протянув руку, все-таки поправил бусы. Она вздрогнула, но не отпрянула, а подалась к нему, чуть приоткрыв мокрые, детские губы.

«Этого делать нельзя ни в коем случае», — услышал Антонов голос у себя в голове, но Люси уже, глубоко задышав, прижалась к нему. Она всхлипнула, обмякла, ему показалось, что она теряет сознание, он еще крепче сжал ее. Платье, ветхое, застиранное, оказалось тонким, как марля. Его огрубевшие руки цеплялись мозолями за ткань. От волос пахло карамелью, за холмом нудно тархтел трактор, Антонов подумал: «Будь что будет» — и, закрыв глаза, больше уже не думал ни о чем.

Пекло стояло адское. Антонов сел на сухую глину, у него мелко дрожали колени. Люси, прислонясь спиной к стене дома, сложила ладонь лодочкой, набрала воды из крана, умыла лицо. Тяжело дыша, она глядела на Антонова. Ему страшно хотелось курить, он откашлялся, словно у него першило в горле и с шутливой беспечностью спросил:

— Ну что? Видать, теперь придется на тебе жениться, Люси? — он ощутил, что ему приятно произносить ее имя. — Буду просить руки у твоего папаши. А то он еще меня пристрелит сгоряча, пожалуй, как это у вас, у фермеров, тут заведено.

Шутка не удалась — Люси яростно посмотрела на него и быстро пошла к крыльцу. Антонов вскочил, догнал ее, хотел что-то сказать, извиниться, но она перебила его и приблизив лицо, зло сказала:

— Мой отец умер. Этот, — она мотнула головой в сторону холма, — этот — мой муж.

День клонился к вечеру, Люси перебирала фасоль на кухне. Из камина горько тянуло сырой сажей. Не подходя к окну, она видела как тюремный автобус забрал Антонова, развернулся и покатил в сторону «Биржи». Сзади, на желтой жести, проглядывала плохо замазанная надпись «School Bus». Она, комкая полотенце, опустилась на табуретку, долго разглядывала коготь на пустой стене, а потом разревелась. Она всхлипывала, качалась взад и вперед, кусая полотенце. Повторяла без конца:

— Бедная Люси, бедная Люси Синклер!

Люси Синклер исполнилось восемь, когда ее отца убило молнией. Стоял жаркий август, он работал в поле, а гроза налетела так быстро, что он не успел даже добежать до фермы. Через два года мать вышла замуж: хозяйство без мужика разваливалось, а тут как раз подвернулся Карлос. В двенадцать лет Люси упросила мать отправить ее к иезуитам. Монастырь и школа находились всего в сорока милях от фермы. Люси уверяла, что хочет учиться, она не сказала матери, что когда та лежала с переломом ноги в Сан-Лоредо, отчим дважды изнасиловал ее. У иезуитов ей жилось спокойно, за четыре года монахини толком не научили Люси ничему, кроме дюжины молитв и умению печь яблочный пирог с корицей. Она с удовольствием копалась в монастырском огороде, выращивая базилик, пармскую петрушку и сочные хрустящие огурцы. Желтые огуречные цветы она трогала губами и шепотом называла их «ангелочками».

В конце августа в монастыре появилась мать. С ней приехал сосед, хозяин «Вдовьего Ручья» по фамилии Киллгор. Он так и представился: «Киллгор» — и протянул Люси коричневую, жилистую руку. За оградой трещали цикады, солнце, похожее на румяный блин, жарко растекалось по горизонту. Ласточки беззаботно носились над головой, весело перекликаясь, будто уверяя, что все теперь будет хорошо. К сожалению, предсказания ласточек не сбылись. В первую брачную ночь муж избил ее в кровь, узнав, каким образом Люси лишилась девственности. Он был уверен, что это она соблазнила отчима. Через четыре месяца у нее случился выкидыш, муж усмотрел в этом божью кару. Полностью разделяя справедливый гнев, он решил добавить и от себя — Киллгор так саданул ей, что у Люси на всю жизнь остался шрам на виске.

У Киллгора, протестанта по рождению, к тому времени уже сложились особые отношения с Господом: иногда Он беседовал с Киллгором, иногда давал советы во сне. Даже работая в поле на тарахтящем тракторе или перебирая стручки, что сушились на брезентовых полотнах, Киллгор всегда ощущал Его строгий и внимательный взгляд. Церковь в Сан-Лоредо, с приходом отца Джекоба — круглого и добродушного миссионера (по слухам, он почти десять лет провел среди каких-то дикарей в дельте Амазонки), впала в либерализм, среди паствы появились мексиканские голодранцы, и преподобный отец не нашел ничего лучше, чем вести часть проповеди на испанском. Киллгор дважды говорил с пастором, тот лишь улыбался и отвечал, разводя розовыми ладошками: «Иисус любит всех, мы все его дети». Киллгор помолился, плюнул и начал ездить к евангелистам в Грин-Тинос. Тамошний пастор, мрачный и седобровый старик, с трубным голосом пророка, ему понравился, он много цитировал из Ветхого Завета и Откровения, убедительно говорил про конец света и Страшный Суд. У Киллгора мурашки по спине бежали при словах про Шестую печать: «И придет день гнева — содрогнется земля и падут звезды с небес, а небеса станут, как свиток, а луна как кровь, а солнце как влясяница». Да Киллгор и сам видел знаки Второго При-

шествия — и Блудницу Вавилонскую, и зверя, вышедшего из Японского моря и угробившего реактор, и двухголового жеребенка с соседской фермы. А когда прошлой зимой грозный голос во сне повелел: «Киллгор! Иди и смотри!», он, как наяву, узрел то, о чем писал святой Иоанн Богослов: вспыхнула земля и встало пламя до небес, а из пламени вышел конь, и был тот конь бледен. А на коне том сидел всадник, и имя всадника тому — смерть.

Сон произвел сильное впечатление на Киллгора, двое суток он не выходил из дому, не ел, не спал, лишь читал Святую Книгу и молился.

## 9

**В**торой раз за неделю транслировали токкату и фугу ре-минор (музыку выбирал сам Фогель, сам же и анонсировал красивым, спокойным баритоном), ему явно нравилась именно эта вещь. Музыкальные двадцатиминутки устраивались перед самым отбоем и должны были настроить эзков на возвышенно-духовный лад. Койку откидывать еще было рано, охранники, не подверженные умиротворяющему воздействию Баха, могли запросто накостылять по ребрам, поэтому Антонов сидел на припаянной к полу табуретке и пересчитывал заклепки в ржавом полу. Камера была не больше туалета в поезде дальнего следования, даже стальной унитаза напоминал вагонный. Торцовая стена из железных прутьев, в ней — узкая решетчатая дверь. Антонов знал точную длину камеры — сто восемьдесят сантиметров: когда он ложился на койку, уперев пятки в решетку, его макушка доставала как раз до противоположной стены. Это при условии, что его рост не изменился. Боковые стены — железные листы, когда-то покрашенные серой корабельной краской, кое-где облупившейся и от пола до потолка исцарапанной надписями и рисунками. Антонову так и не удалось оставить здесь свой автограф, когда он попал в камеру, на стене уже не осталось живого места.

Фуга уже перешла в код, повторяя в плавном адажио назойливую тему токкаты. Звучки стали тягучими, словно музыка к финалу выбилась из сил и устала. За решеткой, тихо ступая по железному полу, неспешно проплыл охранник. Эхо последнего аккорда умерло, Антонов откинул койку и тут же погас свет. «Надо спокойно во всем разобраться», — эту фразу Антонов повторял уже с полчаса, дальше дело, однако, не шло. Он зажмурился, закрыл лицо ладонями, пытаясь собраться с мыслями. От рук пахло Люси. Антонов тихо застонал, и перед глазами снова закрутилась карусель прошедшего дня: ее приоткрытый рот, белый шрам у самых волос, запах карамели, стук трактора, не отец, а муж. «А что завтра? Как себя вести? Сделать вид, что ничего не случилось? Нет, это глупо. Надо поговорить... И что сказать?»

Кто-то вскрикнул во сне и невнятной скороговоркой что-то забормотал. «Надо спокойно разобраться. И поговорить».

Говорить не пришлось — ни на следующий день, ни в субботу Антонов ее так и не увидел. В понедельник он снова таскал ведра и поливал, а после обеда собирал созревшие стручки в большую корзину. От жгучего зеленого сока першило в горле и текли слезы, к вечеру окружающий мир расплылся окончательно, и до автобуса Антонов добирался почти на ощупь. Он испытал даже какое-то злорадное удовольствие от этих мелких мук, словно искупал грех и приводил в равновесие свою блудливую душу. Дослушав трио-

сонату анданте ре-минор, Антонов растянулся на койке и сразу заснул. Спал он крепко и без сновидений, по крайней мере, утром он ничего припомнить не мог, а днем, когда Антонов гремел ведрами у крана, Люси подошла к нему и сказала, что поможет ему бежать, если он возьмет ее с собой.

У нее были серые глаза, лицо ее побледнело, лишь на острых скулах проступал румянец. От этих глаз Антонову стало не по себе — так обычно дети глядят на взрослых, раскусив их ханжество и вранье и давая им последний шанс. Он опустил взгляд, вода в ведре мерно покачивалась и вспыхивала серебряным зайчиком, словно подмигивая. Он посмотрел на кирпичную стену, тупорылый латунный кран с застывшей на носу каплей, мятый водосток на крыше. Дальше белело знойное небо без единого облака. Еще один душный, бессмысленный день. Стало тоскливо, у Антонова заныло под ложечкой, как бывало перед тюремной дракой, он понял, что, сказав «да», он возьмет всю ответственность за эту девчонку на себя. Он заставил себя посмотреть ей в глаза и тихо произнес:

— Да.

На ужин были скользкие спагетти в соусе ржавого цвета. Сразу после ужина дьявол взялся за Антонова всерьез. Устроившись на левом плече, бес принялся шептать ему в ухо, по традиции напирая на здравый смысл и личную выгоду. Антонов честно сопротивлялся, но аргументы нечистого отличались убедительностью, пришлось согласиться с некоторыми доводами. «Безусловно, Люси неоценима: прежде всего — одежда, бежать в рыжем тюремном комбинезоне было просто смешно. Потом, транспорт — пусть проверит свой «плимут», бензина чтоб полный бак, масло дольет, если нужно. Не хватает заглохнуть где-нибудь на трассе. Третье — ее документы и кредитки. Но это будет плюсом лишь до тех пор, пока ее не объявят в розыск. Главное, успеть доехать до Сан-Диего, там у меня деньги, люди. Главное — попасть в Сан-Диего». В Сан-Диего задерживаться он не собирался. Антонов и раньше понимал, что жить в Калифорнии с фальшивыми документами рискованно, малейший прокол мог стать роковым. Поэтому основные капиталы он уже перевел в «Банко дель Мехико», туда же собирался отправиться и сам. Антонов уже приглядел и место: черепичная крыша, по-украински беленые мелом стены, увитые диким виноградом, с террасы закат, как в кино. Но главное — тамошняя полиция гораздо лояльней калифорнийской, да и кому придет в голову подозревать состоятельного гринго в том, что у него липовый паспорт? «Да, Люси неоценима. Но лишь до Сан-Диего». А что он будет делать с ней потом? С деревенской девчонкой, которую он толком-то и не знает? Испугавшись или передумав, она запросто сдаст его полиции. Антонов вспомнил серые глаза, дикий взгляд. «Ведь сдаст?» Вспомнил, как его грубые ладони цеплялись за ткань платья, он боялся, что исцарапает ей кожу своими мозолями. Вспомнил, как она прижалась, обмякла, став сразу меньше и легче, а мир вокруг утратил краски и сложился, подобно детской картонной книжке. Потерянный рай показался не такой уж высокой ценой.

Антонов прижался лбом к железной стене. Стена была ледяной и мокрой, словно встала. Ему стало невыносимо тоскливо и одиноко, дьявол сделал все, что мог и удалился.

**Ш**таны были чуть длинноваты, Антонов подвернул их. Натянул тюремные башмаки, дрожащими пальцами завязал шнурки. Ботинки Киллгора оказались велики размера на два, Антонов сунул их в пустое ведро. Сверху, зло скомкав, затолкал рыжую робу.

Люси, с серьезным лицом, наблюдала за переодеванием, наблюдала молча, держа в руке маленький розовый чемодан, такой детский и кукольный, что у Антонова, когда он его увидел, комок подступил к горлу. Он был почти уверен, что внутри лежит зубная щетка, кругляш лавандового мыла, который ей когда-то подарили на Рождество, ночная рубашка пастельных тонов, мохнатые шлепанцы, плюшевый мишка без одного глаза и с надорванным ухом.

Антонов запутался в рукавах рубахи, пришлось снять, вывернуть и надеть снова. От ее взгляда ему стало неловко, неловко за тюремное белье — серую майку и застиранные до дыр трусы (такие в детстве дразнили «семейными»), за свои бледные худые ноги, за дурацкую татуировку, которую он сделал по пьяни в Амстердаме.

Киллгор сразу после обеда укатил в Сан-Лоредо, Антонов помогал ему грузить пустые ящики. Уже закончив, хозяин прыгнул с кузова, хмуро подергал крепёжные ремни, буркнул:

— К пяти вернись, будешь тару разгружать.

У рубашки в крупную болотную клетку пришлось закатать рукава. Антонов застегнул верхнюю пуговицу, потом снова расстегнул, энергично потер ладони и, глядя мимо Люси, сказал с бодрой серьезностью: — Ну, так! — Он негромко хлопнул в ладоши. — По коням!

Люси кивнула, подошла к нему и молча поцеловала в щеку. Потом взяла его руку в свою и, помахивая игрушечным чемоданчиком, повела к «плимуту», стоящему у амбара. Антонов хмыкнул, он намеревался спросить еще раз насчет бензина, карт, документов, но вдруг понял, что Люси продумала все детали до мелочей, что ему сейчас лучше заткнуться, поскольку она тут главная. Он вспомнил, как всю неделю, каждую ночь, он изобретал хитроумные способы бегства от Люси в Сан-Диего. Как он оставит ее в кафе, выйдя якобы позвонить. Или на автобусной станции пойдет за билетами. Еще был вариант заманить в кино и бросить там.

Антонов придержал ее за руку, она остановилась, вопросительно глядя на него. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Держась за руки, они подошли к «плимуту»; по правому крылу шла длинная царапина, старая и проржавевшая, наверное, когда-то давно Люси зацепила при выезде ворота. Краска, некогда синяя, выгорела и была одного цвета с местным, белым от зноя, небом, Антонов поднял глаза — солнце в зените и ни облачка. Вдруг Люси вскрикнула, ее рука судорожно дернулась, словно она пыталась вырваться. Из темноты амбара, неспешно, как и полагается в добротном кошмаре, вышел Киллгор. Он, щурясь от солнца, остановился в дверном проеме. Дробовик он держал небрежно, одной рукой, прижав приклад локтем к телу. Антонов замороженно глядел на ствол, вороненая сталь отливала темно-синим. Киллгор сделал шаг, Антонов ощутил ладонью, как рука Люси стала холодной и задрожала. Он замороженно смотрел в черную дыру, Киллгор поднял ружье, взяв левой рукой за цевье — рука была одного цвета с деревом приклада, но не лаково-гладкой, а морщинистой и корявой, как сук.

— Отойди от нее, — произнес он сипло, будто со сна, указав ружьем. Антонов разжал руку, сделал шаг в сторону, потом еще один. Ноги казались тряпичными и не слушались. Он не мог разглядеть глаз фермера, тот продолжал щуриться, со своей обычной гримасой брезгливой досады, но в этот момент Антонов понял, что сейчас будет убит, и что нет такой силы на свете, которая смогла бы помешать этому. Дуло таращилося ему в грудь, он уставился в эту дыру — ничего страшнее он в жизни не видел. Странная вещь случилась со временем: оно вдруг стало тягучим, как смола, превращая происходящее в нескончаемую пытку. Антонов зажмурился, Киллгор и его отвратительное ружье отпечатались негативом в мозгу, а после растаяли в карусели красных и лимонных пятен.

Грохнул выстрел. Антонов не ощутил ничего. Потом едко запахло пороховым дымом, запахло кисло и противно. Антонов открыл глаза. Люси лежала, удивленно раскинув руки ладонями вверх. Одна нога была вытянута, другая согнута в колене. Платье задралось, бедра у нее оказались совершенно не загорелыми и бледными по сравнению с золотистыми икрами. Кукольный чемодан раскрылся, на сухой глине валялся розовый тапок и тюбик зубной пасты. Антонов знал, что туда не надо смотреть, но все-таки поднял глаза — вместо лица было что-то багровое. Он хотел отвернуться, но против воли продолжал таращиться на это растекающееся красное пятно. Потянуло чем-то свежим и соленым.

— У тебя час. Через час я звоню в тюрягу, — хрипло сказал Киллгор.

Смысл слов не дошел до Антонова, он услышал лишь звук, будто это был скрип телеги или плеск воды, он не понимал, как этот грубый крестьянин с ружьем просочился в его тягучее измерение. «Прореха», — догадался он, наконец, сумев оторвать взгляд от красного. Посмотрел вверх и тихо повторил: «Прореха...» В ту же прореху влетели две юркие птицы и, крича, перечеркнули небо, в верхнем углу которого висела белая луна, похожая на едва различимый отпечаток на снегу. От мысли о снеге ему стало зябко, он громко икнул, его пробил озноб. Дрожа, он повернулся к фермеру. Киллгор крикнул: — «Лови!» — и неожиданно швырнул ружье Антонову. Тот, вздрогнув, отпрянул, инстинктивно выбросил вперед руку и поймал дробовик. Киллгор, сунув кулаки в карманы комбинезона и словно потеряв интерес к происходящему, повернулся и зашагал в сторону шоссе. На бритом затылке, плоском и смуглом, ясно проступали продольные морщины, похожие на глубокие царапины. Антонов взвел курок и прицелился в затылок. Боек звонко цокнул в битый капсюль.

## 11

Стало тихо, лишь зной зудел на высокой прерывистой ноте. «Не зной, мухи», — догадался Антонов. Он опустил ружье, подошел к «плимуту», ключа в зажигании не было. Дверь, щелкнув, открылась, он выгреб из бардачка ворох грязных бумаг, потрепанную инструкцию к эксплуатации, смятый фантик от шоколадки. Ключа не было. Он повернулся. Глядя на острую коленку, Антонов понял, что просто не сможет рыться в вещах Люси. Он обошел машину, прислушался. Бросил дробовик на землю, потом, передумав, поднял его и начал рукавом быстро протирать приклад и цевье.

Со стороны шоссе донесся шум мотора, Антонов на слух узнал грузовик Киллгора. Движок частил с перебоями, фермер выжал газ, мотор заурчал, торопливо захлебываясь. Звук становился слабее и тише, после растаял, оставив в воздухе тихое жужжанье мух.

— Час... — Антонов замер, оглядевшись, сунул дробовик под машину, снова увидел точащее колено и красное пятно, раскрытый чемодан, черный силуэт сухого дуба на холме. Над корявыми ветвями плавилось белесое от жары небо. Стало душно, солнце уже доползло до зенита и палило вовсю. Антонов нерешительно пошел в сторону дуба, постепенно ускоряя шаг. Ноги были тяжелыми, ватными, словно во сне. Он брел поперек грядок халапинью, цепляясь ботинками за невысокие кусты и с хрустом давя спелые перцы. Огород кончился, он споткнулся, ударился коленом. Боль словно разбудила его. Он поднялся, быстро добежал до сухого дерева, остановился на холме, оглядываясь вокруг.

Склон холма, глинистый и рыжий, поросший сухим колючим кустарником, спускался в пологую равнину, серую и словно припорошенную пеплом. Там не росло ничего, кроме редких пучков седой, мертвой травы, похожей на паклю. Кое-где торчали темные валуны, по форме напоминавшие сгорбленных монахов в капюшонах. На востоке в дрожащем мареве угадывались верхушки сторожевых вышек «Биржи», на западе вдоль горчичного горизонта тянулась пунктирная линия железной дороги с вертикальными черточками столбов. Антонов вспомнил слюнявых ротвейлеров и, громко топая, понесся вниз. Колючки цеплялись за штаны, в ботинки сразу набился песок и мелкие камни. Ноги бежали сами, пыля и взрывая рыжую корку глины. Склон кончился, Антонов по инерции пронесся дальше, потом сбавил скорость и, размеренно работая локтями, взял курс на запад. Кровь горячо пульсировала в голове, он старался дышать глубоко и ритмично. Пот щипал глаза, страшно хотелось пить. Уродливая, короткая тень, словно паясничая, прыгала и кривлялась под ногами. Железная дорога, как заколдованная, никак не хотела приближаться, оставаясь тонкой линией на кромке упрямо уползающего вдаль горизонта. Из-под ног выпархивали мелкие птахи, вроде воробьев, и, ругаясь и чирикавая, кувырком уносились вверх. Меж пучков полыни испуганно шмыгали пыльные зверьки, а однажды Антонов в двух метрах от себя увидел толстую змею. Гадина, похожая на обрубок черного шланга, грелась на камне и лениво проводила бегуна поворотом плоской головы.

Потом появился поезд и Антонов понял, что железная дорога гораздо ближе, чем казалось. Товарняк, весело перестукивая колесами, бежал на юг, в сторону границы. Поезд состоял из платформ с контейнерами, нескольких гофрированных серебристых рефрижераторов и пары двухъярусных вагонов с новыми автомобилями. Состав замыкал прокопченный локомотив с логотипом в виде вздыбленного жеребца. Антонову почудилось, что он даже разглядел машиниста. О том, чтобы запрыгнуть в поезд на такой скорости, не могло быть и речи. Ближе к полотну на колючках стали попадаться клочки бумаги, которые издали он принял за цветы. Смолисто пахло теплыми шпалами и нагретым металлом, Антонов моментально узнал запах из своего детства. Это было как удар под дых: между той русской железкой и этим калифорнийским полотном уместилась вся его жизнь, жизнь суетливая и бестолковая, но главное, совершенно бессмысленная. Он не мог вспомнить ничего — сорок лет жизни оказались картинкой из окна курьерского поезда: летящие пятна зеленого, убегающие деревья, стволы в солнечных бликах, стрелочки с размазанными лицами, неясный люд на переездах, тощие собаки, стремительные полустанки без названий, частокол гудящих столбов всех мастей.

Антонов взбежал на насыпь. Согнулся в изнеможении, уперев руки в колени. Сердце колотилось, он дышал, хватая ртом воздух, обширный инфаркт с летальным исходом показался ему сейчас таким заманчивым. Отдышавшись, он выпрямился и огляделся: по обе стороны полотна не было ничего. Ни деревьев, ни кустов. Не было даже кам-

ней, лишь высохшая глина горчичного цвета. Он даже подумал: «Может, самому лечь на рельсы?» У этого варианта были недостатки: если его заметят, то поезд остановится и его сдадут в полицию. Если его не заметят или заметят слишком поздно... Антонов сглотнул и, встав на колени, припал ухом к горячему рельсу. Сталь тихо пела, приближался следующий поезд.

## 12

Решение пришло внезапно, оно оказалось в меру безумным и на редкость простым. Антонов стянул через голову мокрую от пота рубаху, торопливо скомкав, завязал рукава узлом. Получился клетчатый ком, размером со средний арбуз. Он пристроил его к одному из рельсов, а сам, прыгая по шпалам, побежал дальше. Метрах в пятидесяти стояли две металлических опоры с перекладиной, к которой крепились высоковольтные провода. Антонов ловко, как по лестнице, забрался наверх, лег на перекладину и пополз к середине. Остановился над рельсами южного направления; затея сверху выглядела не столь простой и уж точно гораздо безумней, нежели с земли. Он посмотрел на север, в перспективной точке схода рельсов появилась яркая звездочка, локомотив шел с включенным прожектором. Антонов распластался, прижимаясь к железу перекладины. Он прикидывал, как безопаснее прыгать: куда его потянет — вперед или назад, когда он коснется крыши вагона, прямо под ним противно зудел толстый металлический провод — в детстве они бегали смотреть на обугленный труп обходчика, который дотронулся до такого провода.

Локомотив приближался. Что-то заставило Антонова оглянуться. На западе, как раз откуда он пришел, на холме возникли крошечные фигурки, он разглядел собак, за ними бежали люди. Потом появился конник. Локомотив приближался, не сбавляя скорости. Состав был длинным, он приближался с грозным шуршащим звуком, словно надвигающийся ливень. От жары воздух плавился и лобастый электровоз менял очертания, как мираж. Звук нарастал, вдруг локомотив пронзительно загудел, от испуга Антонов вздрогнул и еще сильнее прижался к перекладине. Поезд, гигантский и страшный, как дракон, немолимо несся навстречу Антонову, оглашая округу грохотом и лягом. Стало ясно, что уловка не удалась, машинист просто не заметил скомканной рубахи на рельсах.

— Слишком быстро... — проворчал Антонов, подтягиваясь к краю и хватаясь обеими руками за продольную штангу перекладины. Ухнув, проскочил локомотив, понеслись блестящие крыши вагонов. Антонов перекинул тело и повис над поездом. Внизу все мелькало, сливаясь в одну грохочущую ленту. Рассчитать прыжок было невозможно.

«Дохлый номер», — подумал Антонов и разжал руки.

Подошвы обожгло от удара, его кинуло назад и он покатился по крыше. Соскальзывая, упал на живот и, цепляясь ногтями, попытался удержаться. Ему удалось уцепиться за край. Он висел между вагонами, в узком гремящем пространстве. Башмаки скользили по жести облицовки, гладкой, как стекло. Антонов понял, что надо подтянуться на руках. Он понял, что на это уже нет сил.

Пальцы онемели, он знал — они сами отпустят край. Перед глазами поплыли красные и белые круги. Оставался ничтожный шанс, мизерная надежда, что он успеет удержать-



ся на буфере, прежде чем рухнет на полотно. Антонов зажмурился, закричал и отпустил край. Все тело пробила острая боль, жаркая и слепящая. От шока он на миг потерял сознание, но в последний момент успел ухватиться за какой-то шланг.

Шпалы мелькали, в лицо ударила горячая вонь смазки и гром колес. Страха больше не было, да и боль прошла, она сменилась нервным, пьянящим восторгом. «Жив! Неужели жив?!» Антонов, не отпуская спасительного шланга, устроился на буфере верхом, свесив ноги в сумрачное мельтешение шпал. Он пребывал в каком-то праздничном оцепенении, как юбиляр, ошарашенный неожиданным царским подарком. Шум и жара уже не казались столь омерзительны. Антонов заметил, что мертвая горчичная степь сменилась песчаными склонами с высокими пальмами, красивыми, будто с открыток из курортных мест. «Океан близко», — подумал он. И тут же меж холмов сверкнула вода. Пропала и вынырнула снова, уже ближе. Замелькали пятнистые стволы пальм, но вот кончились и они. Поезд бойко выскочил на взгорье, и Антонов обомлел: океан распахнулся от края до края, сияя и переливаясь всеми оттенками голубого. У горизонта голубой темнел и перетекал в синий — так незаметно начиналось небо, по которому ползли похожие на зефир облака. Поезд сбавил ход, он бесшумно катился по кромке пустынного пляжа.

Антонов ловким движением соскочил на землю и, легко пробежав по инерции несколько шагов, остановился. Песок был мелкий и мягкий, как пудра, и приятно грел пятки. Антонов добежал до воды, в полосе прибоя песок потемнел и стал плотным, на нем уже не оставалось следов. Тихая волна напоминала сонное дыхание: прозрачным накатом, без пены, ласково напознала на берег и так же неслышно уходила назад. Антонов огляделся, дальше начинались пологие дюны, кое-где поросшие зеленым камышом, за дюнами тянулся луг, переходящий в сочное клеверное поле; там белела часовня с игрушечной луковкой, к часовне примыкало кладбище, заросшее осокой, из которой выглядывали верхушки крестов и головы скорбных ангелов. Антонов узнал Ржаное кладбище и уже не удивился, разглядев за ним пожарную каланчу, а еще дальше кирпичное здание вокзала с готической башней. Солнце садилось, и круглый витраж в башне сиял не хуже розы Шартрского собора.

Из-за песчаных дюн раздались голоса, звон мяча, радостные возгласы. Антонов прислушался. Там, безусловно, творилось что-то веселое и интересное.

Кто-то знакомый крикнул:

— Серега! Айда в ворона играть!

Антонов понял, что это зовут его, улыбнулся и, стряхнув ладонью с пяток мокрый песок, припустил во все лопатки в сторону дюн.

*Калифорния 2011*

Андрей МЕДВЕДЕВ

## КАМО ГРЯДЕШИ?

### Двойняшки

У берегов не мной открытых стран  
Суда чужие замерли на рейде,  
Не мой приют — заснеженный Монблан,  
И не мои — постмодернизма бредни.

Болото чувств, как и трясину грёз —  
На вязкость не проверить на закате...  
А Буриданов зверь грызёт овёс,  
И что-то круглое Сизиф на гору катит.  
Но вечный камень тоже ведь не мой,  
Доверено не каждому проклятье,  
Слепой художник и певец немой —  
Мои вам распростёртые объятья...

В тиши лесов и сумраке пещер,  
Двойняшки для отшельника в усладу —  
Сын-индивид и самобытность-дщерь,  
Недобрые, но преданные чада.

### Птицы

Возможно, мы разные птицы, но крыльев размах — не критерий...  
Соловушка пенем гордится, павлин — экзотичностью перьев,  
Стервятник парит над горами, гагарка вцепилась в анчоус,  
Полёт — субъективный параметр, и мудрость — не только учёность...

Сорока бесспорно воровка, кукушка до свинства ленива,  
И пингвин в утёсах неловкий, зато как ныряет красиво...  
Быть чайкой — стонать перед бурей, быть белой вороной — тоскливо,  
Для тех, кто мигрант по натуре, на юге приятнее климат.

Огромному страусу ночью не слишком уютно в саванне,  
Фламинго в движениях точен, без техники танец — не танец.  
Песок побережья и рифы покрылись засохшим гуано,  
Пируют бакланы и грифы, но Дарвин сказал — обезьяны...

## Ракурс

Длинные пальцы, чёрные брови,  
Звёзды скитальцы у изголовья,  
Пашня — кровать, а постель — кипа сена,  
Снизу я вижу улыбку Вселенной.

Волосы-реки, очи — колодцы, —  
Кануть навеки первопроходцем;  
Ракурс меняю, и с правого бока  
Вижу на шею сползающий локон.  
Губы — кораллы, зубы — кусачи,  
Но не сказать ей, сразу — заплачет,  
Если сместиться с закатом налево,  
Может с орбиты сойти королева.

Стройные ноги, гладкая кожа,  
Эпос, умерший, во поле ожил.  
Время-пространство сигналил в пульсаре,  
Сверху я вижу, как вертится шарик.

## Камо грядеши?

Quo Vadis, друг старинный, и откуда?  
Но не паскудство ли, брести всю жизнь,  
И победив искус, быть новым Буддой,  
Ловить детей над пропастью во ржи?..

Но дети падают, на то они и дети,  
Их руки-плети где-то впереди...  
И сети рвутся — всё уносит ветер,  
Туда, где пеплом правит желтый диск.  
Один, возможно, во поле не воин,  
И не достоин стражем быть для всех,  
Летающий «Боинг» над ковчегом Ноя —  
У громовержца вызывает смех.

Не долететь, не переждать потопа,  
А молча топтать к запасной двери,  
И если опыт не уложит стропы,  
То дух без парашюта воспарит...

## Я — 385 14 16

Чёрный двор попридержал уличный шум. Он остался за спиной. Перед Ириной Евгеньевной тоненько запищал домофон, замигали зелёные буквы. Она вошла в подъезд и замахала лапами пальто. У лифта она разбросала по плечам шарф, стянула шапочку и встряхнула короткими волосами. Скулы её горели от мороза, щёки покрывались белыми пятнами, сквозь очки страдальчески смотрели большие серые глаза.

Ирине Евгеньевне было сорок девять. Маленькая, круглолицая, миловидная. На расстоянии, благодаря своей миниатюрности, русой головке и манере одеваться, вполне сошла бы за первокурсницу. Но как это бывает, такого типа образы не выдерживают отпечатка взрослой усталости...

Ирина Евгеньевна входила в лифт, по-студенчески всклокоченная, лёгкая, но на её милом, аккуратном личике проступала озабоченность пожилой женщины...

Она вспомнила, что ей на улице померещился звонок. Машинально полезла в сумочку. На дисплее качался голубой конверт: «Пропущенное сообщение». Ирина Евгеньевна нажала кнопку и прочитала: «Это мой новый номер. Никому его не давайте».

«Благодарю за доверие. Но кто вы?» — моментально набрала она.

Занятая своими мыслями и смутно имея в виду каких-то старых знакомых, Ирина Евгеньевна невозмутимо открывала дверь квартиры.

Дома повсюду горел свет. Большая прихожая смотрела в три дверных проёма. Во всех комнатах мозаика разбросанных книг, увязшие в бумажных сугробах компьютеры, стулья и кресла, спрятавшиеся в ворохе вещей.

— Ксюша! — закричала Ирина Евгеньевна, раздеваясь. — Мама пришла! Ты ела?

В глубине комнаты показалась крупная девушка в халате и с кисточкой в руках. Жизнерадостное, спокойное лицо. Узкие глазки насмешливо смотрели, как мать разувается. Ксюша постояла немного и исчезла...

— Ты всё рисуешь? — Ирина Евгеньевна направлялась на кухню. — С мамой надо разговаривать. Ты об этом знаешь?

В это время телефон, брошенный на кухонный стол, снова блямкнул: «Не важно. Пусть он у вас просто будет. Главное, никому не давайте» — прочитала Ирина Евгеньевна. Она присела на табуретку и скорчила недоумённую гримасу.

— Ну ничего себе заявочки! — сказала она и набрала ответ: «Просто замечательно! А кому никому?»

— «Никому. И не стирайте его, пожалуйста. Я купил его у номероторговца и доверяю

вам. Храните его». Ирина Евгеньевна смотрела на горящий экранчик круглыми глазами. Стало немного страшно. Она написала: «Ладно». И отложила телефон...

— А мне тут психи пишут! — весело закричала она дочери, желая её заинтересовать и выманить из комнаты. Ксюха вальяжно вышла, села за стол и взяла из плетёной корзинки печенье. — Какие психи?

— А вот такие психи, — кокетливо замотала головой Ирина Евгеньевна. — Они мне доверили номер. Они купили его у номероторговца — из Ирины Евгеньевны вырвался грубый наигранный смех. Вообще когда она дурачилась, выходил неискренне. С горечью.

Ксюха своей большой рукой взяла телефон и быстро извлекла из него весь диалог. Лицо её не изменилось. Прожёвывая печенье, она спокойно сказала:

— Ты позвонила бы. Может, с тобой познакомиться хотят...

\* \* \*

Ложилась Ирина Евгеньевна поздно. Далеко за полночь. Сидела перед компьютером. Щёлкала мышкой. Затем перебиралась на диван и из подушек доставала компьютерную книгу. С ней она надолго замирала, диковинным ночником-статуэткой: крошечная фигурка в розовой пижаме. В голубоватом освещении лицо карикатурно распадалось на тени. Как у глубокой старухи, чернели носогубные складки. Очки казались гигантскими...

В тишине опять блякнул телефон.

Ирина Евгеньевна вздрогнула. Сообщение:

«385-14-16; 3851416; 1962.5024; 44300739; 6.6558349; 2.5798904».

Первые цифры совпадали с номером отправителя. Это был всё тот же доверенный номер. Ирина Евгеньевна смотрела на вереницу чисел, и её охватывало беспокойное чувство таинственности. Не успела она выпустить из рук аппарат, как он в очередной раз выдал:

«2.5798904 2 6.6558344 2 44.300731 2 1962.52281 2 3851516.5».

Ей стало жутко. Она присела на диване и набрала этот взбесившийся номер.

В трубке ответили баритоном:

— Да?

— Что происходит? С вашего номера приходят странные сообщения. Вы кто?

— Никто, — спокойно ответил мужчина. — То есть меня зовут Алексей. Вы простите, пожалуйста. Так получилось. Собственно. Ну... А какие сообщения?

— Как какие? Вы доверили мне номер. Кстати, что это значит? Потом цифры какие-то...

Ирина Евгеньевна водила рукой по воздуху, не зная как объяснить.

На потолке ходила огромная тень.

Вдруг погасшая подсветка телефона замигала прямо ей в ухо. Телефон стал периодически пищать. Ирина Евгеньевна посмотрела на дисплей: активирован калькулятор, и на нём то и дело выскакивает табличка «Заполнение запрещено», «Заполнение запрещено».

— Алё, Алё! — закричала она в трубку. Снова посмотрела на телефон. — «Заполнение запрещено», «Заполнение запрещено». — Алё, Але! Вы ещё здесь?

В трубке раздался смех. — Я здесь. Вы не волнуйтесь. Это он знакомится. Впрочем...

— Давайте встретимся, я всё объясню. Вас как зовут? Как я вас узнаю?

— Так. Так, подождите. — Ирина Евгеньевна переволновалась. Голос её стал каркающим и стервозным. Рука нервно взлетала от груди к очкам и обратно. — Вы что, меня не знаете? Понятно... То есть, мне ничего не понятно! Меня зовут Ирина Евгеньевна. Хорошо. Давайте завтра утром, в десять. Напротив консерватории. Белый шарф, серая вязаная шапочка. Да, вот у меня очки... Подождите, подождите... Скажите, это никак не связано, я не знаю... со спецслужбами, что ли?

В трубке снова рассмеялись.

— Нет. Выключите телефон. Чтобы вам спать не мешали. Вы извините ещё раз. Спокойной ночи.

Ирина Евгеньевна осталась неподвижно сидеть в темноте. Очки её отражали мерцающий свет книги, и в свою очередь, посылали два еле заметных лучика на стекло книжного шкафа. Этот чёрный массив, набитый тяжёлыми томами и облепленный неразличимыми сейчас фотографиями, смотрел на Ирину Евгеньевну двумя огоньками. Она перебирала возможные объяснения происшествия: хулиганы, мошенники, ошиблись, познакомиться...

Телефон снова ожил:

«3851416 > 1823386 52684 + 3798732 +  
658195 + 1165191 = 5674802 = 563794 + 3287622 + 4689 + 1818697».

Теперь в сообщении фигурировал номер Ирины Евгеньевны:

«5674802; 2382.1842; 48.8076624; 6.9862453; 2.6437506 ; 1.6257769».

На этот раз ни одного знакомого числа.

Ирина Евгеньевна поймала себя на том, что вдумывается в эти нагромождения, ищет закономерность, повторы, номер собственного телефона.

Цифры завораживали и в то же время утомляли. Она какое-то время с увлечением читала «шифровки», а когда телефон начинал пищать и моргать «Заполнение запрещено», крутила его в руках и ждала окончания приступа.

Наконец она очнулась. Глубоко вздохнула и отключила «игрушку».

\* \* \*

**Н**а следующее утро, ровно в десять часов, Ирина Евгеньевна семеняла по облепленной брусчатке проспекта. Делала она это автоматически. За ночь вчерашнее событие потеряло свою загадочность, и казалось теперь недоразумением. Любопытство и страхи исчезли. Встреча с незнакомцем представлялась абсолютно бессмысленной затеей.

Но едва Ирина Евгеньевна подумала об этом, вспомнила про телефон и включила его, он тут же взялся за старое:

«3851416 / 1823386 = 2.112233 1823386 / 3851416  
= /2028030/ x 2 = /4056060/ 2013.9662...»

Человека, который сидел и всё это старательно набирал, очень захотелось увидеть.

Ирина Евгеньевна подошла к месту.

Мгновение она смотрела на консерваторию: шпили, башни, воюющие грифоны на фасаде... Консерватория отбрасывала тень, и Ирина Евгеньевна, повернувшись, любовалась погожим деньком из пасмурной части проспекта. Напротив, как глыба льда, отражал солнце аграрный университет, наискосок, разноцветная крона церкви выстреливала в небо золотое яблочко центрального купола... Ирина Евгеньевна вздрогнула. Кто-то коснулся её плеча.

— Здравствуйте. Вы Ирина Евгеньевна? Я Алексей. Вы меня простите, пожалуйста. Но эти вычисления не я вам шлю. То есть, первые сообщения, конечно, я, но потом, нет. Это номер. Правильнее будет говорить: число. Это он у нас номер. Так вот это оно... Потому что мы активаторы... Телефоны, в данном случае, единственное средство выражения...

— Стоп. Стоп, молодой человек. — Перед Ириной Евгеньевной стоял высокий мужчина. Он был примерно одного с ней возраста, немного растерян, взволнован, без шапки, старая куртка нараспашку, над высоким лбом нерасчёсанная тёмная прядь. Ирина Евгеньевна как-то сразу всё поняла. Вернее, сразу, само собой, отпали все неприятные предположения. Это не хулиган, не мошенник и не разведчик.

— Вы Алексей? Здравствуйте. У меня взбесился телефон. Он теперь живёт своей жизнью. Скажите, это у вас шутки такие? — она взяла насмешливый тон, широко улыбалась и снизу вверх всматривалась в Алексея.

Но Алексей не улыбнулся. Его широко расставленные глаза смотрели с наивной серьёзностью и нетерпеливым желанием оправдаться.

— Это не шутка. Числа... Они так взаимодействуют. Вот, например, вы по-своему представились: разложились на простые множители. И что самое интересное: предстали в виде суммы цифр...

— Что я сделала? Как я разложилась? — Ирина Евгеньевна рассмеялась. С неё окончательно сошли все опасения. Алексей походил на медвежонка. От него веяло детскостью, ребячеством, и она, почувствовав превосходство, утвердилась в ехидно назидательных интонациях. — Я разложилась на простые множители?!

— Простите, не вы, конечно. Ваше число. Я подумал: почему?

— Да. Почему?

— Вот... И тут вы предстаёте в виде суммы цифр. Это как бы с математической точки зрения не совсем осмысленное действие. Но ваша сумма: тридцать один! Это простое число! Такое очаровательное бесстыдство! Вы, ой, простите, я всё «вы» да «вы», конечно, число... оно немедленно продемонстрировало самое привлекательное. Ну, не знаю, фигуру что ли... Это так по-женски! И это доказывает, что я не ошибся. Пол у них определяется в числовом неравенстве...

— Боже мой, Алексей! — Ирина Евгеньевна смеялась и ёжилась от холода. — Я надеюсь, вы не сумасшедший? Это игра такая, да? Знаете что? Пойдёмте, зайдём куда-нибудь. Вон, в кинотеатр, в кафе. Я что-то замёрзла...

Она держала руки в рукавах наподобие муфты, втягивала голову в плечи и весело смотрела на Алексея. Но он по-прежнему не отвечал на улыбки...

В кафе раскрасневшаяся от мороза Ирина Евгеньевна разбрасывала шарф, снимала шапочку, трясла головой. Она заказала себе кофе, и чтобы вернуться к беседе, издевательски выдавала первое попавшееся.

— А что это за простое число? Почему это оно простое? — говорила она, укладывая вещи. — Слушайте, Алексей, — она хитро заулыбалась. — Кто вам дал мой номер?

Алексей молчал. Он ничего себе не заказал, сел вполборота, ссутулился и задумчиво смотрел сквозь витраж кафе на проходящих людей.

— Простые числа — это числа, которые делятся только на себя или на единицу... Ирина Евгеньевна, вы не дадите мне свой телефон на минуточку. Я посмотрю сообщения...

Он взял телефон, порылся в карманах, достал потрепанный блокнотик и стал переписывать числа.

— Во-от... А я, значит, корень извлекал... — заговорил он сам с собой. Настроение его резко поменялось, он поднял голову и увлечённо стал рассказывать. — Я предстал в убывающей числовой последовательности. Каждый член этой последовательности корень предыдущего. Во-от... То есть я как бы представил себя рядом иррациональных чисел...

Ирина Евгеньевна от неожиданности замерла.

Лицо её превратилось в восковую маску...

— А потом наоборот, — продолжал Алексей — в возрастающей последовательности. Но я увлёкся. Попытался возвести себя в степень, но... — Алексей покрутил телефон Ирины Евгеньевны. — Телефончик-то у вас тоже простенький. Впрочем, у них у всех калькуляторы такие, — он пояснительно кивнул в испуганное лицо Ирины Евгеньевны. — Вот поэтому у вас и пикало «Заполнение запрещено».

— Алексей, — подала голос Ирина Евгеньевна. — Вы думаете, это вы там в телефоне? Это вы извлекаете из себя корень? — Она испугалась собственного вопроса и стала копаться в сумочке в поисках сигареты. Она бросила курить так же давно, как не заходила в кафе. Сигарет не оказалось. — У вас сигареты не будет?

Алексей сделал паузу. Его карие глаза потускнели.

— Ну, конечно, не я, — укоризненно сказал он. — Просто я всё время сбиваюсь. Говорю «я». Наверное, потому что так проще, — он протянул пустую ладонь к лицу Ирины Евгеньевны, сделал быстрое движение пальцами, и в них появилась сигарета... Тут он впервые широко улыбнулся. Уголки губ его вздёрнулись, улыбка оказалась добродушной и светлой.

Ирина Евгеньевна облегчённо вздохнула.

— Господи, Боже мой! Алексей! Ну нельзя же так пугать! Я уж было подумала, что вы сумасшедший...

Алексей никак не отреагировал, и снова взялся за блокнот.

— Во-от, как я и говорил. Сначала они встают в числовое неравенство. А затем уже в числовое выражение. Вот сумма... Тождественное преобразование...

— А что это значит?

— Это своего рода флирт. Они отрабатывают коммутативность, ассоциативность, становятся в тождество. Такая игра. Когда они сблизятся, это им пригодится в сексуальных играх: дистрибутивность относительно сложения и вычитания. К тому же для ещё более тесных отношений им необходимо получить как можно больше результатов взаимодействия: общий делитель, общее кратное, процентное соотношение и так далее. Это им поможет впоследствии образовывать уравнения, логарифмы...

Ирина Евгеньевна откинулась на спинку стула и серьёзно смотрела на высокий лоб своего нового знакомого. Её вновь стали посещать неприятные мысли. С явным сарказмом она спросила:

— А куда же ещё более тесные отношения?

— Ну знаете, этот процесс бесконечный. Как, собственно, и математика. Мне вот что любопытно...

— А вы математик?



— Я? Нет... Так вот... По идее им следовало начинать с возведения в степень, умножения, деления... Это действия четвёртой, третьей степеней. Для чисел это естественная последовательность. У них как бы должно быть всё наоборот: сначала сексуальный контакт, а затем действия над произведениями и частными, соответствующие нашему знакомству, ухаживанию, флирту. Но, видимо, я экстраполирую правило для числовых выражений на общую схему взаимоотношений... Наверное, я ошибаюсь. В любом случае, так не происходит, — Алексей, закусив ручку, на секунду задумался над блокнотом.

Они помолчали.

Ирина Евгеньевна шумно курила, запивала кофе, акцентированно, со звоном ставила чашку на блюдце. В её движениях чувствовалась нервозность.

— Алексей, а кем вы работаете?

Алексей очнулся.

— Я? Сейчас как бы никем. Я, вон, — он кивнул головой в сторону церкви, — дворником. Временно... Вот, посмотрите, — он открыл следующее сообщение. — У меня это тоже есть. Это сегодня утром. Они из суммы извлекли квадратный корень... И ещё... И ещё. Так же в убывающей последовательности. Я бы это сравнил с фривольными разговорами. Они фантазируют. А вот... — Лицо Алексея преобразилось. — Они встретились уже по-настоящему, — он вскинул брови и нежно улыбнулся цифрам на экранчике. — И не просто... Его отношение к ней равно двум целым и бесконечному периоду... Один-один, два-два, три-три... Её отношение равно ноль целых четыре тысячи семьсот тридцать четыре десятичных, и они, полученные частные, можно сказать, свои впечатления, переживания, удовольствия перемножили и получили в произведении периодическую дробь, стремящуюся к единице. Вы только посмотрите, что у них получилось: ноль целых, девять в периоде. Такая бесконечно повторяющаяся девятка...

Щёки Ирины Евгеньевны разочарованно обвисли. Она почти с жалостью смотрела на Алексея. Большой неряшливый мужчина, густым баритоном увлечённо рассказывающий ей о своих изысканиях, наконец, совершенно определился в её глазах. Она стала замечать мелкие детали: грязный свитер, пятно на кармане... Отдельные слова резали ей ухо: «перемножили удовольствия», «сексуальный контакт»... Теперь ей действительно всё стало ясно...

Она выпрямилась, окинула взглядом кафе, посмотрела на улицу. За столиками сидела яркая молодёжь, где-то тихо звучала музыка, за витражом проходили съёжившиеся, укутанные люди. Всё напоминало фирменный поезд, вагон-ресторан, стоящий на перроне... Ирина Евгеньевна потихоньку наматывала на себя шарф.

Но Алексей не замечал.

— ...и знаете, я, то есть моё число, всегда проделывало этот фокус. Вот, второе за сегодня сообщение. Разность чисел в арифметическом смысле — это то, сколько остаётся уменьшаемого. Я же разность представляю модулем числа на координатной прямой, причём, как на положительном векторе луча, так и на отрицательном. Даже будучи вычитаемым, я всё равно имею в виду себя. Вы понимаете? После первой ночи, я, простите, моё число, всегда проделывает это действие. Сначала вычитает из себя, потом себя из уменьшаемого, получает положительные и отрицательные числа, представляет их в виде модуля и складывает. Получается сумма положительного и отрицательного лучей, а, по сути, отрезок на координатной прямой, главными слагаемыми которого является разность двух чисел. То есть, количество, не занимаемое во мне моей парой. Понимаете? Если бы это было не так, то зачем складывать? Это именно расстояние моего... его одиночества. Модуль его одиночества. Мало того, число ещё извлекает из него корень...

Ирина Евгеньевна уже в шапочке, повязанная шарфом, встала и мягко взяла телефон из рук Алексея. — Знаете что, раз уж вы так заигрались, скажите, что мне сделать, чтобы эта чехарда в моём телефоне прекратилась?

Алексей осёкся.

— Это не игра... Но вы можете удалить номер, и тогда...

— Да-а?! Мне пора, Алексей. И вы мне, пожалуйста, не звоните, и прекратите эти... Вы... Ирина Евгеньевна смотрела сурово, но ей не хотелось говорить ничего обидного.

— Вот, посмотрите, — она покопалась в телефоне и демонстративно нажала кнопку, — я удалила ваш номер. И всё. Всего вам доброго.

Алексей встал.

— Но зачем вы? Вы, наверное, меня не поняли. Они же уже познакомились.

Алексей попытался взяться за пальто Ирины Евгеньевны, но она отстранилась.

— Он будет просить, чтобы я вам позвонил, — растерянно говорил он. — Он будет к вам проситься...

Ирина Евгеньевна злобно рассмеялась.

— Вы чокнутый, Алексей, — и направилась к выходу.

Она пробиралась между столиков, придерживая шарф, напряжённо смотрела под ноги. Ей казалось, что она чувствует обиженный взгляд Алексея, и злилась на себя за то, что сорвалась. Внезапно у дверей её кто-то толкнул в спину, она посторонилась и увидела Алексея. Он молча протиснулся вперёд и выбежал на улицу. С красным лицом, в развевающейся куртке, зашагал по проспекту прочь.

Ирина Евгеньевна смотрела ему вслед...

\* \* \*

Домой она добралась лишь в третьем часу.

Гуляла по городу, заглядывала в витрины.

Ей было невыносимо жалко и обидно за всех: за себя, за дворника Алексея. Думала, что если сейчас попадёт домой, то непременно разрыдается.

Но вышло наоборот. Вошла в квартиру, и ей стало легче.

— Ксюха! Ты дома? — она вешала пальто, разувалась. Лицо её постепенно светлело.

Неожиданно в сумочке, незнакомым рингтоном, звякнул телефон. Ирина Евгеньевна насторожилась. Звонок повторился. Потом ещё и ещё... Она раскрыла сумочку и увидела среди своих вещей допотопный телефон Алексея...

— Мапочка!

Завопила она на всю квартиру, и швырнула сумочку на пол.

Из комнаты выбежала Ксюха.

— Что такое?

— Не подходи! — кричала Ирина Евгеньевна, пятась и простирая руки в стороны. — Этот псих мне подложил телефон. Он... там... начинён чем-нибудь или... не знаю... отравлен...

— У тебя совсем крыша едет? — усмехнулась Ксюха, и презрительно посмотрела на мать. — Отравлен!... Чего ты орёшь как резаная?

Ирина Евгеньевна схватилась рукой за лоб и попыталась успокоиться. Сама от себя она не ожидала такой прыти.

Ксюха достала телефон. Он не переставал звонить.

— Такая «рация!» — разглядывала его Ксюха. — Антиквариат. Он твой номер высвечивает. Что это значит?

Ирина Евгеньевна тяжело дышала. Рука её переместилась на грудь. — Это он ко мне просится, — вымученно усмехнулась она.

— А-а! — Ксюха надула щёки, подбоченилась, выставила вперёд белую мясистую ногу и начала копаться в телефоне. — Тут столько сообщений от тебя. Можно посмотреть? Цифры какие-то... Что это такое?

Ирина Евгеньевна подошла и заглянула на дисплей.

— Это я разложила на простые множители.

Она взяла телефон, подобрала сумочку и пошла на кухню.

— А что за псих-то, ма?

Заинтригованная Ксюха поволоклась следом.

— Чё это всё такое, а?

Ирина Евгеньевна сидела на табуретке и оторопело смотрела в одну точку.

— Да не знаю я ничего... Ксюха, а можно так сделать... подделать мои сообщения... ну самому написать, как бы от меня?

— А как ты сделаешь? Номер-то твой стоит. Только с твоей симки. А что случилось-то? Ты познакомилась с кем?

Ирина Евгеньевна молчала. Ксюха посмотрела на озадаченную мать, скорчила гримасу и моментально переключилась.

— Ну ладно. Разбирайся тут. Если что, позовёшь...

Ирина Евгеньевна держала на коленях скомканную сумочку, в руке телефон Алексея. Как и на улице, ей стало плохо. Ощущение безысходности мешало дышать. Где-то на краю сознания промелькнуло: «А как это может быть?», но тут же Ирина Евгеньевна с удивлением поймала себя на странном безразличии к обстоятельствам. Она едва справлялась с чувствами, едва сдерживалась и изо всех сил пыталась понять, отчего ей так тяжело...

С глубоким вздохом она выпрямилась. Посмотрела на окно. Там под ярко-синим небом почти до горизонта крыши домов. Она сняла очки и свободной рукой вытерла глаза. Телефон Алексея снова зазвенел. Дисплей замигал номером Ирины Евгеньевны:

«182-33-86, 182-33-86, 182-33-86».

— Господи, боже мой! — воскликнула она. — Ну, на... пожалуйста... вот, звоню.

Она нашла свой номер в телефонной книге и нажала клавишу набора.

— Я совсем с ума сошла...

В ту же секунду в сумочке зазвонил её телефон.

Ирина Евгеньевна его достала, сбросила звонок и положила оба аппарата на стол.

— Вот. Общайтесь, давайте. Мамочка родная, я тронулась.

Телефоны сразу стали забрасывать друг друга сообщениями.

Квадратный, черный аппарат Алексея и овальный розовенький Ирины Евгеньевны замигали и запикали попеременно и в унисон.

Губы Ирины Евгеньевны задрожали. Лицо исказилось. Она больше не могла сдерживаться. Ей было жалко всех. Себя, этого озабоченного дворника, эти номера... Жалко! Она громко зарыдала.

Геля КОГАН

## ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

### Птицы

Как птицы гнёзда вьют без схем и чертежей  
в развилке меж ветвей на дереве высоком,  
внимая лишь чутью, что всех наук важней,  
без графика работ — и поспевая к сроку?

А как они потом в похожести стволов  
находят без труда родимые жилища,  
в разинутые рты прожорливых птенцов  
по много раз на дню заталкивая пищу?

Как эти существа без компасов и карт  
дорогу узнают на дальние зимовья,  
чтоб возвратиться вновь, когда поманит март  
в тугих телах деревьев пульсирующей кровью?

И кто в природе — царь, а кто — лишь меньший брат,  
коль мы, кичась умом и трепетной душою,  
сбиваемся с пути, ступая наугад,  
формуем кирпичи, но рушим то, что строим?

Вот пеньё из куста захватывает в плен,  
вот аист на гнезде, вот ласточка под крышей.  
Разумный ход вещей не ищет перемен.  
Летит пернатый клин. Звенит. Курлычет. Свищет.

## Позапрошлый

Чистые, сверкающие реки,  
над водой тумана молоко.  
Это было в позапрошлом веке —  
невообразимо далеко.

Как он странен, день позавчерашний:  
ни авто, ни телефонов нет.  
Ровным гудом бьют часы на башне.  
От свечей струится тёплый свет.

Храмовый покой в библиотеке.  
Окрик ямщика из-за угла.  
Это где-то в позапрошлом веке.  
Бабушка моя уже была.

Девочка, тихоня, гимназистка,  
как жила, чем наполняла дни?  
Неужели это так неблизко?  
Кажется — лишь руку протяни.

Барышни вплетали в косы ленты,  
пахла кожа свежим огурцом.  
Мирные последние моменты...  
Бабушка стояла под венцом...

О войне пока ещё ни слуха,  
новый день ещё скрывает мгла,  
и на зов не едет повитуха,  
что родиться маме помогла;

и не скоро пропадут пролётки,  
конских яблок вечные следы,  
и так долгод будет путь короткий  
к золотому пляжу у воды.

Ничего про атом не известно...  
Господи! Чудны Твои дела.  
Не объять умом, какая бездна  
между двух столетий пролегла.

## Гений и злодейство

И сырой ивняк огнём займётся  
в бутафорском мире лицедейства.  
Был в одном не прав великий Моцарт:  
совместимы гений и злодейство.

Заблужденья равнозначны вере  
до определённого момента,  
что наглядно показал Сальери.  
Впрочем, это, говорят, легенда...

Но, торя дорогу тихой сапой,  
обходными, тайными путями  
поднимались новые сатрапы,  
что от роду не были глупцами.

Славу на чужих руинах строя,  
лишь небесной уступали силе,  
навсегда клеймённые виною,  
ибо понимали, что творили.

И со знаньем затевали козни,  
и умело избегали кары,  
и легко с небес хватали звёзды.  
Но гремели медные фанфары...

Шпагу преломив над головою,  
резким взмахом разрешая споры,  
время заступало судиёю  
с запоздалым часто приговором.

## Страх

Где правят бал коран и шариат,  
я не бывала и стремлюсь не очень,  
другой пейзаж притягивает взгляд;  
но вот вчера увидела воочью:  
среди студентов, клерков, стариков,  
и в холода, и в зной простоволосых,  
причудливо разряженных юнцов  
с зелёной прядью и серьгой под носом  
они из магазина шли. Жена  
являла раболепия картину:  
грузёная кошёлками, она  
брела, отстав на шаг, за господином.  
Нет, ей ни обогнать его нельзя,  
ни даже поравняться с ним хотя бы.  
Блестели в узкой прорези глаза,  
всё остальное скрыто под хиджабом.  
А муж шагал угрюмо налегке,  
до спутницы ему не много дела!  
Сновали чётки быстрые в руке  
и борода над воротом чернела.  
Европа. Двадцать первый юный век,  
а плат его уже от слёз просолен,  
но выбор вправе сделать человек,  
и вольному, как говорится, воля,  
но с добавленьем, что спасённым — рай,  
а кто спасётся в этой бесовщине?  
И мой зелёный, близкий сердцу край  
вдруг показался выжженной пустыней,  
где солнце повернуло с полпути,  
как по указу высшего декрета,  
чтоб на востоке вечером зайти,  
вытягивая тень от минарета.  
Агрессии стыдливость ни к чему,  
а мы свой страх в растерянности прячем,  
ещё судить пытаюсь по уму.  
Осмотримся — и лишь тогда заплачем,  
что рано утром будит муэдзин,  
что наши бабы в паранджах, быть может,  
или в никабах вышли в магазин...  
Конечно, бред! Но ужас плечи ёжит.

Елена КРЮКОВА

## DIA DE LOS MUERTOS

### ПЕСНИ МАРЬЯЧИС

#### Фрагменты из романа

*Улитка, Улитка!*

*Ты скользкая, как поцелуй!*

*Ты живешь в Раковине, и Раковина прячет тебя от жадных глаз.*

*Тебя можно выковырять из Раковины и съесть.*

*Тогда ты превратишься из Улитки в человека.*

*А человек — гаже тебя, Улитка. Человек большая гадина.*

*Он убивает и ест все живое.*

*Он убивает себя.*

*Он — самоубийца, ибо не знает, что такое Смерть и Жизнь.*

*Ползи, Улитка, по земле, оставляй на песке мокрый след.*

*Влажный след. След любви.*

*Влажный поцелуй. Влага в глазах, слезы.*

*Улитка, родная! Улитка, живая! Завтра, о, завтра ты сгниешь в Раковине своей.*

*И люди найдут пустую Раковину на берегу.*

*И люди станцуют танец вокруг Раковины на берегу.*

*Омочат ноги в Океане. Омочат руки, груди и волосы. Поплывут.*

*Соленая вода Океана плеснет им в глаза, во рты. Соленые слезы земли.*

*Плывя под звездами, в Раковину будут трубить. Извлекать музыку из мертвой кости.*

*Все, что бегают, ползает и летает, превратится в кость. Зачем же мы любим?*

*Зачем же мы любим и умираем?*

*Ведь все умрут, о дивная, скользкая как губы в любви, теплая, горячая Улитка.*

*Ведь все умрут.*



## Хлеб смерти

**Н**очь мазала лица и волосы синими, лиловыми чернилами. Звезд не видно: зачем людям звезды? Люди на земле: бегут, плывут, семят, падают, опять встают и бегут. Идут.

Куда они идут, все эти люди?

Они идут на кладбище.

Огни вспыхивают и не гаснут. Огни бешенствуют, их золотые живые хвосты развеваются по ветру. А, это факелы! Ром глядел, как горит живой огонь: с треском, с вонью, фитили чадили и брызгали смолой. А вот и свечи, люди несут их в руках. Много свечей. Целый лес. Белый, ярко-желтый, густо-коричневый воск; дешевый парафин; нежные слабые язычки лижут черный воздух. Свечные огни подсвечивают лица снизу, сбоку, будто высвечивают изнутри.

Изнутри. Что у меня внутри?

Потроха. Сплетения кишок. Наверное, они густо-синие, фиолетовые, переливаются живой кровью, и в них, внутри, превращается в дрянь красивая и вкусная еда.

Что еще? Сердце. Живой мешок. Бьется. Кисет, полный крови. Кровь делает так: тук-тук, и я слышу этот стук. Слышу. Еще слышу.

Теплая рука сильно, еще сильнее сжала руку Рома. Он шел по кладбищенской дорожке, держал Фелисидад за руку, и их ноги, соскальзывая с каменной крошки, вязли в грязи. Недавно прошел дождь. В ноябре, здесь? Редкость, почти чудо.

Чудо Господне. А чудо всегда от Бога? Или от кого другого? Он усмехнулся. Фелисидад что-то весело говорила, ее птичий щебет долетал до его губ и щек и обжигал их. Всюду стоял шум, и Ром ничего не слышал.

Шум, гам, веселье. Странное, невысказанное, дикое веселье. Здесь, на кладбище, люди не скорбели — они веселились. И Фелисидад то и дело поднимала к нему смуглое лицо, оно было расцвечено огнями неподдельной радости, и Ром должен был разделять эту непонятную карнавальную радость, не имея на то никаких причин.

Они шли, пробирались среди людей и огней, и люди и огни все более сгущались, кучковались, роились, нависали живыми виноградными гроздьями над могилами — древними, старыми, вчерашними и свежими.

Свежие могилы заметнее всего. Свежая грязь. Свежий холм. Пахнет разрытой землей. Пахнет палыми листьями и червями.

Мраморный маленький памятник; белая плита, цвета молока. На плите лежат: пирог, торт, череп из твердого сладкого теста — калавера — со вставленными в каменное тесто, в пустые глазницы, золотыми монетами-глазами, и калака — искусно сделанный из такого же теста скелет. Скелет нынче запекли в печке, тесто жесткое, но разгрызть можно. Зубами. Живыми зубами.

Перед могильной плитой на коленях стоит маленький чернявый мальчик, он похож на черного верткого жука, жужелицу. Крутится, оглядывается, встряхивает плечами, то ручки сложит в молитвенном нарочном жесте, то вытянет лицо в лицемерной печали. Вокруг могилы, над сгорбившимся мальчонкой, стоит семейство. Семья. Все черные, иссиня-черные жесткие волосы одинаковы у мужчин и у женщин. Все смуглые жесткие, будто медные лица похожи — один гончар навертел на круге времени эти сосуды, эти чаши.

Женщины всплескивают руками. Кричат, будто ругаются. На самом деле они кого-то хвалят. Кому-то славу кричат.

А может, проклинают кого? Нет, непохоже.

Мужчины вынимают из сумок, из огромных черных мешков снесь. На могилу уже навалены горы снеди. Калавера и калака уже давно погребены под слоями длинных, как палки, пирогов и маиса, гигантских тако — о, какой от них доносится превосходный грибной, мясной дух! Ром с радостью засунул бы сейчас в зубы один из этих свежеиспеченных тако. О да, они свежие. Свежие тако. Свежая могила.

Свежий, чудный запах сыра, фасоли, соленой рыбы, жареного мяса.

Мужчины продолжают вынимать из пакетов и сумок пищу. Женщины берут ее у мужчин из рук и весело раскладывают на могиле. Свечи горят. Девушки высоко поднимают их. Маленькие девушки. Здесь женщины — малютки, а девушки — куколки. Мужчины есть рослые, brave. А вот высокую девушку редко встретишь.

Фелисидад у него тоже маленькая.

Господи, еще живая Фелисидад.

Он больно стиснул ее лапку, и она тихо вскрикнула — он почувствовал вскрик, но не услышал: так громко гомонили вокруг, а у других могил еще и пели. Пели! Это было уже совсем из рук вон. Ром оглянулся на поющих. Сдвинул брови. «Фелисидад говорит мне: у тебя брови похожи на два крохотных початка маиса. Ей в диковинку русые брови. Здесь же все как из угольной топки».

Черепка из теста. Черепка из расписного дерева. Черепка из ваты и шелка с блестками. Черепка леденцовые. Черепка яблочные. Шоколадные черепка. Вот стоит ребяенок поодаль, с наслаждением сосет такую шоколадную калаверу, уже почти всю проглотил, и мордочка измазана сладостью, липкостью, жизнью. Он съел смерть — и доволен!

Черепка из оникса. Аметистовые пьяные, сверкающие глаза. Черепка из сусального золота, а глаза под мертвым лбом горят из бирюзы, из сердоликов. Черт, да тут целая ювелирная лавка! «Это все поддельные камни. Игрушки. Забавки. Это понарошку, ты, слышишь, тут все понарошку, все неправда».

Черепка из гранита. Из мрамора. Мраморная калавера — на мраморной плите. Хрустальные глаза. Они горят мертво и вызывающе. Они кричат тебе: ты станешь таким же! Таким! «И совсем скоро».

Ром наклонился к Фелисидад и попытался ей улыбнуться. Его улыбка вышла жалкая, подобострастная, будто бы он лебезил перед страшной калаверой, улещал ее, молил об отсрочке; а улыбка Фелисидад столкнулась с его улыбкой ясная, чистая, зубки белые, один к одному, жемчужные, алмазные.

«Зубы. У нее еще есть зубы. И еще будут у нее во рту долго, долго, много лет; а потом начнут выпадать. И, если я буду жив и буду жить с ней, я это увижу».

Все яства выложила семейка на могилку? О нет, не все! Толстая, в три обхвата, как старый платан, тетка с орехово-коричневой кожей вытащила из рюкзака совершенно необъятную лепешку. Разломила, и две половинки хлеба торчали в двух поднятых над громадным животом руках, как две половинки скатившейся с черного неба безумной Луны. Запахло медом, корицей, молотым орехом, апельсиновой цедрой.

Фелисидад встала на цыпочки. Ром приблизил ухо к ее дрожащему в улыбке рту.

— Pan de Muerto, — почти крикнула она, а ему показалось — прошептала, так гомонили люди, как птицы, вокруг. — Ром, это сладкий хлеб, очень, очень вкусный! Попробуй!

— Я не...

Фелисидад выставила плечо вперед, будто в танце. Да она почти танцевала. О Боже, да тут все уже танцевали! Возле ближних могил, возле дальних — откуда-то появилась, возникла музыка, замелькали крохотные, как эти их девушки, гитары в руках, и люди запели, как уличные марьячис, нет, лучше — кто слаженно, кто вразнобой, кто заливая голосом черно-белый кладбищенский ночной ковер, мраморные памятники, золоченые кресты, кто наборматывая себе под нос страшную и разудалую ночную песню, будто одинокую молитву. Выбросила руку Фелисидад, вцепилась в хлебный разлом в руке толстухи. Мать семейства, а может, бабушка, а может, тетя, а может, подруга, а может, веселая и толстая Смерть сама, с хохотом рванула хлеб на себя; а Фелисидад — на себя; и в руках Фелисидад остался кусок хлеба, пахнущего апельсином и ночью любви.

— Мучас грасиас, донья! — крикнула Фелисидад и потрясла в воздухе куском.

Протянула Рому:

— Пробуй!

Он взял Хлеб Мертвых опасливо, как ежа.

— И что я должен делать с ним?

Фелисидад захохотала:

— Есть! Ешь! Ну!

И черные буйные, мелкокудрявые волосы, целая черная копна, безумный стог, заплясали, запрыгали у нее по плечам. И полезли, вместе с хлебом, Рому в рот.

Он кусал немислимо вкусный хлеб, кусал, грыз, всасывал, ел, вкушал, глотал, глотал вместе со слезами, пытался улыбаться, ничего не получалось, он ел и плакал, ел и кривил рот, чтобы Фелисидад не подумала, что ему больно и плохо здесь, на этом диком чужедальнем кладбище, на этом празднике чужом, безумном, — а вокруг приплясывали, взбрасывали вверх, к ночному угольному небу, живые руки, золотые языки заполошных огней, и пели — дико, сочно, разевая до отказа рты, сверкая белками диких, почти звериных, веселых глаз:

— Проходя через кладбище,  
Я увидел калаверу!  
Там она, пыхтя сигарой,  
Распевала петенеру!

Эй, отродье, калавера!  
Ты, двузубая старуха!  
Вижу, как ты скачешь лихо,  
Как твое набито брюхо!

— Ну что? — кричала Фелисидад. — Вкусно?!

Он утер хлебом слезы. А они все катились и катились.

Проорал:

— Вкусно!

Таратился на пляшущих возле огромного памятника из розового, с кровавыми прожилками, мрамора: под мраморным розовокрылым ангелом толстопузый кудрявый мужик держал за высоко поднятую руку молоденькую девчонку, девчонка трясла в ночи цветными, как павлиньи перья, юбками — один волан, другой, третий, а вот и нагие ноги, коричневые и худые, как у жареного цыпленка! Ноги — вверх. Руки — вверх. Пузран еще

сильнее дернул девушку за руку. Ром испугался: а вдруг вывихнет? Девушка показала все зубы. Крутанулась на одной ноге, на миг превратилась в живое цветное, яркое веретено. «Ее юбки горят в ночи, как фонарь. Как красива жизнь! Как все в ней вкусно и сладко!»

Дядька с тремя подбородками и мощным пузом отпустил руку плясуньи. Мраморный ангел сурово, свирепо глядел на Рома. По спине Рома тек пот. Ноябрь, а так жарко. Здесь всегда жарко. И летом и зимой. Нет холода. Нет снега.

Фелисидад показала жестом: подними меня! Ром схватил Фелисидад поперек живота, как кошку, и приподнял ее так, чтобы ее лицо оказалось на уровне его лица. Внезапно тяжесть тела Фелисидад исчезла. «А, это она встала на край надгробья ногами».

— Коатликуэ, — выдохнула Фелисидад Рому в ухо.

— Что это?

Ее волосы опять щекотали ему подбородок, губы.

— Не что, а кто. Коатликуэ. Она. Старуха. Это богиня. Мы поедем в Теотиуакан, и я тебе покажу ее там на фреске. Это беременная старуха. — Фелисидад вытянула над грудью руки и округлила их. Засмеялась. — С животом. Это Земля.

— Земля?

— Ну да. Земля. Земля всегда беременна.

— Кем?

— Нами.

Толстая тетка рядом со свежей могилой («нашей могилой», подумал он, вот уже и нашей) взяла с гладкого белого, как снег, мрамора надгробья две трубочки бурритос, протянула их Рому и Фелисидад. Они взяли. Фелисидад сделала смешной книксен, потом обхватила тетку шею рукой и чмокнула ее в щеку: раз, другой. Вкусно и смачно. Громко. Щелк, щелк.

Ром подумал: в третий раз поцелует — это будет по-русски, — но поцелуя было только два.

Раз, два.

Огни вокруг. Может, они возгорелись сами? Тут, на кладбище? И это не люди зажгли все свои свечи, факелы и фонари, а их мертвецы спустились сегодня с небес и вышли из-под земли, чтобы разделить с живыми радость огня, трапезы и танца?

Красивый парень, что стоял рядом с толстухой, глаз не сводил с Фелисидад. Ром понял: он стыдно краснеет, лицо горит, и это гнев и ревность. «И так всю жизнь? Если кто-то посмотрит на нее — я буду так же мучиться? И мучить ее?» Парень прищелкнул пальцами. Ром смотрел на изгиб носа, на выгиб сочных, ярко-красных, как у девушки, вкусных губ. «Это просто тонкие хрящи. И складки плоти. Плоть умрет. Сдохнет. Ляжет под землю. Сгниет. И этого красавчика закопают, а он пялится на мою девушку. На мою девушку!»

Ром дернулся, Фелисидад схватила его за локоть.

Красавчик насмешливо перевел взгляд с Фелисидад на Рома.

Открыл рот, как для поцелуя. Нагло пошевелил между зубами кончиком розового, как у кролика, языка. И запел:

— Я со смертью, жизнь спасая, как-то раз слюбился смело!

Фелисидад громко, грубо захохотала. Ром впервые видел, чтобы она так веселилась.

Еще никогда он не видел Фелисидад такой... разнузданной? Распоясавшейся?

...гордой. Счастливой и гордой.

...и веселой, веселой.

«Сейчас лопнет от смеха. Они все сумасшедшие, что на кладбище так веселятся!»

Она подхватила, громко и фальшиво, песню красавчика:

— Я теперь силен: кося от меня затяжелела!

Взмахнула бурритос, как флагом. Из хлебной трубочки вывалились куски мяса и красная фасоль, полетели в щеку Рома. Упали на плечо, испачкали рубашку. Он вытер щеку ладонью. Соленая щека. Красная кровь подливки. Как вкусно пахнет. Землей, едой, духами Фелисидад.

Он низко наклонился над головой маленькой девушки, почти девочки. Смоляные пружины волос, золотая материна сережка в коричневой раковинке уха.

— Фели, — сказал он, понимая, что хочет убежать отсюда. С праздника ужаса. С торжества скелетов. — Фели, мне худо.

Он еще не совсем хорошо говорил по-испански. Подыскивал испанские слова.

«Они поют и пляшут, а я плачу. Я дрянь. Я тряпка. Я хочу быть мужчиной. Стать мужчиной. Мы не мужчины и не женщины. Мы все скелеты. Скелеты. Все!»

— Я так сказал? Или не так? Как надо?

— Так, — черненькая головка кивнула, смуглая шейка согнулась. — Но здесь же так хорошо!

Ром с изумлением и отвращением глядел, как чернявый курчавый мальчонка, сидя на корточках перед могилой, расколупал пальцами марципановый гробик и вынул оттуда шоколадный скелет. Отламывал пальчиками темное ребро, ступню, берцовую кость. Засовывал в рот. Рома чуть не вытошнило.

«Я тряпка. Если они это могут, то могу и я!»

Внезапно стало весело, будто бы он сидел в цирке и глядел на диких зверей, на то, как через огненный обруч прыгают львы и тигры.

Толстуха протянула Рому еще кусок Pan de Muerto. Он жевал, глаза стекленели, остановились, губы растягивались в улыбке, зубы работали: мололи, перетирали. «Мы едим сами себя. Сами себя».

Мужчина, похожий на черного быка («кольца в носу не хватает...»), открыл крышку термоса и разлил в маленькие бумажные стаканчики, рядом стоящие по периметру надгробия, горячее питье. Пар завивался усиками над стаканами. Мужчина-бык, вместе и торо и тореро, осторожно взял горячий стакан, поднес Рому — заботливо, нежно: так лекарство подносят больному.

— Пей, сынок! Горячий шоколад!

— Пей, — услышал он шепот Фелисидад, — пей, так надо, так... надо...

«Все в жизни надо. Пока живешь — все: надо, надо, надо. И никогда — хочу, хочу!»

Поднес прозрачный стаканчик к носу. Нюхал горячее, сладкое, терпкое. «Вот так и жизнь: трепещет, колыхается в одноразовом стакашке. И мощные жадные губы выпивают, а мощная равнодушная рука сминает стакан. И выбрасывает. И забывает. Не помнит ничего. Никогда».

Ром прихлебывал горячий шоколад и делал вид, что ему весело.

Весело! Так весело!

Фелисидад обняла его обеими руками за талию. Ее лицо уткнулось ему под ребра.

— Ты меня не обманешь. — Задрала голову. — Тебе грустно. Но ты поймешь. Идем танцевать!

Дернула его за руку. Он отшвырнул пустой стакан. Над верхней губой у него нарисовались темные шоколадные усы. Фелисидад потянула его, она тащила его за собой, как локомотив тянет мертвый, тяжелый состав. Шагнула на мрамор, он шагнул за ней.

Они оба стояли на чьей-то могиле. На ровном, белом, сахарном мраморе.

И у Фелисидад были сахарные зубы. И сахарные белки. И горящие свечные зрачки.

И вся она горела черной, сумасшедшей свечкой.

Завела руки за спину. Ром собезьянничал ее движенье. Переступила ногами. Он скопировал. Она еще раз переступила маленькими, будто игрушечными ножками, пошла на него, выпятив грудь, нежную юную птичью грудку. Он попятился и засмеялся.

Наконец-то засмеялся по-настоящему.

Так они, как два петуха, перебирали ногами и то наскакивали друг на друга, то отступали, и оба улыбались, и губы Рома из деревянных и соленых становились сладкими и мягкими, и он на чужой забытой могиле танцевал с Фелисидад сальсу, да, это была сальса, а он пока не знал об этом.

И все на кладбище, в ночи, вместе с ними танцевали безумную, веселую сальсу; друг с другом, с ночью, с факелами, со звездами, со смертью.

И рядом, захлебываясь весельем, играл бандонеон, и перебирал парень медные жилы старой гитары, отцовской гитары; и взахлеб, счастливо пели марьячис — о том, что лучше жизни нет ничего на свете, а придет время — лучше смерти ничего не будет; и мы обнимаем ее крепко-крепко, и поцелуем, ликуя, и возьмем грубо и жарко, как черный бык по весне покрывает красную корову; да не слышал Ром, что поют, половину слов не понимал, видел лишь горящие, огромные глаза Фелисидад, и там жизнь и смерть вместе пылали, две черных свечи.

И взмахнула Фелисидад обеими руками, и крикнула:

— Оле!

И этот поганый красавчик, гореть бы ему в аду, как тут говорят, он уже выучил это выражение, вспрыгнул на мраморный квадрат, схватил Фелисидад за талию, рванул на себя, и вот они оба уже валятся на землю с мраморного эшафота, а он стоит один, растерянный, оглядывается по сторонам, жалко улыбается и понимает: только что, сейчас, вот сейчас у него из-под носа увели, похитили, выкрали его любимую.

Он сжал кулаки.

— Эй! Ты!

Наглец уже обнимал Фелисидад за плечи. И она смеялась!

Ром поднял вверх два сжатых кулака.

Стоя, в сполохах огней, на мраморном саркофаге, он походил на умалишенного боксера, забредшего на карнавал — драться, а тут танцуют, едят и поют.

Он глядел, как они танцевали! Они!

— Вы...

Он соскочил с могилы. Размахнулся. Фелисидад, танцую, все прекрасно видела.

И не остановила его.

«А что, ей любопытно...»

Не успел додумать. Не успел крикнуть. Кулак попал в чужую скулу. Чуть ниже скулы. Под глаз.

«Я первый раз...»

Он никогда в жизни не дрался.

Красавчик пошатнулся.

«Неплохо, черт...»

Падает. Нет! Удержался!

Ром не увидел подножки. Слишком темно. Ночь.

Растянулся на камне, на крошечке, на бумажках, на мраморной крошке, на ночной плывущей, шоколадной грязи.

Подбородок разбил. Губу.

Боль. Везде. Под ребрами. На шее. Под лопатками. На лице. На скулах.  
...бил ногами.  
Он слишком поздно понял — его бьют ногами.  
Фелисидад орала. Люди бежали. Свечи горели и сгорали. Факелы дико трещали.  
«Дикий народ. Смерть — праздник?! Зачем?!»  
— Прочь! — вопила Фелисидад. — Пошел отсюда! Это мой парень!  
«...это она мне или ему?»  
...любовь. Сегодня с одним, завтра с другим.  
Толстуха, угощавшая их бурритос, схватила красавчика за шиворот и завизжала:  
— Ты! Ты предал Смерть! Ты обидел ее! И она к тебе не придет! Никогда не придет! Будешь молить — не придет!  
— Мать, — хрипел красавчик, утирая с лица кровь, — мать, она приходит ко всем, что ты врешь...

Сердце в нем перекачилось, сделало кульбит, другой и остановилось. Ни удара. Ни бубна. Ни тимпанов. Ни тарелок. Ни стука костяшек пальцев по гитарной деке. Ничего. Молчанье. И в полной тишине, разлившейся по всему полоумному кладбищу, на всю ночь, раскатился порванными бусами тонкий крик Фелисидад:  
— Помогите! Мой парень! Он умирает!

## Крылья из марли

Старая Лусия вязала, сидя в кресле. Она вязала всегда, бесконечно: то разноцветный полосатый носок, то длинный, как рыболовная сеть, шарф, то свитер с невероятно длинными рукавами, и никак не кончались рукава, а Лусия не спешила завершать работу, медлила. Распускала петли и перевязывала изделие. Начинала снова. Придирчиво, строго на вязанье глядела.

Фелисидад любила вечерами сесть на пол, на маленькую табуреточку, у нее в ногах, и трогать вязанье, и глядеть на искрение спиц, и слышать тонкий, летящий пухом от высохших тонких губ голос доньи Лусии. Музыкальные пальчики, почти скелет; нежные желтые костяные спицы. Мы все станем спицами под землей. И нами свяжут новые земляные слои. Черные свитера, коричневые шарфы для бешеной шеи огня.

— Лусия, расскажи мне.

— О чем, детка?

— О чем хочешь.

Лусия вздохнула. Вязанье теплой и мягкой рекой струилось с ее колен на каменные плиты пола.

— Я уже так много прожила на свете, что у меня в голове каша из событий и приключений.

— А у тебя много приключений было?

Фелисидад взяла в руки длинный шерстяной рукав, обмотала его вокруг шеи.

— Ты имеешь в виду любовные истории?

— Ну хотя бы.

— Много. — Спицы ритмично двигались, стукались друг об дружку, шуршали. — Жизнь большая. Мужчин тоже много было.

— А почему же ты осталась одна?

— Все умерли.

Так просто. Все умерли, и все.

Холодок прошел по спине Фелисидад. Слушать рассказ расхотелось. Но губы сами спросили:

— А кого ты больше всех любила?

Губы Лусии смешно сморщились. Морщины образовали вокруг рта непонятный, тревожный узор.

— Одного музыканта. Я тогда работала в джазовом оркестре пианисткой. Я хорошо играла. Не хуже Консуэлы Веласкес, а та была превосходная пианистка.

— А он на чем играл?

— На трубе. Золотая труба. Она так блестела в свете софитов. Я не могла отвести глаз.

— И что? У вас были ночи? Много ночей?

— Я вышла за него замуж, — словно про себя, для самой себя, сказала Лусия и расправила на коленях вязанье. — А потом его взяли в армию. И там убили. И все.

— Жизнь и смерть, — сказала Фелисидад, чтобы хоть что-то умное сказать после этих слов, — так всегда?

— Всегда, — шепот полетел во тьму гостиной легче птичьего пера.

— Ты его похоронила?

— Да. Мне в гробу привезли его тело. Оно уже разложилось на жаре, плохо пахло. Даже через крышку гроба доносился ужасный запах. Я, твоя тетка София и твой отец, мы похоронили его на кладбище Сан-Фернандо. А ты знаешь о том, детка, что мертвые приходят к живым?

Фелисидад молчала. Прodelа палец сквозь шерстяную ячею.

— Приходят, и еще как, — Лусия подавила вздох. — Они там живые. Надо это понять. Надо их кормить; поить; ублажать.

— Едой кормить? Человеческой?

— Не только. — Бежали, бежали вдаль костяные легкие спицы. — Они любят нашу любовь. Нашу Силу. Лучше всего отдавать им нашу Силу. Но не всегда. Время от времени. А то Сила в тебе закончится. Уйдет из тебя насовсем. К ним.

Нежный свет тек золотым ручьем от лица старой Лусии, от сухих легких рук. Много музыки щупали, осязали эти руки. А теперь они копошатся в овечьей шерсти. Дети вырастают, и дети рождаются. Детям нужны теплые кофты, теплые носки, теплые телогрейки.

Хавьер присел на корточки, изогнулся и запустил руку под кровать. Пошарил там. Вытащил белое, облачное, сетчатое. Проволока просвечивала сквозь слои марли. Хавьер отряхнул марлю от пыли и приподнял ее над головой.

Крылья.

Он сам сшил, смастерил марлевые крылья. К Рождеству. Скоро Рождество, и елка, елки вспыхнут огнями по всему Мехико. А у него сюрприз. Ангельские крылья. И он — ангел. Он их наденет и полетит.

В комнатенке, где, кроме него, еще ночевал Пабло с мальчишкой Даниэлем, никого. Он один. Он может полюбоваться на крылья. И даже примерить их.

Прodel руки в проволочные петли. Крылья оказались за спиной. В маленькое треснувшее зеркало глядел Хавьер на себя, и у него становилось хорошо на душе.

Приблизил лицо к зеркалу и скорчил рожу. Показал себе язык. Беззвучно расхохотался.



В улыбке не хватало шести зубов — выбили в стычке на свалке. Неужели он жил на свалке? А теперь вот живет в людском доме, среди людей. В семье. Спасибо сеньору Торресу.

Взмахнул руками. Белые крылья дрогнули.

— Я когда-нибудь отсюда на них улечу. Я ангел.

«Только никто об этом не знает».

Смотрел на свое лицо. Гримасничал. Потом застыл, благостно руки на груди сложил. Настоящего ангела изобразил. Получилось.

«Я летал над свалками, над отбросами, и гостил во дворцах королей. Я никогда не умру. Я вижу время».

По лестнице простучали каблочки. Хавьер не успел сорвать крылья с плеч. Дверь распахнулась, на пороге — Фелисидад. В руке у нее резиновый песик, смешная игрушка.

— Даниэль!

Увидела крылатого Хавьера и застыла.

Хавьер задрожал всем лицом. Развел руками. Беззубо, глупо улыбался.

— А я хотел... сюрприз...

— Хавьерито! Я никому не скажу!

Подбежала слишком близко; тормозила. Обнимала за плечи одной рукой. Пальцами другой нажимала на пузо резинового песика, и песик попискивал.

— Правда не скажешь?

— Правда. Какие хорошенькие! Купил?

— Сам сшил. У Лусии нитки украл!

— Ух, молодец!

Взяла песика в зубы. Обеими руками мяла марлю, глядела на просвет. Смуглое лицо, россыпь смоляных пружинных волос просвечивали сквозь белую призрачную сеть.

«Она не знает главного. Я ангел. И она ангел. Мы оба ангелы. Я сошью вторую пару крыльев. Для нее. И мы оба улетим».

Взял в руки, отогнул одно крыло. Приложил марлю к лицу. Так, через марлю, придвинул лицо к Фелисидад. Она не отшатнулась. Просто засмеялась. Красиво смеялась!

И ему стало очень больно.

Хотел порвать марлю. Пальцы скрючились. Прогрызли в марле дырки, как мыши. Фелисидад выплюнула песика, игрушка упала на пол, и шлепнула Хавьера по рукам горячей ладонью.

— Эй! Не порть сюрприз! Это мои крылья! Это мне подарок!

— Правильно. — Раскрыл рот, и глаза круглые. — Верно! Твои! А как узнала?

— Почувствовала!

— А песика мне принесла?

— Нет. Даниэлю!

Фелисидад вертелась перед ним, хохотала над ним, завлекала, соблазняла, утекала черным ручьем. Всем телом говорила ему: да я не для тебя, юрод, дурачок со свалки.

«Да. Кто я такой? Приживал несчастный. А она, она дочь хозяина. Ей найдут хорошего жениха. Достойного. А я, я недостойн».

— Где Даниэль?

— Пако пошел с ним в зоопарк. Даниэль хотел поглядеть на носорога.

Фелисидад хотела убежать. Хавьер поймал ее за руку. Крепко пожал ее руку — и в страхе выпустил.

— Эй! Ты мне руку искалечил!

Дула на пальцы, рукой трясла. Каблуком притопывала.

— Ну, извини. Больше не буду.

Встал перед ней на колени. Марлевые крылья смешно тряслись, будто он плакал, и спина корчилась и тряслась в рыданиях.

Фелисидад положила руку ему на голову. Как королева, а я слуга, подумал он благоговейно.

Так, стоя на коленях, он и спросил ее:

— Хочешь, я расскажу тебе, как ты умрешь?

— Эй! — крикнула Фелисидад. — Замолчи!

Хавьер и не думал молчать. Слова текли из него, как сок из разрезанной агавы.

— Ты умрешь в родах. Ты родишь живого, хорошенького мальчика, а сама...

— Заткнись!

Она испугалась по-настоящему.

— Не от меня, жалко.

— Дурак!

Ее рука замахнулась. Пощечина умерла в воздухе.

Слезы текли по щекам Хавьера. Рот смеялся. Дыры в зубах чернели.

— Ты врешь! Я буду мать огромного семейства! И у меня будет лучший муж на свете!

Печальная, нищая улыбка вошла на лицо Хавьера. Вошла и надолго осталась там.

Так он стоял, глупо разведя руки, в изодранных белых прозрачных крыльях, и проволока позванивала на сквозняке, и шторы колыхались, и битое зеркало отражало пустоту распахнутой двери.

А ночью перед зеркалом у себя в комнатенке Фелисидад молилась. Она не хотела колдовать — она хотела молиться. Кому угодно! Божьей Матери Гваделупской! Богу Улитке! Да просто своей маме, Милагрос! Да просто... кому?

Богу? Она Его не знала.

Времени? Оно шло мимо, всегда мимо.

Звездному небу?

— Отведи от меня плохое! Отведи от меня смерть!

«Смерть», — сказал чей-то странный низкий, глухой голос в углу спальни. Фелисидад нагнулась над полом, выгнула спину. Прижалась лбом к глиняной плитке.

— Уйди...

Роса пошевелилась в кровати.

— Фели, Иисус-Мария, когда ты уляжешься, наконец?!

Фелисидад умолкла. Ощупывала себя: живая, живая.

## Ребенок утонул

Они катались в красивых крытых лодках с широкими днищами на прудах в парке Сочимилько. Лодки как домики: крыши расписные, не лодка, а домик, терем-теремок. Изнутри музыка доносится — там поют! Мальчик-ребец без весла — с шестом: отталкивается шестом ото дна, и лодка плывет вперед.

— Кто поет?

— Марьячис!

— Кто такие марьячис?

— А! Это наши певцы!

— Уличные певцы?

— Ну и что, они и на улице поют, да! И в парках поют! Но они не бродяги. Не нищие! Они — профессионалы! — Фелисидад подняла кулак над головой. — Они еще лучше, чем в опере, поют!

— Я верю.

— Хочешь, я закажу им песню? Для тебя!

— Я сам закажу!

Фелисидад сделала знак гребцу, и он подплыл к лодке, где сидел оркестрик из нескольких музыкантов и стоял и пел молоденький певец. Юноша, беря высокие ноты, прижимал руку к груди. К сердцу. Широколицый грузный седой мулат ловко перебирал струны огромной гитары. Гитара, как пышнобедрая женщина, еле умещалась у него на коленях. Второй мулат, помоложе, наверное, брат главного гитариста, озорно вертел в руках маленькую гитару, гитарку-ребенка. Женщина с высоко взбитым коком беспорядочно завитых волос, закрыв глаза, играла на скрипке, любовно притискивая ее к подбородку. Оркестр не заглушал голоса певца — его невозможно было заглушить, так он был звонок, чист и высок. Тенор, да еще какой. Голосил вовсю. На весь пруд, на весь парк. Ром вынул из кармана купюру, свернул и бросил тенору. Тот поймал.

— Песню для моей любимой! — проорал Ром.

— Какую закажете?! — прокричал певец.

Ром вдруг вспомнил, как бабушка пела, прищелкивая пальцами: «Кто в нашем крае Чилиты не знает, она так умна и прекрасна! И вспылчива так, и властна, что ей возражать опасно... Ай-яй-яй-яй, ну что за девчонка! На все тотчас же сыщется ответ, всегда смеется звонко!»

— Кто в нашем крае Чилиты не знает! — залихватски пропел он по-русски. Марьячи закивал головой, расплылся в улыбке. Подхватил мотив. Импровизировал, крутил и вертел мелодию на ходу. Они уже пели с Ромом на пару. Ром сочинял слова. Перед его глазами стояла бабушка: в черном, усыпанном мелкими цветочками летнем костюме вертелась перед зеркалом, щелкала пальцами, как кастаньетами, откидывала седую голову назад и широко улыбалась губами, щедро накрашенными липкой вишневой помадой. Вот беда, слов не помнил! Придумывал. Пел, что в голову взбредет! Лишь бы в ритм попасть! Лодки стояли рядом, терлись бортами, гребец уперся шестом в дно, Фелисидад хлопала в ладоши, Ром пел по-русски, марьячи по-испански, а скрипачка так взмахивала смычком, что казалось — разрежет скрипку пополам, как брус масла.

Ром осмелел и прыгнул через борт чужой лодки. Встал рядом с марьячи. Широкополое сомбреро парня било Рома по лбу. Ром разглядел серебряную вышивку — оторочку короткополой куртки, узоры на обшлагах. «Позументы», — глупо подумал он.

У всех музыкантов, у певца и у оркестрантов, на груди повязаны банты, как у породистых котов.

Старый мулат тряхнул головой, давая дирижерский знак.

— Ай-яй-яй-яй! — грянули припев марьячис.

Фелисидад послала парню в сомбреро воздушный поцелуй. Сердце Рома прокололи длинной иглой. Он не подал виду. Все так же широко разевал рот — пел. И все же Фелисидад поглядела на парня! А не на него!

«Дьявол, — подумал он. — Дьябло».

— А теперь вот это: besa me!

Обрадованный знакомой мелодией оркестрик грянул «Бесаме мучо». Ром протянул руку Фелисидад: прыгай, мол, через борт! Она не растерялась, руку Рома крепко ухватила, прыгнула из лодки в лодку. Скрипачка вела мелодию в ритме танго. Ром и Фелисидад, под пенье долговязого марьячи, топтались, как два медвежонка, думая, что танцуют танго, на маленьком пяточке деревянного настила на корме лодки. На борту лодки красной масляной краской намалевано: «ХОСНІМІЛСО», и нарисован череп и две скрещенных косточки.

— Не влезай — убьет, — пробормотал Ром.

— What do you speak?

— Disculpeme, — сказал Ром.

— Маэ сэрсэ, — сказала Фелисидад.

— Mi corazon.

Музыку и танец оборвал дикий, долгий, растекшийся горячим маслом по огромному пруду женский крик. Крик затих так же внезапно, как и возник. Музыканты перестали играть. Марьячи перестал петь. Все воззрились друг на друга, спрашивая друг друга глазами: что это?

— Что это? — спросила Фелисидад густой и пряный, жаркий воздух, обращаясь ни к кому — к небу, к воде.

А старый курчавый мулат ответил:

— Кто-то утонул. Думаю, ребенок. А мать кричит.

— Гребите туда!

Гребцы погрузили шесты в воду. Скоро обе лодки уже качались там, где стряслась беда. На носу особо изукрашенной лодки — здесь гуляла свадьба, и на крышу изобильно навертели цветных шелковых лент, серпантина, дешевых ожерелий и бумажных фонариков, — скрючившись, сидела женщина с коричневой, цвета коры старого дуба, кожей; волосы висят вдоль лица, щеки, грудь расцарапаны в кровь. Женщина плакала так неистово, что задохнулась и теперь хватала воздух ртом, как рыба.

— Убейте меня. Убейте меня!

— Что она кричит? — спросил Ром, холодея.

— Она кричит, — Фелисидад вскинула на Рома угли глаз, — что хочет уйти вместе с ним.

— С кем?

— С ребенком своим.

Старый мулат крепко сжал гриф гитары.

— Кто утонул?

— Мальчик.

— Маленький?

— Восемь лет.

— Святая Мария! Не успел пожить! Бедная мать!

Парень-марьячи сдернул с башки сомбреро. Сбросил куртку с серебряной вышивкой. Под курткой оказалась синяя как небо рубаха. Он перепрыгнул на лодку к несчастной матери, сел на корточки рядом с ней, обнял за плечи.

— Я знаю, о чем он ей шепчет сейчас, — сказала Фелисидад. — Он говорит: давай я буду твоим сыном. Он прав. Так и надо.

— Я бы тоже хотел стать ее сыном.

— Давай ты лучше станешь сыном моего отца.

— Твоим братом?

— Моим мужем.

Ром сжал руку Фелисидад.

Он жил в гостинице; она дома; он еще ни разу не был у нее дома; и ни разу они не оставались на ночь у него в номере.

Они оба чувствовали, что и как надо делать; знали, что всему есть свое время; и не торопили время, и не медлили. Они держали друг друга за руки, и время перетекало из руки в руку — теплая, живая кровь.

А утонувший мальчик лежал на дне пруда, и напрасно гребцы и спасатели, дюжие мужики и отважные девушки ныряли в пруд, надеясь отыскать маленькое тело. Кто-то крикнул: «Хватит! Сам всплывет!» Марьячи выпустил из объятий плачущую мать. Сбросил синюю рубаху, скинул брюки. Под одеждой оказался неожиданно красивый, загляденье. Нырнул. Долго не показывался. Ром видел, как тяжело вздохнула Фелисидад. Наконец, из водорослевой, тинной тьмы вынырнула мокрая голова.

— Я его нашел!

Марьячи подплыл к лодке и передал мальчика из рук в руки кричащих людей. Ребенка тут же начали откачивать, поднимали за ноги и трясли, пытаются вылить из него воду, вдували ему воздух изо рта в рот. Напрасно: мальчик был мертв.

— Плыдем обратно. На берег.

Губы Фелисидад дрожали.

— Тебе холодно?

— Мне плохо.

Ром обнял ее за плечи — так, как марьячи обнимал за плечи осиротевшую мать.

— Я согласен быть твоим мужем.

— Ты придешь ко мне домой.

— Да. Я приду к тебе домой.

Его обдало кипятком: вот чей-то дом в иной стране станет его родным домом. Почему так? Зачем так?

На корме свадебной лодки, с которой в пруд упал мальчик, стояла на коленях невеста и плакала, закрыв ладонями лицо. Край длинной фаты упал за борт, намок в темной, зеленой, лягушачьей воде.

Когда они спускались по трапу на берег, занавес на лодке, где сидел оркестрик, откинулся, и на палубу вышел усатый человек, не мужик, а таракан, в такой же расшитой серебряной ниткой куртке, как у парня-тенора. Желваки вздувались. Кадык играл под кожей. Ненавидящим, слепым взглядом провожал Рома и Фелисидад. Закурил сигару. Не докурил. Швырнул в пруд, на плоский гладкий лист нимфеи.

## Душа

**Б**абушка все видела, все.

Она стала все видеть еще тогда, когда ее привезли в больницу; по губам врачей она угадывала — они говорят, что она без сознания; и правда, она лежала тихо и мирно, не двигалась, и странно и прекрасно было видеть свое тяжелое тело сверху — ей, такой теперь легкой и бестелесной. Санитары сгрузили ее с носилок на узкую койку, по-

доткнули под нее простыню с черной казенной печатью и ушли. Потом пришли девушки со шприцами в нежных лилейных руках, долго искали у нее на руках истаявшие за долгую жизнь синие жилы. Когда попадали иглой, когда нет. Под кожей разливались лиловые синяки. Бабушка глядела на синяки сверху, из-под потолка, и жалела себя. Недолго. Вскоре она уже улыбалась над собой и своим бесчувствием.

Она видела, как в палату входит высокий сердитый врач, похожий статью на чемпиона-баскетболиста — огромный, рослый, а все толпятся вокруг него, лилипуты. Врач щупал ее запястье, морщился, поднимал ей веко, хлопал по щеке. Потом махал рукой обреченно: все, мол, бесполезное дело. Но губы врача шевелились, он что-то приказывал лилипутам. И сестры снова и снова тащили шприцы, и впрыскивали в неподвижное тело веселящие кровь растворы.

Она видела, как возле ее койки, где она умирала, собрались больные женщины, что лежали в палате; женщины ахали, воздевали руки, утирали полами байковых халатов глаза — они плакали, и бабушка знала: они плачут по ней. Она хотела им крикнуть из-под потолка: не плачьте, я здесь! — но у нее не было рта.

Хотела заплакать тоже, но у нее не было глаз.

Вернее, у нее были глаза; такие странные, внутренние глаза, и ими она видела все внешнее, весь мир — все моря и океаны, все горы и долины, все войны и зачатия. И Рома тоже видела: вот он стоит на площади незнакомого ей большого южного города, ну да, южного, она видела пальмы, и странные громадные цветы, и темнокожих людей с гитарами в руках; Ром стоит и обнимает смуглую маленькую девушку, очень молоденькую, почти девочку, копна пышных черных волос девчонки лезет Рому в рот, в лицо. Ром целует девчонку сначала в шею, потом в губы, и бабушка понимает: у них любовь, — и вроде бы радоваться надо, и она радуется, и так горько, что она не может им крикнуть об этом!

Внутренние глаза в ней описали круг, обняли землю и закрылись, и на миг она перестала видеть себя. А когда открыла — увидела, как зашевелилось, ожило ее тело. Руки протянулись по одеялу, пальцы стали ощипывать одеяло, натягивать на себя, тянуть к подбородку простыню. Руки будто бы собирали на ней самой расплзшихся по ее телу мелких тварей — жуков, мошек, пауков. Собирали и выкидывали. И еще и еще цепляли и цепляли невидимых червячков и бросали прочь.

А потом руки схватили простынку и потащили на себя, потащили. Лицо закрыть хотели?

Бабушка из-под потолка спустилась чуть ниже к самой себе, чтобы помочь себе закрыть себя казенным одеялом. Не смогла протянуть руки. У нее не было рук.

«Что же такое я?» — удивленно спросила она себя.

«Ром», — прошептали губы старухи, мертвым поленом лежащей на кровати.

«Ром», — повторила бабушка, летающая под потолком, и в этот момент исколотые, в синяках, с обвисшей слоновьей кожей руки перестали шевелиться, упали, скатились с груди, и грудь еще поднималась, и бабушка не слышала утихающие хрипы — у нее отняли слух.

Через миг, другой и грудь подниматься перестала. Все. Тишина.

Тишина.

Нежная и вечная. Как в Раю.

Птицы спят. Звери спят. Все живое спит. Все мертвое тоже спит.

Не спят только жаркие звезды.

Она видела: вошел врач и опять отдавал неслышные приказы. Люди суетились, делали все по указке, по отлаженному ритуалу. Бабушка видела, как ее засунули в целлофановый мешок, подкатали каталку, сгрузили на каталку грубо и равнодушно, как просроченный

залежалый товар, и куда-то повезли; она парила над собой в тесноте тряской машины, сторожила себя, чтобы люди с ней чего плохого не сделали. Но люди были мрачны и послушны, и беззвучно говорили о чем-то своем, не имеющем отношения к ней и к телу ее.

Потом она медленно летела над собой, когда ее несли в старый грязный домик, где были свалены в кучу яркие бумажные венки и стояли длинные деревянные ящики; иные из них были обиты то бледным шелком, то ярким бархатом, иные мерцали голыми деревянными желтыми боками, и бабушка дивилась на эти ящики, пока не поняла: это гробы. В один из гробов грубыми и злыми руками положили ее, предварительно раздев догола, а потом напялив на жалкое нагое тело чистую короткую, как у девчонки, рубашку, а поверх рубашки — длинную, до пят, еще белую льняную рубаху, и бабушка догадалась: это саван. Женщина в белом халате тыкала ей в грудь и что-то сердитое говорила. Бабушка поняла: она ругалась, что на ней крестика нет. «А где же крестик-то? В больнице, что ли, сняли?» — растерянно подумала бабушка, а тем временем новый крестик, на черной бечевке, принесли и на сморщенную шею надели.

Тело лежало в гробу, обитом светлоголубым небесным атласом, и бабушка любовалась на себя: какая она красивая, и как она хорошо лежит, и как ей нежно и покойно! Только одно волновало ее: Ром, где же Ром? Неужели ее куда-то далеко, далеко унесут отсюда в этом длинном и жестком гробу, а Ром так и не увидит ее?

«Это не я, это мое тело, а я вот, вот», — говорила она себе — и не верила себе. Где же я настоящая, раздумывала она, где же я на самом деле, спрашивала она себя. Никто не давал ответа.

Внутренние глаза увеличились и стали медленно вращаться, как у стрекозы, и бабушка увидела: вот Ром в железном бочонке самолета, вот он летит; вот самолет приземляется в странном иностранном городе, и Ром бежит по длинной стеклянной кишке и выбегает прямо в зал аэропорта, и изумленно глядит на бегущие слепящие строки табло прилета и вылета, огни мелькают, и у бабушки, вместе с Ромом, кружится голова. Он снова летит, и она с ним, и ей, никогда не летавшей в самолете, странно и дико чувство полета. «Да я сама летаю теперь не хуже самолета!» — догадалась она — и возгордилась. Вот Ром в поезде, вот в такси; вот он вбегает в старый казенный дом, где лежит ее тело; она ни на минуту не теряла Рома из виду. Он встает перед гробом на колени. Он целует ее! Она видит это. Как она хочет его поцеловать!

У нее нет рук, щек и губ. У нее есть только душа.

Когда она сказала сама себе: «Я душа», — все встало на свои места.

И новая, острая горечь залила ее, налила ее, пустую и легкую рюмку, до краев.

Ром плакал — она улыбалась. Ром шел за гробом — она улыбалась. Ром ехал в катафалке на кладбище — она улыбалась. Ром бросал в могилу горсть влажной глины — она улыбалась. Что толку плакать, если смерть — это радость?

Тело — тюрьма, а смерть — свобода. Она свободна теперь. И скоро она будет свободна от горя и радости. А что станет с душой, когда закопают в землю тело?

«Я скоро это узнаю», — сказала она себе, а Ром в это время глядел, как живо, весело летают лопаты в руках могильщиков.

«Давай споем вместе!» — крикнула она Рому, и Ром услышал. Он раскрыл рот, и бабушка запела его голосом над своей могилой. Впервые на земле они пели вдвоем. Еще здесь. Еще на земле.

А потом совершилось необъяснимое. Чем больше наваливали земли в яму, тем труд-

нее становилось дышать и глядеть. Внутренние глаза заволакивались черной пеленой, будто снова начиналась проклятая катаракта. «Будет вечная слепота?» — спросила бабушка себя — и не успела дать себе ответа: когда края ямы сравнялись с землей, глаза, которыми она, летящая, видела милый мир, закрылись, и осталось только чувство.

Одна душа осталась.

И она парила, реяла, летела. Дышала.

Дыхание. Оно сначала растянулось на выдох.

И выдох длился долго, долго. Века.

Потом появился вдох.

Бабушка вдыхала, и летела, и без мыслей, лишь чувством одним, сознавала себя и душу свою, и мерцала, и гасла, и опять зажигалась, и ровно, ясно горела, и вдох был бесконечен, становясь небом, песней, временем и любовью.

## Индийский нож

**-В**от ты бежишь ко мне, пантера,  
В густой чащобе, моя пантера!  
Огонь твоих глаз меня возбуждает.  
Я вскидываю ружье свое, пантера! —

голосил Алехо, нещадно вертя в руках гитару, и Федерико и Мигель вторили ему, терцией ниже. Ром видел, как Фелисидад переступает с ноги на ногу, как встает на каблук и раскачивается на нем. Откидывается назад. Руки кольцом над головой. Сама — живое кольцо, обвила его сердце. Не вырваться.

Метнулась влево. Вправо. Кукарача наступал на нее, с гитарой в руках.

«Нельзя!» — хотел крикнуть Ром, а глотку будто залили свинцом.

Гитары гудели низко, подземно. Такая музыка будет под землей. Когда мы все ляжем туда. Жаль, мы там ничего не услышим. Мы слышим, видим все только здесь и сейчас.

Танцующая пантера изгибалась то медленно, то стремительно; гнулась и выпрямлялась, показывая, на что способно тело, когда им владеет чувство. Искусство — это чувство. И никогда — логика и разум. Разве есть логика в любви? Разум — в ударе ножа? В вопле песни, рвущейся из глотки под жестокими лезвиями звезд?

Пальцы мяли и крутили струны. Пальцы старались извлечь музыку для потехи и услады, а получалось — для слез и отчаянья. Люди в кафе примолкли. Влюбленная парочка за ноутбуком во все глаза глядела на поющего Кукарачу и на танцующую Фелисидад, открыты совсем по-детски. Ром сжался, как для прыжка. Понял: что-то сейчас будет.

Никто не знал, что звучит последний куплет.

— Вот я стреляю в тебя, пантера!  
Вот пуля прошила твою шкуру, пантера!



Вот ты лежишь у ног моих —  
И я поднимаю тебя и обнимаю тебя, пантера!  
И я шепчу: не умирай, пантера!  
И я плачу: я виноват, пантера!  
Я охотник, а ты зверь, но это ничего не значит.  
Прости меня! Я люблю тебя, моя пантера!  
Прости, что я убил тебя, прости!

Когда Алехо допевал песню, Кукарача, вертя в руках гитару, подходил к Фелисидад все ближе. Фелисидад вертелась на одной ноге, ее юбки разлетались веером, по румяным щекам тек пот. Ром не успел ничего понять. И вмешаться уже не успел. Кукарача с размаху бросил гитару на пол, она простонала всеми струнами. Он схватил танцующую Фелисидад за талию, подбросил ее вверх, она и пикнуть не успела, как уже лежала у него на плече. Оглушительно свистнув и дав знак марьячис: «Играйте дальше и пойте!» — он двумя широкими прыжками перелетел зал, толкнул дверь на кухню. Судомойка Ирена выронила из рук поднос: он шмякнулся на пол, стаканы, бокалы, рюмки и тарелки покатались на пол, разбились с морозным звонким треском.

Ром больше не видел ничего. Тьма залепила ему глаза. Во тьме, незрячий, он вышел вон из-за стола, пошел, протянув вперед руки, натыкаясь на столики, на чужие локти и плечи, на хлопок рубах, на трикотаж маек. Падали бутылки, и вытекала из них пьяная жидкость, которой люди утешались в горе и в радости. Переступали ноги, и шел Ром вперед, все вперед и вперед, не зная, где из проклятого кафе выход. Чье-то тело преградило ему дорогу, как если б он был река, поток.

— Ты! — Женская рука схватила его за ухо, за ворот рубахи, трясла, трепала. — Ты, очнись! Ну и что, девчонку увели! Не сахарная! Не растает!

Вусмерть пьяная хозяйка кафе Алисия качалась перед ним туманной насмешливой тенью. Сигарета падала на пол из угла ее рта, сползла сначала на плечо, потом на грудь, она вскрикнула от ожога, ловила сигарету пальцами, не поймала, зло раздавила на полу носком истоптанной туфли.

Когда Таракан унес Фелисидад, утащил на глазах у публики, Ром впал в ледяное оцепенение. Бесчувствие обняло его. Он не помнил, сидел или стоял; помнил только сведенные потусторонней твердостью мышцы, невозможность вращать глазами яблоками, глядеть туда и сюда. Кольнуло в сердце. Он сделал вид, что ожил. Фелисидад украли у него из-под носа, а он спит. Его тело спит. Его разум спит. Спят бокалы на столиках, спят ноги людей под столами — в сандалиях, в кроссовках, в сапожках, в плетеных тапках. Босые ноги. Есть и такие. Босиком удобней танцевать.

Все спит. Спят зерна кукурузы в блюде. Спит терпкий напиток из кактусов нопалес, опалесцирует в стакане. Спит кофемолка, спит кипятыльник. Люстры, качаясь, тихо спят под потолком. Спит нежный свет, струющийся от них.

— Эй ты! Парень! Умер, что ли! Твоя девчонка?! Беги за ними!

Он шел к выходу из кафе сквозь сон. Спящая на ходу Алисия лианой согнулась, отпрянув от него, чтобы он невзначай не уронил ее. Сигарета выпала из ее рта на пол, тлела; уснула. Сонная Ирена выше подняла поднос с рюмками и тарелками, над головой Рома. И Ирену он едва не сшиб.

— Эх, как напился! На ногах не стоит! Не догонит!

Вышел на улицу. Улица спала. Он один бодрствовал, а город спал. Сейчас он пойдет по городу, сам не зная куда, и гулками шагами разбудит дома и крыши, азалии и агавы. Памятники сойдут с пьедесталов и обнимут его чугунными черными руками, утешая. Зачем жизнь? Зачем жить, если нет любимой?

— Что с тобой они сделают? — шепнул он сам себе твердыми, стальными губами.

«Иди, иди, — говорил Ром себе, — иди, пожалуйста, иди, не останавливайся, не оглядывайся. Никогда не оглядывайся назад».

Странный комок тьмы, черный колобок, покотился поперек его пути. Ему под ноги; мимо его ног. Ром не уследил, человек это, кошка ли, собака, а может, носуха или обезьяна. А может, птица пролетела.

Но шел — и чувствовал на себе неотступный взгляд. Птичьи круглые глаза. Зрачки окон. Слезные глаза собаки. Плывущие жадной влагой живые сливины озорной, наглой носухи. Печальные, человечьи глаза обезьяны, что все знает про человека, про его злобу и горе, только молчит.

«Кто на меня смотрит?» Оглянулся. Никого. «Смотри, смотри на здоровье».

Метнулся по пустынной улице. Вжикнула по асфальту машина. Богатая, «Роллс-ройс». Черный лак блеснул, мигнул уже на повороте. «Когда я стану знаменитым ученым, открою новую звезду, много новых звезд и новых планет вокруг них, я тоже стану богатым и куплю такую».

Неожиданно навстречу выкатилась старинная повозка. В ландо сидела миловидная женщина, ее гладкие иссиня-черные волосы были заколоты на затылке в тяжелый, величиной с ананас, пучок. На козлах, как пьяный, качался кучер.

Поравнявшись с Ромом, кучер свистнул в сложенные кольцом пальцы.

— Э! Мачо! Садись! Дама не будет против! Куда тебе?

Ром помахал рукой: езжай, не сяду. На груди у черноволосой женщины сверкнуло украшение — перламутровая раковина. Раковина мирно лежала в ложбинке между грудей, в низком вырезе платья. Лоб и глаза дамы закрывала невесомая черная вуаль.

«Как в старину. Как из прошлого выехали. Со старой фотографии. Может, я сплю, и это мой сон?»

Цокали копыта. Лошади выворачивали шелковые шеи. Это не копыта, а кастаньеты. Сейчас он свернет за угол, и океан пахнет в лицо. Это не Мехико, а новогодний Масатлан. И они с Фелисидад еще не поужинали. Еще не поели его нелепых, горячих, невкусных беляшей. Слишком много перца! Слишком много соли!

— Мальчик, ты что бродишь один? Забирайся! Прокатимся!

Ром зажал руками уши и побежал вперед, все быстрее и быстрее.

Он метался по Мехико. Он все более становился безумным. Оказывается, безумие страшно близко, а он и не знал. Какая тьма! Только шагни туда! Он подбегал к обрыву — тьма шевелилась, вспучивалась на дне пропасти, — опять отбегал, бормотал себе: «Рано, не время, я не хочу туда». Кричал на весь Мехико: «Фели! Фели! Где ты!» — а на самом деле лишь разевал бессильный рот, и беззвучный крик не достигал ни звезд, ни сердец.

Люди спали. Мехико спал. Мексика спала. Зачем она уснула так крепко, так навек!

«Господи, ведь Ты есть. Я сейчас проснусь в России, в своей детской кровати. Я, взрослый, уже давно вырос, и ноги мои сквозь прутья кровати торчат, а все в ней я, ребенок, проснусь».

Остановился. Руки взлетели над головой.

— Фелисида-а-а-а-ад!

Эхо отскочило от желтых, белых и розовых стен, от старинной испанской кирпичной кладки, от дверей стеклянных ледяных офисов, от черепичных и жестяных крыш, вернулось к нему россыпями сдавленных рыданий.

— ...а-а-ад... а-а-а-ад...

«Это ад», — он поднес к лицу сжатые кулаки.

Мехико. Его рай и ад.

Его жизнь.

Его...

«Не думать. Об этом — не думать! Рано еще!»

Но уже подходила, торжествуя, подступала, обнимала обеими руками, подставляла подножку, валила наземь боль. Он знал ее. Он мирился с ней. Он восставал против нее! Он ненавидел ее!

Он пытался полюбить ее.

Он уже почти любил ее.

Потому что это была ЕГО БОЛЬ.

И больше ничья.

— Не падать, — сказали губы, — стоять! Фели! Я найду тебя!

Рука нашарила в кармане джинсов таблетки. Расковыряв упаковку, он вбросил в рот сразу две, три. Нечем запить. Глотал и давился. На газоне дивились на него, крючась от боли, красные, розовые и белые тюльпаны.

Отдышался. Нагнулся. Сорвал тюльпан. Прижал к лицу. Поцеловал.

— Фели, я так целую тебя...

Брел сквозь боль вперед, все вперед.

Улицы. Улицы. Улицы.

Площади. Площади. Площади.

Каменные фонтаны. Осыпаются балконы. Вьются гирлянды резных виноградных листьев.

Сейчас на балкон выйдет девушка, в руках светильник, а может, свеча, а может, керосиновая лампа. Время смещается. Время сдвигает каменные плиты. Червь твоей боли прогрыз во времени дырку — и вышел с иной его стороны. Гляди в отверстие. Сам ползи по ходу боли, как червяк. Ты выйдешь во взрыве света, в ослепительной радости. Ты забудешь все, что плохого случилось с тобой.

Фели, где ты? Твои смуглые голые ноги. Твои глаза-маслины. Твой костяной гребешок в лесу волос. Губы твои, тюльпаны, не вянут. Я знаю, что с тобой сделали. Знаю! Но это же ничего не изменит! Ни в тебе, ни во мне!

Переулки. Тротуары. Мостовые. Обточенные сотнями тысяч ног древние камни. Фели, мы взбирались на пирамиду, и оттуда, сверху, видели наш мир. Никогда не ползи в отбросах, червяк! Всегда пари в небесах и гляди на горе сверху, орел!

Улицы. Площади. Подземные переходы.

Я тебя не найду. Я найду тебя.

Я — найду — себя.

Боль усиливалась. Ром понимал — дело плохо. Останавливался то и дело, вытирал обильный пот со лба, уговаривал себя: да нет, все ничего, пустяки, чепуха, бывало и хуже. Он брел, уже теряя сознание. Сердце превратилось в сплошной клубок боли, и чьи-то

озорные, похожие на кошачьи, когти пытались распутать его, катали по асфальту, по крышам, по тверди черного неба.

Он, медленно погружаясь во тьму беспамьяства, вывалился из-за угла — и тут увидел их. Фели и этого марьячи. Они лежали друг на друге. Истекали кровью.

Ноги сами поднесли его к ним. Крик вышел из груди сам. Тело существовало отдельно от него, помимо его. Он был — боль, и она одна была настоящей, жила и двигалась.

Руки схватили Фелисидад за плечи. Оторвали от марьячи. Перевернули Фелисидад на спину.

Глаза всматривались в ее лицо, торопливо, жадно, налившись ужасом и счастьем, ощупывали ее тело: жива! Ранена! Здесь! Нашел!

Ром не заметил, как с асфальта медленно поднялся марьячи.

Не увидел, как взлетел нож.

— А-а! Что ты...

Лезвие мягко, глубоко вошло чуть выше ключицы. Кукарача метил в сердце. Промахнулся.

Нож скользнул вверх и вбок, от ключицы к плечу. Тело Рома медленно, медленно, как во сне, оседало на землю, оплывало горячей свечой, падало, заваливалось набок, плыло, и руки взмахивали, разрезая тугой воздух.

— Что ты... — Изо рта толчком выплеснулась яркая кровь. — Ты...

Мысль парила. Жила отдельно. Еще жила. Летела.

Живот напрягся. Подобрался. Подтянулся. Живот был живой.

И лоб был живой: мыслил.

Ром приподнялся, лежа на дороге, на локтях.

— Ты... я... поборюсь с тобой... гад...

Марьячи крепко держал страшный индейский нож.

— Откуда ты... взялся?

— Оттуда.

Боль мешала ему говорить.

Марьячи сделал шаг к Рому. Фелисидад лежала на спине. Ее глаза неподвижно глядели в далекое пыльное небо, сквозь гарь и смог просвечивали нежные тычинки звезд.

— Я тебя убью!

Тело Рома превратилось в сгусток медной проволоки и жгуче, бредово, тягуче раскрутилось, виток за витком, вверх, с земли, навстречу Кукараче.

— Это я тебя убью!

Стояли друг против друга.

И девочка, в крови, лежала на дороге.

На пустой сонной каменной дороге. Без машин. Без людей. Без лошадей. Без жизни.

И лежали рядом с ними, и поблизости, и поодаль трое мертвых: Алехо, Федерико и Мигель.

Они были мертвы или прикидывались?

Никто не знал.

А может, их тела сшили из тряпок и набили ватой, и вместо ртов у них расстегнутые «молнии», и серебряный замок на лоскутном шаре лица блестит каплей стекающей слюны. И можно подойти к тряпичным куклам, и ножом взрезать им животы, и медленно, полоску за полоской, вытащить из разрезов поролон, и марлю, и вату, и старые рваные газеты. Разбросать кукольные кишки по искрящемуся в лучах Луны асфальту. Вцепиться в

глаза-пуговицы и оторвать их. Пусть повиснут на нитках.

Кровь текла, гранатовый сок, клюквенный кислый нектар, темно-алое, черно-лиловое терпкое вино, «риоха», «салинас».

К лежащим и дерущимся в ночи на пустынной улице выбежала собака.

Собака была странная: тело длинное, поджарое, хитро-юркое, гладко-скользкое, черно-коричневое, сходное со статью добермана, а морда — огромная, мрачная, грузная, и пасть открыта, и язык до земли висит, и уши стоят сторожко, как у овчарки, и вдруг валяются, как у легавой; устрашал вид собаки, к такой не подойди не то что ночью — днем: хуже волка глядит, кости из лап торчат мощные, глаза красным нездешним огнем вспыхивают.

Пес подбежал к лежащему на дороге Мигелю. Обнюхал его. Лизнул рану. Зарычал. Сунулся к Федерико. Вцепился зубами в толстую неподвижную руку, затряс, заворчал. Припал на лапы. Распрямился. Сделал стойку на Алехо. Но к нему не кинулся — рванулся к Фелисидад.

И сел рядом с ней. И морду вверх задрал. И завыл.

И откуда-то, как с Луны свалился, как из звездного решета на землю высыпался, непонятно, то ли балкона прыгнул, то ли из газона георгином вырос, воздух кудлатой башкой боднув, возник парень.

Парень шел и шатался, и заплетал ногами, и кусал губы, и лицо его, бледно-мучнистое, все исцарапано было, будто в рывинах, в оспинах, в ямах. Зубы скалил — не хуже пса.

Ах ты, пес приبلудный. Кусок чужой ешь и не благодаришь.

Спасибо, хоть не кусаешь. А только лаешь. И лай твой хриплогорлый, надсадный.

Ночами напролет от тоски лаять можешь.

Парень сделал из тьмы в круг света шаг, еще шаг, еще шаг.

Присел рядом с Фелисидад. Рядом с собакой.

Пес выл и выл, задрав морду вверх, закрыв глаза.

Нос пса маслено блестел, испачканный кровью. Или вином. Или клюквенным соком.

Лохматый парень потрясенно потрогал бездвижную Фелисидад, глядящую застывшими глазами в высокую черноту неба.

— Сеньорита, — сказал парень. — Фелисита. Любовь моя!

И ресницы Фелисидад качнулись воробьиными крыльями.

Глаза ее стали видеть. Она повела глазами влево, вправо. Поглядела прямо перед собой, вверх. Увидела лицо парня. На ее щеках вспрыгнули две ямочки. Она силилась улыбнуться.

— Хавьер, — сказала она, и ее голос отделился от нее и поплыл в воздухе, чужой и странный. — Ты что тут делаешь?

Ром сделал шаг к Кукараче.

— Таракан проклятый!

Протянул руки.

Кукарача полоснул по ним ножом.

Каменное лезвие поранило Рому ладони.

Раненый, с красными липкими руками, он все равно шел на Таракана, двигался, знал: он не упадет, — чувствовал: рана не смертельна. «Я успею. Он вооружен, а я голый, но я смогу!»

Приبلудный пес вскочил и рванулся. Как с цепи сорвался.

Пес ухватил Таракана за штанину. Схватил зубами за локоть. Пес прорывался выше,

вверх, к горлу, и дышал тяжело, и красный огонь в глазах подо лбом, в двух глубоких впадинах в калавере, становился коричневым, потом черным.

Ром сам не знал, как это получилось. Вывернуть руку. Завести за спину. Простой захват, но трудно это, когда рука врага с ножом. Собака выручила. Вовремя локоть ему куснула. Кукарача завопил, нож упал на асфальт, далеко отлетел, покатился. Звон камня о камень. Камень — кость земли, ее калака.

«Есть живые камни, Фелисидад рассказывала, они ходят вокруг горы, только очень медленно, передвигаются незаметно для людей, и так обходят гору за тысячи, за миллионы лет».

Силы вырвались из груди вместе с выдохом. Ром упал на Фелисидад, крест-накрест. Их тела образовали живой крест. Хавьер, с собачьей мохнатой головой, с песьим лицом, рот раззявлен, язык горит и исходит слюной, крепко держал Кукарачу за кисти рук, набычился, буравил глаза глазами.

— Ты! Что натворил!

Кукарача сплюнул. Он весь мелко трясся.

— Это не я! Это она!

— Кто?!

— Пантера!

Кивнул на Фелисидад. Руки Фелисидад обнимали шею Рома. Губы шептали, что — не разобрать. Пес тоже лег на асфальт, рядом с влюбленными, положил морду на колено Фелисидад.

— Какая еще пантера, мать отдубасить твою?!

— Где... где...

Глаза Кукарачи метались. Он вертел головой. Сделал попытку высвободиться. Хавьер держал крепко. Тоскливо посмотрел Кукарача на лунный блеск далеко откатившегося ножа.

— Ты с ума сошел, — сказал Хавьер.

Кукарача поглядел в лицо Хавьера — и обомлел.

Вместо лица Хавьера на него смотрела морда пса.

Лохматая шерсть. Алые зрачки. Чуть подрагивает вздернутая губа над лунными клыками.

— Ты! Вон пошел!

Кукарача изловчился и пнул пса ногой в лохматый грязный бок.

Руки, кто держит его руки?!

Может, это Ром встал и опять вцепился мертвой хваткой ему в запястья?!

Искал глазами. Шарил по земле. Никого. Никого. Ни собаки. Ни девчонки. Ни чужака, ее хахаля. Никого! Ничего!

— Ничего, — глухо, пусто вылепили губы, будто свистнули в крохотную глиняную свистульку.

Пес зарычал.

— Провались, пес, — стараясь говорить холодно и надменно, произнес Кукарача, а душа уже ушла в пятки и изнутри колола их длинными иглами последнего страха. — Сгинь. Ты мне видишься. Ты снишься мне! Я! Сейчас! Проснись!

Он понимал: сейчас пес изловчится, сделает последнее усилие, оттолкнется задними лапами от искристого, алмазного асфальта, подпрыгнет вверх, и веселые мощные зубы клацнут у него на горле, и все кончится разом. «Я слишком много сегодня у Алисии выпил текилы», — подумал он, а перед глазами вдруг отвесно, как срез скалы в горах, встала напоследок картина: отец над мертвой матерью, и мать щедро испещрена письменами ца-

рапин, ожогов и гематом, синяки образуют на ее теле, на нагих полных плечах, обнаженной груди, лице, шее, бедрах невероятную, скорбную вязь, подобную древним письмам майя, найденным людьми на тайных гробницах в золотых снаружи и черных внутри пирамидах; мать лежала лицом вверх, как давеча Фелисидад, бессмысленно и беспомощно, уже никогда не встанет, а отец низко наклонялся над ней, будто разбросанные по полу спички собирал, нагибался ниже, ниже, еще ниже, и закрывал уродливое лицо руками, и пытался задавить в себе рыдания, так давят в грозном пьяном кулаке спелый мандарин или зеленый лайм, и плакал, плакал, плакал, и вместо слез по морщинистому, как старый мятый сапог, лицу текила текла.

## Красная «риоха»

-Ф

ели! Ты ранена!

— Ром! Ранен!

Они ощупывали лица и раны друг друга.

— Я перевяжу!

Фелисидад ухватила себя за подол юбки и с силой рванула. Ткань с хрустом разлезлась под ее пальцами. Одна оборка, вторая. Еще взять в зубы, и разделить надвое. Тогда будет совсем как бинт.

— Сядь. Подними руку!

Ром поднял руку, будто салютовал на параде. Фелисидад быстро и умело, как заправская медичка, перевязывала рану.

— Она только с виду страшная. Хорошо, он ударил вверх! Сухожилия не задел? Пошевели рукой! Покрути!

Ром послушно шевелил, сжимал и разжимал пальцы, крутил руку в плечевом суставе.

— Отлично!

Пока она делала ему перевязку, боль ушла вон из сердца.

Уходила медленно, нехотя, растворялась в ночи. Шептала: я еще приду, не надейся, что расстался навеки со мной.

— Мы живы, Фели.

Губы не слушались его от радости.

— Я-то что! — крикнула Фелисидад. — Ты — жив!

Он сидел на дороге, любясь на ее атласную повязку.

Она села рядом, засмеялась, взяла Рома за руки, потом заплакала.

Он прижал ее к груди. Сморщился от боли.

А потом — от боли — как от щеютки — засмеялся.

— А где все? — спросила Фелисидад. — Ну, все? Где?

Огляделась.

И Ром огляделся.

Они сидели на дороге, обнявшись, смеясь и плача, и осматривались.

Никого. Ничего!

— Черт, — сказал Ром, — черт, черт...

Фелисидад подняла раненую руку и задрала рукав. Потом засучила рукав рубахи Рома.

Кровь текла по руке из-под повязки. Фелисидад прижала свою руку к руке Рома. Потерла кожей об кожу. Притиснула крепче.

— Видишь, мы теперь не только возлюбленные.

— А кто?

Он слушал очень внимательно.

— Крови смешались. Мы теперь родные.

— Мы и так родные.

Он улыбнулся. Фелисидад пальцем вытерла ему кровь, как красные усы, над губой.

— Нет. Теперь ты мой. Ты — моего народа. Моя кровь вошла в твою кровь.

— Когда у нас родятся дети, вот тогда кровь войдет во кровь.

Он почувствовал, как твердым стало ее тело.

— Не огорчайся. Что было, то было. Это испытание. У многих так. Первый блин... — он искал испанское слово, — комом. Ну, комком. Комочком.

Он слепил пальцами, как сдобного жаворонка, невидимое тесто.

Фелисидад засмеялась.

— Почему блин комком? Каким еще комком?!

— Смейся, я люблю, когда ты смеешься. Так у нас в России говорят.

— А зачем, — черные вишни глаз влажно сияли, — блин комом?

— Ну, не все получается с первого раза. Поняла?

— А! Поняла! У нас на пруду, в парке Сочимилько, марьячис говорят: давайте играть сразу во второй раз! Нет, Ром, а где же все?

— Кто — все?

Он еще раз оглянулся.

Вспомнил все.

«Ей нельзя говорить о том, что было. Нельзя — вспоминать».

— Не знаю. Честно.

— А почему мы ранены?

— На тебя напали, и я дрался.

— Кто напал?

— Пес знает.

— А почему мы ничего не помним?

— Пьяные были.

— А где мы напильсь-то?!

— В кафе у Алисии.

— И кто нас так порезал, санта Мария?!

— Пес с ними. Они все убежали. Не догонишь.

— Что за игрушки!

— Это не игрушки. Все серьезно.

Он неподдельно, радостно хохотал.

«Ты должна мне поверить. Должна».

— Тебе больно?

— Нет. Не очень. Так, немножко. А тебе?

— Вообще не больно. Царапины.

Она тоже изо всех сил старалась его обмануть.

— Врешь.

— И ты врешь!



Оба засмеялись вместе.

— Как же мы домой пойдём?

Светаёт. Тают звезды. Наливается синим соком агавы пыльное небо.

Фелисидад глядит на красные лужи на сером асфальте.

— Что это, Ром?

Показывает на кровь.

И он опять врет, и не краснеет, и губы кривятся в усмешке:

— Вино ребята пили. Разлили. Классная «риоха». Я пробовал. С ними. Они угощали.

Фелисидад вздыхает.

— А я в это время где была?

— Ты? Танцевала. Здесь, рядом! На террасе кафе! Тебя мальчик угостил марципановой калакой!

— А!

Кивает. Делает вид, что верит.

— День мертвых закончился, — говорит Ром.

— Ночь мертвых, скорее, — отвечает Фелисидад.

Глаза их — последние звезды. Бедра и руки играющими рыбами плывут в уходящей ночи.

— Домой надо. Мама будет волноваться! Как мы пойдём? Я не знаю, где мы! Мехико такой большой! Я никогда не была в этих местах!

И тут из-за угла выкатилось ландо. Красавица в крупносетчатой черной вуали все так же кокетливо сидела в повозке, и все так же крутил усы толстый кучер, косясь на подгулявших девицу и паренька, раскрашенных с головы до ног пятнами сурика и киновари.

— Ну, как попрасидновали, молодежь? — возопил кучер. — Садись, подвезу! Энрике предлагает только один раз!

Красавица томно закатила глаза. Нарисованные брови дрогнули. Дама вытащила из-за пазухи веер, развернула его, и взмахи черных страусиных перьев растревожили сухой воздух, и волны сладких и пряных духов поплыли от фарфорового точеного личика на Рома и Фелисидад, вызывая в памяти умершие давно на сломанных и сожженных праздничных столах пироги, погибшие тосты, разбитые бокалы с дорогим вином, рассыпанные жемчужные ожерелья, рваные края старинных коричневых фотоснимков — сепия, сажа, сиена жженая, туманный негатив, ободранная за долгие века серебряная амальгама на исподе треснувших зеркал, съеденная молью бархатная обшивка семейного альбома, нежные лепестки засохшей лилии, найденной в древней книге, где еще не разгаданы смертные, живые индейские, доколумбовы письма.

Они ехали по утреннему Мехико, и Ром держал руку Фелисидад в своей руке.

«Только не разрешать ей думать. Вспоминать. Этого нельзя».

Он мыслью сказал ей: не думай, а только чувствуй.

И она мыслью ответила: да, любимый. Я вдыхаю утреннюю прохладу и чувствую запах старинных духов.

— Вас как зовут? — спросила она даму под вуалью.

Женщина тонко и длинно улыбалась, ее изогнутые губы тоже застыли, как нарисованные на выгибе китайского фарфора.

Фелисидад отвернулась от нее. Фыркнула.

— Не хочешь говорить — не надо... цаца...

— Я знаю, как ее зовут, — сказал Ром.

— Ух ты! Ты что, знаком с ней? — Фелисидад подозрительно сощурилась. Закусила губу. — А ну, признавайся, где с ней танцевал! А может, и...

— Ее зовут Фелисидад, — сказал Ром.

— Что ты мелешь!

Кровь медленно подсыхала на коже, поверх шелковой повязки. Фелисидад смущенно посмотрела на свои ноги. Юбка заметно укоротилась. Красавица усмехнулась накрашенными губами. Глядела на их выкрашенные сумасшедшей красной краской руки, ноги, плечи. Кучер погонял лошадей.

Ландо медленно ехало по Мехико, и солнце вставало, и Луна, пугаясь, исчезала за тучей, и выходили на улицы первые работники, спешили делать дело, глядели на часы, напевали, курили, бросали окурки в урны и прямо на асфальт, семенили старушки за молоком и хлебом, ибо одна за другой уже открывались молочные лавки и булочные, где так сладко, вкусно пахло свежесдобленным хлебом, и из распахнутых дверей кофеен тонко тек запах свежесмолотого кофе, и нежно глядел Ром на Фелисидад, пожимая ей руку, и это было прекрасней всего — жить и сознавать, что все впереди.

## Родня

**Б**абушка Рома не помнила, не понимала и не знала, сколько времени она летает над землей, легкая, как ветер.

Она забыла о том, что ее тело лежит под землей. Ветер и полет стали ее уделом; и она не жаловалась на такой поворот событий. У нее не было глаз, чтобы видеть — она видела душой. Не было слуха — она слышала душой. Она не могла осязать и вдыхать — это делала ее душа, различая множество запахов, ощупывая мягкое, твердое, липкое, жгучее.

Душа обнимала невесомым дыханием весь черный круг земли. Иногда душа, ощущая радость, хотела смеяться, но у нее не было рта, чтобы смеяться и целовать.

И слезы, если душа горевала, чуя чужое страданье, текли внутри, невидимые и золотые, и тут же таяли во тьме.

Шли дни, шли годы, а душа, летая над землей, забывала вчерашний день и вчерашний год; лишь одно помнила душа, странствуя над миром — Рома; потому что Ром всегда и всюду помнил бабушку.

Бабушка видела и знала все, что происходило с Ромом и Фелисидад.

И, летая в широком небе, она могла видеть глазами души и говорить голосом души с умершей родней Фелисидад — с ее предками, с ее мертвыми бабушками и дедушками, дядьями и тетками, с вереницей людей, ушедших во тьму веков, чья солнечная кровь в Фелисидад текла.

Так встретила бабушка Рома в небе бабушку Фелисидад, Лилиану Торрес; бабушка протянула к ней невидимые руки, окликнула ее неслышным голосом, и Лилиана увидела ее и улыбнулась ей.

«Я знаю тебя, душа, — сказала Лилиана Торрес, — моя внучка любит твоего внука».

«Больше жизни», — подтвердила бабушка.

«А правда, моя внучка очень красивая? Ты видела ее сверху, летая над Мехико?»

«Правда, — ответила бабушка, — твоя внучка очень красивая, красивее всех девушек в мире».

Лилиана довольно улыбнулась, и душа бабушки увидела нежную улыбку другой души.

«А правда, мой внук лучше всех парней в мире?» — еле слышно спросила бабушка, смущаясь своего дерзкого вопроса, ибо в нем таился ответ.

И Лилиана Торрес ответила:

«Правда, святая правда».

«А правда, что наши с тобой внуки — пара?»

И так ответила седая Лилиана Торрес, разбившаяся на самолете, не долетевшая до красивого, как крупный бриллиант, итальянского озера Комо:

«Конечно, сеньора Зинаида, они пара, настоящая пара. Лучшая пара в мире».

Душа превратилась в порыв ветра. Душа взволновалась.

Хотела заплакать душа от восторга и печали, но не смогла.

И спросила тогда:

«А откуда ты знаешь мое имя, Лилиана Торрес?»

«Оттуда же, откуда и ты мое».

Поблизости от старухи Лилианы Торрес бабушка видела множество летящих в воздухе фигур. Прозрачные, похожие не метельные вихри тела сшибались, сталкивались, обнимались и разъединялись, улыбались плачущими лицами, скалили зубы голых калавер, сияли еще живыми слезными глазами, разрывали кольца крепко сплетенных рук и ног, падали и опять поднимались, и многих бабушка узнавала в лицо: мертвые родичи Фелисидад Торрес летели рядом с ней, обступали ее, водили вокруг нее в небесах, как вокруг новогодней елки, вьюжные хороводы. Свист ветра! Ширь неба! Седая сеньора Лилиана Торрес на миг замешкалась, слепо и неловко подалась вперед, будто хотела обнять бабушку. И бабушка к ней полетела по холодной, обитой звездной парчой пустоте.

Душа хотела душу обнять.

Налетел ветер. Свились в клубок души, тела, снега. Нахлынули океанские воды. Снизу, из-под земли, восстала волна огня. Пасть пантеры раскрылась. Запели, распутив синие хвосты, павлины в маленьких золотых коронах на крошечных головах. Закачались на морозе березы. Над пирамидой Луны зажглась Луна. Керосиновая лампа, при ее свете можно читать древние книги. Разбирать забытые символы и говорящие знаки.

Обнять! Прижать к груди! Мы же родня!

...не смогла.

И, исходя вечными слезами, так сказала душа Рому: Ромушка, услышь запах теста от моих рук, и запах жареных беляшей, и запах духов «Красная Москва» от моего седого, на затылке, пучка; и узнай мое цветастое платье, в нем я танцевала с тобою танго, и большое зеркало в спальне нас отражало. Попробуй мою еду, не забывай ее! Только я готовила тебе холодец, только я натирала на терке едучий, пахучий хрен. И крошила в фарфоровую салатницу селедку под шубой. И запекала курицу в духовке, посыпав ее резаным чесноком. Ты помнишь мои песни? Я помню, как ты их слушал! Я все помню! Помни и ты!

Помни. Не забывай.

Я-то тебя никогда не забуду.

Я буду ждать тебя здесь.

Ведь я люблю тебя больше всех девушек и женщин твоих, что будут еще у тебя в жизни, и даже больше Фелисидад, сужденной жены твоей; я твоя бабушка и мать, бабушка и отец, бабушка и сестра, бабушка и жена, бабушка и дочь, бабушка и внучка, бабушка и небо твое. Так, как я, не будет любить тебя никто; и я больше всех людей на земле и в широком небе люблю тебя.

Ром поднял голову с подушки. Ночь. Фелисидад спит.  
На ее груди больше нет золотого крестика бабушки Лилианы.  
Они закопали его на кладбище, помяная их нерожденного ребенка.  
«Бабушка рядом», — подумал Ром.  
Привстал на локтях. В окно светила полная Луна.  
Он втянул ноздрями запах беяшей.  
Нет, брось, что ты, с ума сошел, это донья Лусия, бессонная, призрак, сухой листок, неслышно жарит на кухне тако.  
А песня? Ведь была песня! Он слышал!  
...это сеньора Лусия на кухне поет.

Она поет о Солнце, что никогда не заходит на Севере; о Луне, на которой живут души мертвых. Она очень старая, и скоро уйдет из мира живых. На ее груди, он видел, горит золотая слеза крестика. Надо ее попросить, чтобы подарила крестик Фелисидад.

Чтобы — успела.  
Подарить. Допеть. Дожарить тако.

*Бог Улитка родил мир.  
Потом он построил себе дом, чтобы в нем жить.  
И никогда не умирать.  
Для бессмертия он построил себе дом —  
его люди называли пирамидой.*

*Первые пирамиды повторяли тело самого бога Улитки.  
Они были Раковинами.*

*Раковина повторяла не только тело бога.  
Раковина повторяла время.  
Время нанизывалось на веретено внутри Раковины и текло по спирали.*

*Раковина повторяла звезды.  
Далеко в небе звезды закручивались в огромные спирали,  
и медленно плыли громадные звездные Раковины  
в лютном, ледяном безмолвии мира.*

*Раковина повторяла кровь.  
Никто не знал, а только колдуны знали —  
кровь зверей и человека состоит из крохотных красных спиралей,  
и они летят в горячем потоке,*

*летят, чтобы однажды вылиться из тела, растаять, сгнить во чреве земли.  
Раковина повторяла сердце.*

*Сердце внутри человека жило и билось в форме Раковины;  
и, когда жрец рассекал обсидиановым ножом-уицтли грудь жертвы,  
и запускал руку под кровавые ребра,  
и выдирал из человеческой груди живой бьющийся комок —  
он повторял Раковину бога Улитки,  
дожди приносящую, урожаем приносящую, любовь приносящую.*

*Раковина повторяла Землю,  
ибо была кругла подобно Земле.*

*Раковина повторяла Луну.*

*Белой Раковиной катилась Луна в ужасе ночи.*

*Раковина повторяла Океан:*

*она шумела, если прислонить ее к уху, так же, как он.*

*Раковина повторяла женский живот —*

*из него же и все рождено, из него все и стало быть,*

*в него же, в земляной живот, в живот Земли-Матери, все и вернется.*

*Раковина молчала о жизни, и Раковина пела о смерти.*

*Так было записано письменами науа  
в старинных книгах из телячьей кожи.*

*В книгах рода Тонатиу и рода Улитки.*

*Так было спето индейцами племени Мешико  
в ярких, страстных песнях своих.*

## «Купание Ягнатьева»

Александра СТРОГАНОВА

**Господь** устал и задремал ненадолго.

Хаос лукаво улыбается —

у него для нас много

игр **В ПОТЕМКАХ.**



Нина САДУР

# НЕТАКИСТЫ — ТЕТРАЖИСТЫ

## Поэты из Новосибирска

*Нетакисты — от слова не так, пишем не так, как надо... — шутливо сами себя назвали Иван Овчинников и Саша Денисенко  
Тетражист — от слова тетрадь, мол, пишу в тетрадь — Толя Маковский.*

**Александр Иванович ДЕНИСЕНКО,  
в народе — ДЕНИС.**

Родился в 1947 г. в селе Мотково, Новосибирской области в семье служащих. Учился в Новосибирском Педагогическом институте, на филологическом факультете, естественно.

В ЛИТО Новосибирского союза писателей быстро познакомился с Иваном Овчинниковым и с Толиком Маковским.

Втроём стали раскачивать ржавый монолит советского прикультуренного языка.

Но, при этом кротко относились к другим участникам ЛИТО, в споры не вступали... Кажется, что высокомерие? Совсем и нет! Просто погружены были в себя, отклик находили друг в друге, а в тех, пусть и талантливых, традиционно пишущих — ничего не находили...

Поскольку в 60-е годы интернета не было, ничего не знали о больших и настоящих (о Лианозовской школе, о Ленинградских поэтах: Шварц, Миронове, Аранзоне) И уж, конечно, отталкивали от себя всякое шестидесятничество... да нет, оно и само понимало — не прилипало ничуть...

Надо ли говорить, что они были естественно аполитичны?

То есть жизнь и родина были, хоть и печальны (часто), но волнующе-прекрасны! А печаль накатывала, на самом деле, как раз от избытка жизненных сил и юности.

Сибирская земля настолько огромна, что на ней не видно было ничего такого политического, один только снег и поэты.

А что было? Из чего они создавались?

Из тихой нашей Областной библиотеки, где чёрный томик Кафки, синий — Камю и (цвет не помню) Сартр.

И курилка, в которую снег, закручиваясь, залетал, когда входили с улицы.

Конечно, снега у нас было много. Снег у нас у всех в книжках по самые окошки.

ВАНЯ

ТОЛИК

ДЕНИС

Три важнейших поэта русской нашей многострадальной литературы.

Вот, о Денисе пишут:  
естественный продолжатель Есенина.  
Один такой.  
А Рубцов?  
И Рубцов — драгоценность!  
Но мы же тут о Денисе.  
Один такой.  
И что-то спрятано в его стихах ещё. Его  
одного.  
Толик (убиенный) про Саню: «И ДЕНИС,  
ПОКАТЫЙ ГОГОЛЬ...»  
У Сашиных стихов такое свойство, что они  
сразу берут в плен. Любого. Почти. Само-

го нечуткого к слову человека. В них сразу  
красота и нежность, и грусть, и нежность.  
И такие хорошие радостные переживания,  
что им нельзя не отдаться.

А, да, ещё забыла: бывало, Денис как кинет  
шапку в сугроб, как топнет валенком, как гар-  
кнет... а на его русом затылке снежинки тают...  
ДЕНИС нас всех превратил в коней.

Ну, и похвастаюсь, в конце концов. Когда-  
то с заезжим, ошалевшим от Москвы ново-  
сибирцем, передала свою книжку Денису.  
И Денис сказал: «Нина знает все слова». И  
это моя гордость и радость!

---

*ИТАК, СТИХИ АЛЕКСАНДРА ДЕНИСЕНКО. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!*

---

\* \* \*

Чей  
чей  
чей  
это конь  
это конь  
этот конь  
Оторва Оторвался от железного кольца  
И летит — грива льётся, как гармонь,  
молодого, убитого германией отца.

Я рвану  
этот ситец  
этот ситец  
от плеча —  
На которрром цветут русские цветы —  
И пойдёт он по кругу сгоряча,  
Как невест обходя яблонь белые кусты.

Вот уж бабы завыли  
завыли  
уж сердцу невмочь,  
Пляшет с бабами конь вороной, вороной —  
Всё быстрее и быстрее — уж ничем нельзя

помочь,  
Как тогда, перед самую войной.  
Плачь, гармонь,  
да плачь, хорошая,  
во все цветы навзрыд —  
В саду сталина осыпался на гриву весь ранет.  
Сам товарищ сталин на учёт сейчас закрыт,  
А откроют, когда будет мясоед.  
Всё пройдёт...  
солдатка  
слёзы  
чёрной гривой  
оботрёт  
И прибьёт к столбу своё железное  
венчальное  
кольцо,  
Чтобы конь, хрипя, не рвался  
из распахнутых  
ворот  
По дорожке,  
занесённой  
лепестками  
за отцом

\* \* \*

Как же так с неба падала вода  
Текла редела вода влага  
Сквозь огни вижу нежный как всегда  
Идёт по полю конь бродяга

Ох какой: по колена ноги стёр  
Лицо и торс размыты влагой  
На груди (видно ночью где-то спёр)  
Шарф из андреевского флага

Серый конь я бы дал тебе ладонь  
Да исписались мои руки  
А вдали разгорается огонь  
Опять на уровне разлуки.

\* \* \*

снег снег снег снег снег снег снег

это кажется метель пурга  
всё уляжется уйдёт в снега  
мёрзлый тополь отойдёт ко сну  
в бесконечную свою страну

ешь откусывай хрусти вино  
пока вьюги на Москве гостят  
это мёртвые давным-давно  
с неба девушки летят летят



\* \* \*

Наша юность зацвела в Новосибирске,  
Нас повёз вперёд один локомотив,  
Он на Гоголя жил с мамой по-английски,  
И у них там неплохой был коллектив.

Вдруг сверкнуло что-то. Сильно долбануло.  
Но не выпало вечернее перо.  
Только строчки кое-где перевернуло.  
Заголовок оборвало. Оборво

Наша наглухо закрытая поэзия  
Жарко молится, да толку ни на грош.  
Чтоб светилось её жертвенное лезвие —  
Золотую свою голову положь.

Чья любовь и чья вода полуживая  
Тело мёртвое по городу влечёт,  
И свобода, словно тварь сторожевая,  
Ухватилась за бумажное плечо.

На волшебной территории дурдома  
Долго будешь нашу землю вспоминать...  
В этом месте рифма будет тише грома —  
Дураку ведь всё равно, что рифмовать.

Голова моя, разбитая об книжки  
Всех целует, только выйдешь из ворот.  
Не берут собаки волка, ребятишки,  
Если волк не Иванов, а Раппопорт.

Кто ответит мне на грустные вопросы,  
Кто мне в рот наложил грустные слова,  
Что упала в сад кудрявый, лес тверёзый  
На три четверти неполная луна?

Чтоб играла чуть живая мандолина  
Под окном, где спит задвинутый поэт,  
Чтоб стихи во сне прошли, как скарлатина,  
Отгоревшая, как яблоневый цвет.

Хорошо, когда на свете нету друга —  
Покосились страшной жизни кружева.  
Лишь бы ты, моя вечерняя подруга,  
С паровозиком на Гоголя жила.

\* \* \*

Небо над улицей Гоголя милое тёмное  
десять ведь  
Вечер чудесные свечи с вечера вздуты  
у гордой Галины  
Сессия?  
Ой да не сессия  
ну так тогда именины

Мальвы наломаны  
Мальвы наломаны  
Розданы славные

\* \* \*

Ну что ты, товарищ, ну спи на плече,  
Где волос, не собранный в узел  
Чернее вот этих чудесных очей,  
Живущих в Советском Союзе.

Ну что ты, товарищ, тоска не пройдёт.  
Не вешнее лето. Простое.  
Вот дождь. Этот дождь постоит и уйдёт.  
За ваше село золотое.

Ну что ты, товарищ, тоска не пройдёт,  
И так же, как в прежние лета,  
Зима нападёт и снег упадёт  
У серых ворот сельсовета.

\* \* \*

Я вернулся, но вы не рады,  
не даёте мокрый рот.  
С неба лётчики попадала  
в ваш сад и огород.  
Сколько их! Пускай им выставят  
Склянку с яблоком-вином.  
Кто-нибудь из них да выстоит  
И заявится в райком.  
Скажет: — Наши самолёты  
будут биться над селом  
Пока вы не уберёте  
Эту девушку с вином.

\* \* \*

Листья красные жгут мои руки,  
Ветер слёзы мне серые рвёт,  
В платьях шёлковых старые суки  
теребят мой измученный рот.

Я всегда был в любви невредимым,  
Да, видать, меня бог наказал —  
Вечно плыть в твои нежные с дымом  
Голубые гнилые глаза.

Закури и умойся, княжна,  
Слышишь, гуси картавят что-то  
И об небо, как об наждак,  
Заостряются самолёты.

## Отойдите, не лезьте ко мне

У меня ничего не готово,  
И стихов я почти не писал.  
Золотого, тяжёлого слова  
Я три года уже не сосал.  
А вчера чуть совсем не разбился,  
С журавлями снижаясь к земле...  
Мне сказали, что я изменился,  
Что три года я был на войне.  
Ладно, ладно, ура.  
Но под песни и крики  
Никому не сказал, никому не стравил,  
Что мне снятся товарищи:  
Пётр Великий,  
Николай Чудотворец, святой Михаил.  
В нашем чёрном саду  
Каждый день помирает садовник,  
Но приходит другой,  
Как и я, с бесконечной войны —  
Золотые слова каждый день он приносит  
с помоек  
Для друзей для своих, для своей  
беззаветной страны.

## Николаю Шипилову

За деревней в цветах, лебеде и крапиве  
Умер конь вороной во цвету, во хмелю, на лугу.  
Он хотел отдохнуть, но его всякий раз торопили,  
Как торопят меня, а я больше бежать не могу.

От весёлой реки, по траве из последних силёнок,  
Огибая цветы, торопя черноглазую мать,  
К вороному коню, задыхаясь, бежит жеребёнок,  
Но ему перед батей уже никогда не сплясать.

Председатель вздохнёт и закроет лиловые очи,  
И погладит звезду, и кузнечика с гривы смахнёт,  
Похоронит коня, выйдет в сад покурить среди ночи,  
А потом до утра своих глаз вороных не сомкнёт.

Затуманится луг. Все товарищи выйдут в ночное,  
А во лбу жеребёнка в ту ночь загорится звезда,  
И при свете её он увидит вдали городское  
Незнакомое поле. Вороного тянуло туда.

За заставой в цветах, лебеде и крапиве  
Умер русский поэт во цвету, во хмелю, на лугу,  
Он лежал на траве и в его разметавшейся гриве  
Спал кузнечик ночной, не улегшийся, видно, в строку.

И когда на заре поднимали поэты поэта,  
Уронили в цветы небольшую живую тетрадь,  
А когда все ушли, из соседнего нежного лета  
Прибежал жеребёнок, нагнулся и начал читать.

\* \* \*

в будний день с портретом боженки  
со стихами до колен  
все хорошие художники перейдут  
в соседний плен  
осень  
видно  
далеко  
видно  
клён  
далёкий  
он  
уходит  
над  
рекой  
в  
обморок  
глубокий  
где художник да поэт запрягая ветер  
возят людям ясный свет что живёт  
в портрете.

---

*Анатолий Владимирович МАКОВСКИЙ*  
*(в народе МАКС)*

Прямой потомок художника-передвижника Маковского. Родился в середине 30-х, без вести пропал в середине 90-х. Точных дат не знаю. Толя окончил физмат МГУ, близко общался с Сабуровым и Иоффе. Окончив аспирантуру, переехал в Сибирь, в Академгородок под Новосибирском. В ЛИТО Союза писателей вошёл (пожизненно) в нашу компанию (главный друг и противник Ивана Овчинникова). Работая в НИИ Академгородка, заведовал лабораторий и под это дело взял к себе работать Ваню и Жанку Зырянову (поэтессу и нашу подругу) — они, якобы, тоже математики. Их бойкая лаборатория выигрывала соцсоревнования (по крайней

мере Иван так говорит, уж не знаю, правда — нет ли...). Но потом математическая жизнь резко закончилась для всех троих.

Вот, что пишут о Толе критики: «Маковский странный, дикий, абсолютно внесистемный и внелитературный поэт, попирающий не только базовые законы стихосложения, но зачастую и элементарную логику вообще. Маковский... основной пользователь «антирифмы».

Очень высоко ценил его Евгений Харитонов.

Иван Овчинников считает, что Толя Маковский достиг того, о чём Хлебников только мечтал. («У Хлебникова многое из головы, а у Макса всё естественное».)

«Я шесть лет прожил с народом  
Было плохо и хорошо.  
Раза два дали по морде  
пальтишко я сам прожѣг» — любимое То-  
лино Ваней.

Смешное воспоминание. Толе негде  
было ночевать, он заехал ко мне, я гово-  
рю, поедem в ПЕН-клуб, там писателям  
помогают. В такси нарочно завела разго-  
вор про киевские дела (уже всё знала).

Говорю: «После смерти твоей мамы, лад-  
но, ты роскошную квартиру государству  
отдал, но коллекцию живописи эпохи пе-  
редвижников зачем в музей-то сдал?» И  
Толя аж всплеснулся весь: «Нина! Ты что!  
Это всё принадлежит нашему народу!»  
Больше я Толю никогда не видела. Народ  
забрал не только квартиру и картины, но  
и самого поэта Анатолия Владимировича  
Маковского. Светлая ему память.

## СТИХИ АНАТОЛИЯ МАКОВСКОГО

---

\* \* \*

Пахнет яблоками осень  
красны девичьи уборы  
я опять кого-то бросил  
в философских разговорах

я шагаю рядом с вором  
ты умён блатной приятель  
плащ твой чёрный — крылья ворона  
монастырь наш настоятель

с алкоголиками ходишь  
гладишь девичьи колени  
ты наверно плохо кончишь  
повторишь судьбу Есенина

### Голубь

Голубь голубь ты летишь  
Я тебя не накормил  
Голубь ты меня простишь  
День сегодняшней не мил

Станешь весело клевать  
Стану весело смотреть  
И опять не понимать  
Как вас птиц не пожалеть

Потому что два крыла  
Это пол-ещё мечты  
Голубь голубь тень орла  
Синий с искрами почтарь

\* \* \*

На Охотном — схожу неохотно.  
Больше — некуда выходить.  
Там — моряк один живёт пехотный.  
И яга-баба за ним глядит.

Но ко мне — ничего относились.  
Правда раз — с культурой зашёл,  
И лицо её — перекопилось...  
Я тележку попёр, как осёл.

Дождь пошёл, прострелил мне спину,  
А мне — в Киев, затем — в Сибирь,  
Голодует там Таня по-видимому,  
Я ей мамы везу серебро.

Мельхиор, правда... пускай, дешёвый.  
Может быть — продержимся мы.  
Разорили враги державу  
И богатая пища уму.

И в пути я совсем загнулся,  
На вокзалах валялся всех  
С чемоданами полз, как гусеница.  
Выручала немного тележка.

И сочувствовали мне люди  
А особенно один старик  
Я не знал, что он выпить любит  
Как барашек тележка стоит.

Помню кадр только: вроде, цыгане,  
Или — кто-то... не знаю кто.  
И двенадцать зелёных поганых,  
Что копил, развернул, как игрок.

В вырезвителе — всё ещё думал,  
Что вернут тележку, вернут...  
Металлический, последний друг мой,  
Будем помнить её в раю.

Пережил... С Танею созвонился...  
Может, друг один в Сибири спасёт.  
Ты, Москва, будешь духом нищей  
Пусть в сирени Брянск доцветёт.

## Леопард

Мне снился белый леопард.  
Он заревел в лесу еловом,  
Как кот, что чует месяц март,  
К любовным шалостям готовый.

Но перед тем, — чтоб закусить.  
И вот в меня зрочки стрельнули.  
Что делать? Я люблю убить,  
Но — револьвер опять без пули.

А он как будто не спешил.  
Не он был бел, а снег, который  
Его, лаская, окружил  
И мягко шёл с деревьев бора.

Он крался меж густых дерев,  
Гость Африки в лесу былинном,  
Лишь иногда на миг присев,  
Кусая хвост, красивый, длинный.

Но красный блеск пронзил закат.  
Как в зимнем шишкинском пейзаже.  
Прости меня, мой милый брат,  
Меня сожрут сегодня заживо!

Недавно пили мы с тобой.  
Ты выходил из магазина  
И снег холодно-голубой  
Хрустел алмазною резиной.

Люблю я Шишкина пейзаж,  
Он Левитана мне дороже.  
Могучий лес уснувший наш —  
Его ничто не потревожит.

В нём нет игры полутонов  
Но сколько силы в построении  
Нет, он, конечно, не фотограф,  
А неподвижный русский гений.

Спи, величавый богатырь!  
Как сном окутана Россия.  
Пришли на мой кровавый пир  
Лишь сосны грозные, седые.

Закат был как бокал вина.  
Не пьём мы красных вин однако.  
Что ж... будет жизнь прекращена  
Пятнистой кошкой с острой лапой.

Желал красиво умереть.  
Пока лишь жил совсем позорно...  
И судорожно сжимаю плеть  
Рукой насмешливой и чёрной.

Уже совсем недалеко,  
Вот, наконец, сейчас он прыгнет!  
Но плеть взвилась вокруг клыков  
Кривой, играющею линией.

Я понял: был не хлыст в руках  
И потому лишь он изломан  
Что нужно обмануть врага  
Лукаво свившимся питоном.

А змеи, как известно, всех  
Красивым телом побеждают.  
Вот чудный бесподобный мех  
В тисках чешуйчатых играет.

Но он ещё давал отпор,  
Кричал, хрипел, кусал удава...  
Я не стерпел, бежал, как вор,  
Туда, где пел закат кровавый.



## Грузчик

*Своему учителю  
Сергею Сербину (Гаврилычу)*

Он перед бочкой — как артист  
А бочка хочет вниз  
Она на лестницу рычит  
Как бы гепард кубизма.

Она набуськалась вином  
А он сегодня — трезв  
Как дипломат перед войной  
Иль утро стюардессы

Или — составщик поездов  
Кому сто грамм вина —  
Как в бочку с порохом пистон  
Или в обком гранату

Граниты лестницы ведут  
В Египет погребов  
Где два служителя кладут  
Ту мумию на бок

Чтоб Апис брюхо ей вспоров  
Отправил к богу Ра  
Но этот жест и топором  
К ревизии бугра

А он стоит тореадор  
А бочка — рыжий бык  
Сто килограммов помидор  
Для связей и гульбы

А он закусит рукавом  
Когда она — внизу  
Закончив номер роковой  
Как раб перед Везувием.

## Иван Афанасьевич ОВЧИННИКОВ

Родился в 1939 г. в селе Нижний Ашпанак на Алтае. Учился в Новосибирском пединституте на филфаке. С середины 80-х участник фольклорного ансамбля.

Аналогов тому, что делает Иван в поэзии, я не знаю.

Ещё в ранней юности, будучи школьницей, я поступила в ЛИТО, неся в запасе влюблённость в Хэмингуэя и Ремарка. (Надо же, а наших шестидесятников, типа Аксёнова, совсем не могла читать...) Не понимала, и обижалась, когда: «Любить переводную литературу нельзя. В ней языка нет. — Иван — У каждого языка свои мысли». Сложно и даже скучно было — все эти восклицания, недосказанности, оборванности слов, которые писал Иван.

Пока не написал знаменитое:

Флаг... флаг... флаг...

На ветру.

А утихло, и —

фла... фла... фла...

Это уже после поступления в фольклорный ансамбль, где Ваня пел и плясал много лет посреди румяных девок.

(Недавно по телефону проговорился: «Если б я тогда не нашёл фольклорный ансамбль, я бы умер»).

Евгений Харитонов, Ванин друг детства, очень многому учился у Вани.

Ваня проник в самую середину простонародного языка, встал вровень с его движением (все его стихи движутся, не стоят на месте), написал о языке, что хотел в книге «Записки из города», а что не хотел, скрыл, потому что дальше уже тайное для своих, для ОФЕНЕЙ.

Ну вот, смешной случай из нашей юности (мне Коля Шипилов рассказал, я уже забыла). Одной зимой пришли ко мне в гости Коля и Ваня. Мы пили креплёное вино, и Коля красиво пел под гитару. А в другой комнате мой старенький дедушка переживал, что у юной девушки мужчины ночью песни поют. И когда он от бессилья выгнать заплакал, сердце моё вспыхнуло в его пользу. «Убирайтесь!» — приказала я друзьям. «Нинка, ты кого больше любишь? — возмутился Коля. — Нас или дедушку?» — «Дедушку больше, но и вас люблю. Раз так поздно и мороз под сорок, вы ложитесь в подъезде под батарею, я вам всё вынесу». И вынесла одеяло, подушки, стаканчики и поесть. А утром Коля с Ваней снова ко мне вернулись!

## Первые годы в Новосибирске

Если ветер могучий в окошко убийственно  
потемневшее, капли с размаху швырнёт,  
знаю — туча с Алтая — Катуньская, Бийская  
долетела досюда и всё тут согнёт.

В это время там солнце. Под кедрами домики.  
Школа. Лес. Синева на горе — вечный снег.  
Далеко где-то плач на могильнике тоненький.  
Мириады цветов, где меня уже нет.

## Чёрный человек

Десять рублей. Мне нужно десять рублей!  
Ты прав, брюнет, мой чёрный человек,  
ничего не вышло за столько лет.  
Даже десятки не дашь.  
Мы моментами были приятели.  
Ты думал — я хуже.  
И в том: когда на меня валят,  
валят, валят,  
я с детства слабо оправдываюсь:  
а может — я.  
А в лесу, там, за городом,  
я не кричу: тангенс равен тому-то, тому-то!  
Понимаешь, внемли, ух, не люблю нелепость!  
И несколько лет уже думаю о мастях.  
Положим, проиграешь ты, чёрный человек,  
десять десяток...  
А занять ты их мне — никогда  
не займёшь. Неестественно. Что ж —  
у людей научился. У нас.  
Сейчас мне никто не даст, и  
я не сделал того, с чем могу подойти  
в тихий вечер, мой чёрный товарищ.  
Я часто думаю о тебе, о твоей доброте:  
кипятится, как мы. Только это досадно.  
Чёрный человек, а, чёрный,  
дай десятку.

С.М.

Прямо на краешке крон  
солнышко село и пляшет.  
Тёмный мужик, как Платон,  
Что-то у девушки спрашивает.  
Девушка, как Сократ,  
всему головой кивает.  
Кивает всему подряд,  
и, хитрая, забывает.

\* \* \*

Самолёт сел и сумерки  
нас помчали, меня  
по Москве белокаменной,  
потемневшей в огнях.

Что — меня? Что, мы рыжие  
в слове «нас» словно мы,  
как две радостных лыжины,  
понеслись с вышины

от волков и столица вон,  
за домами видна.  
...На лицо не узнать никого.  
Незнакомых, как знать.

Нас не знали, не ведали,  
Со своими — а чё ж? —  
разбирается Сагами, Ведами,  
Кришнами молодёжь.

Забивается в залы вся  
рысь-побежка от стуж.  
А снаружи остались,  
кто ленив, да кто дюж.

В холле нутрии, белочки,  
воплотилися в мех.  
Это — местные девочки,  
вздыбив волосы вверх.

А вверху-то над Машами,  
Виками, глух и нем,  
недовольными башнями  
поднимается Кремль.

\* \* \*

Не гляди на нас, солнце.  
Горите, верхние листья в тени.  
Не любит Москва самозванцев  
в ясные, тихие дни,  
где пение и вечерня.  
Вечером, вот её звон,  
церкви поблизости мерное,  
к Богу, упорное, он-н-н, Он.

## Биолог

Осень за школой... вот она...  
Смирно в юннатском пруду.  
Спят на боку земноводные,  
Сыплются листья в саду.  
Холодно невозможно.  
Что ты, природа? «Ку-ку.  
Видишь ведь сам, я сложена  
На школьных столах, на току...»  
И правда, и правда, жалоба  
На небеса, на меня...  
Какая-то жалость к жабам  
В опытах этого дня...  
Но на момент, на миг ведь,  
Это всегда, всегда...  
С болью природа никнет  
У школы и у пруда.

## Машина с вином

Стёкла плывут на кусты,  
На лопухи, на беднягу — малину.  
Как они развалились, цветы,  
И раздвоились на две половины.  
Лето двоится, прекрасно горя  
С блеском речушки, в дымине.  
Сзади бутылки стучат, говоря,  
Что дураки мы в кабине:  
Выпили, ну и каждый завял.  
Нету? Нет, выплыли дали...  
Вон и наш магазин засиял.  
Чуть не проспали.

\* \* \*

Там только крыша алюминиевая...  
Я испугался — снег...  
Чудак, почти июневая  
Страна и снега нет.  
И снова, снова в шахматы,  
На валики валясь.  
Вот будет шах и ахнете:  
сентябрь будет, грязь...  
Собьётесь вы под кронами  
Вон тех пустых берёз,  
За вами личность скромная  
Бутылки соберёт.

\* \* \*

Делается вечер и темно становится.  
И плохо. Горестно глядеть во тьму.  
Точно, в это время горе ловится,  
если не поедешь ни к кому.

Сам уже слабее тусклой лампочки.  
А спокойно в летний вечер, ввысь  
молчаливые, стремительные ласточки  
над тобой скорее пронеслись.

\* \* \*

Девки, девки,  
помогите  
снять пальто,  
потом бегите.

\* \* \*

И все вместе влево.  
И все вместе вправо.  
Ветки над четвёртым этажом  
целый день качаясь, повторяют  
на ветру июля небольшом.

Спинки листьев сразу серебрятся.  
В небе уже север облаков.  
Скоро будем осыпаться, братцы,  
потому что мир таков.

Час такой, что некуда деваться.  
День уже кончается везде.  
Никуда не надо ехать, оставаться  
надо. К занавескам руки, к небесам воздев.

\* \* \*

Сад-от голай. совсем голай.  
Да, вот едак-то считай  
мы остались, как соколы.  
Во саду собачки лай.  
По-Советскому восьмое  
сентября. Уже восьмо.  
Дожжик девке чёлку моет.  
Вон бежит, несёт письмо.  
Град вчера по город-саду  
прохлестал, ранетки сбил.  
Соберут, которым надо.  
Я-то яблочек вкусил.  
Кабы на город бы град-от  
высохло бы, дак-от — нет.  
Нет, однако за ограду,  
за черту летит, на хлеб.

## Правило

Если ты не трезвый, детка,  
надо вдоль забора красться.  
Если ты не красна, девка —  
красься.

\* \* \*

На футляр. Положи в него маску  
тысяча триста двадцатых годов.  
Позови понимальщика Макса\*  
похвалиться. Винишка готовь.

Деньги что... Ни себе и ни людям.  
А кому? — А вот так — никому.  
Чтобы из-за кордонной валюты,  
чтобы жить по чужому уму.

И делец-то берёт не себе.  
Он не шибко уж материален.  
Фокус в том, что он бешеный пёс  
любит видеть, как всё мы теряем.

На футляр. Положи в него маску  
тысяча триста двадцатых годов.  
Позови понимальщика Макса  
и огромные слёзы готовь.

---

*\*(Макс — Анатолий Владимирович Маковский)*

Марго ПА

## ПЕРЕЛИЦОВКА

альтернативная история

**К**ниги не умеют стоять прямо на полках: либо поддерживают друг друга, либо клонятся, кто влево, в прошлое, не выдерживая ветра перемен, а кто вправо, в будущее, навстречу потомкам. Библиотека нашей виллы напоминает Александрийскую: во всех комнатах первого этажа книжные шкафы закрывают собой стены от пола до кромки потолка, метров пять в высоту, несколько поколений собирали, мне на всю жизнь хватит и ещё останется, чтобы вернуться призраком и дочитать без спешки. Призраки способны читать сквозь обложки, не открывая книг, и понимать написанное между строк. А пока время и зрение мои ограничены, стараюсь отыскать на полках ту самую, настоящую, которая смотрит в вечность, потому что не чувствую времени. Иногда сегодняшний день представляется послезавтрашним, и я говорю себе: это иллюзия, но потом сегодня вдруг происходит в точности то, что привиделось позавчера, и тогда я не знаю, что ещё сказать. Жизнь, утратившая связь с часами и календарями, кажется безумием.

Сколько моих шагов хранят коридоры виллы? Бесконечные ступени мраморных лестниц, дубовые двери с бронзовыми ручками в номера, где живут картины. Именно живут, и именно картины. Гости у нас редкость, владельцев «золотых карт» Галереи Витторио Эммануэля и в Милане, и в мире можно пересчитать по пальцам. Вилла наполняется человеческими голосами по осени, в сезон конференций, симпозиумов и прочих культурных мероприятий. Летом же всё замирает, слушаешь, как днём от жары потрескивает воздух, а ночью в фонтане поют тритоны. Летом на окна номеров вешают тяжёлые светонепроницаемые шторы, чтобы сберечь картины от выгорания. И я вижу сквозь дверь, как персонажи со старинных портретов расхаживают в полумраке гостиной и о чём-то негромко переговариваются. Но стоит распахнуть её, и встретишься с раскрашенными прямоугольниками в золочёных рамах.

Это дядя превратил наш дом в гостиницу-музей и теперь винит себя, что заточил любимую племянницу в старинном замке, как принцессу из грустной сказки. Последнее воспоминание о родителях: ужин у камина вчетвером (у дяди никогда не было собственной семьи), сангиновые портьеры в столовой, похожие на языки пламени, тянущиеся к потолку, серебро, безусловно белая скатерть. Над столом — портрет женщины в красном на синем фоне, чьё платье тоже напоминало огонь. О чём мы говорили в тот вечер? Помню, было тепло и внешне, и внутренне, мне, единственному ребёнку, прощали любую шалость и никогда не ругали. После их смерти дядя как младший брат унаследовал виллу, а вместе с ней и меня. Считает, мне нужен мир за стенами виллы с его возможностями, мечтами, соблазнами, образование, любимое дело и любимый человек, а преумножени-



ем моего наследства он займётся сам. Но от городов у меня начинается агорафобия: улицы подражают коридорам виллы, но стены домов, как бока дельфинов, — скользкие и покатые, не ухватиться, дома щетинятся углами балконов, по улице Данте нарезают круги люди в костюмах манекенов с табличками в руках «Боишься перемен?» и насильно собирают подписи против наркотиков и СПИДа. Театр абсурда! Жизнь как игра, в которую я никак не могу включиться и наблюдаю со скамейки запасных. Мир призрака. Все есть, а меня нет, хотя иногда выбираюсь в Милан — посидеть в кафе, побыть в толпе, но всё равно как бы отдельно.

К тому же я точно знаю: жизнь — картина, тебя нарисовали на ней задолго до рождения, и никто из нас не в силах ни изменить окружающий пейзаж, ни покинуть её пределы. Среди гостей виллы безошибочно отличаю нуворишей от аристократов: сколько бы человек ни заработал денег, его аура — картина происхождения, а меняется только рама. Разглядывая фотографии городов, куда могла бы поехать, обнаруживаю родство меж возведёнными в противоположных концах света. В жизни всегда одно повторяет другое, как вереница образов на портретах. Мои дни — олицетворение дежавю.

В детстве жила внутри захватывающего романа, а сейчас читаю нон-фикшн о ком-то далёком. Но каждое утро продолжаю спрашивать себя: ради чего открыла глаза сегодня? Те, кто вынужден просыпаться по будильнику и бежать на работу, чтобы прокормить семью, вправе считать меня паразитом, хотя любой из вас грезит очутиться на моём месте. Не спешите, вы не умеете жить в пустоте. Современное общество устроено по принципу постоянной занятости: днём — работой, вечером и в выходные — заботой о близких. Побывать собой и наедине с собой не хватает времени, потому что вы не знаете, как поступить с ним, не умеете думать свободным потоком ассоциаций — страшно захлебнуться и утонуть, страшно быть бесполезными. Представьте, как по ночам из года в год вас будит кошмар о том, что звёзды давно заржавели, — и не дожидаясь восхода солнца, помчитесь строить ракету. Я же ночами напролёт смотрю на дождь из окна и всерьёз начинаю верить, что фонари изобрели не для освещения парковых аллей, а чтобы в конусе света испарялись его капли. Если время — вода, и часть её должна обратиться в воздух, то есть и капли-мгновения, которые соберёт водосток. А среди них — одно настоящее, ради чего пролились все остальные. Человека посылают на Землю ради слова, сказанного вовремя и нуждающемуся или ради незначительного и почти неуловимого жеста. Такие мгновения звучат в музыке, запечатлены на холстах, закованы в мрамор и бронзу. Но если не рождён с талантом художника, скульптора или музыканта, о них можно просто рассказать.

Так, в «поисках утраченного времени», я завела дневник. Сперва его страницы загромождались бытовыми мелочами, как пустые комнаты забытым хламом, но потом случилось необъяснимое: день, изучаемый словно под лупой, вдруг стал восприниматься историей — если вообще ничего не происходит, нужно сочинить, найти, вспомнить. Маленькая тетрадка создала вокруг меня мощное магнитное поле, притягивающее в жизнь События.

День, когда я нашла дневник художника, могу восстановить по секундам. Солнечным утром резкие тени от витражей чертили на полу детские классики: прыг-скок туда-обратно по коридору и вниз по лестнице — в библиотеку. Дневник был запрятан меж стеной шкафа и другими книгами. Я потянула одну из них наугад, и толстенная тетрадь в кожаной обложке с ручным переплётом рухнула на пол, раскинув крылья-страницы, как подстреленный беркут.

«В древних манускриптах встречается описание казни «кровавый орёл»: жертве среза-

ли кожу и мышцы со спины и выворачивали наружу лопатки наподобие крыльев, смерть наступала медленно, и однажды поверженный воин успел написать стекающей на камни кровью имена убийц. Но имена эти помнит лишь пламя ритуальных костров. Огонь разрушает и создаёт. Искусство — хранитель очага Вселенной. Те из нас, кто, как Икар, подхватил опасную заразу, имя которой «гордыня», рано или поздно будет низвергнут. Мы живём в тёмные, варварские времена:

«Слишком долго Италия была свалкой всякого старья. Надо расчистить её от бесчисленного музейного хлама — он превращает страну в одно огромное кладбище. Музеи и кладбища! Их не отличить друг от друга — мрачные скопища никому не известных и неразличимых трупов...

Давайте! Тащите огня к библиотечным полкам! Направьте воду из каналов в музейные склепы и затопите их! И пусть течение уносит великие полотна! Хватайте кирки и лопаты! Крушите древние города!

Мы освободим человека от мысли о смерти...»

Близится война: современные боги питаются человеческой кровью. Сделка с тьмой не единовременный акт, а череда маленьких соглашений, уступок, ступеней в Ад.

«... и нет ничего прекраснее этого огненного блеска!»

Италия жаждет вернуть былое величие, но не готова принять новых Караваджо и Рафаэлей. Мне платят золотом за копии с картин старинных мастеров, а на портреты раскошеляются железом, как ярмарочному фотографу. Живопись более не творит историю, но мнится источником накопления богатств. Некогда духовная невесомая красота, переплавленная ныне в роскошь, налилась тяжестью. А стяжательство — мать поджигателей прошлого. Новой эпохи Возрождения не случилось, настало время вырожденцев. Чертежи Леонардо ожили, великие мечты сбылись: по небу летают аэро, тайны камеры обскуры мельтешат на экранах, подражая лопастям вечного двигателя. Мир уподоблен идеальной машине, а слова «природа» и «вечность» утратили заглавные буквы. Магия простых вещей вышла в тираж.

Аромат фруктов на коже и в дыхании юноши, музыка, терпкая, как вино, обещания ночи в глазах лютниста. Как сохранить волшебство? Воспроизвести чары мгновения? Аромат выдыхается, мелодия едва различима в шуме городов, ночи разбавлены электричеством. Копии обесценивают оригинал, лишают его первоизданного света. Творцы прибегали к тиражированию своих полотен, картины за них дописывали ученики. Копиисты, вроде меня, плодили абрисы пустоты, смыслы за пределами сущности. История живописи — иллюзия, оплывающая на глазах свеча, и со временем уже никто не сможет опознать руку мастера. Я не верю ни глазам, ни каталогам, ни заверениям экспертов: многие картины попадают на стены музеев из частных коллекций. Подделки моей кисти украшают гостиные Милана, Парижа, Берлина, Лондона, а собственные дети стоят повёрнутыми лицом к стене в мастерской. Кто наказал их так жестоко и главное — за что? Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Невозможно вообразить, как мадонны Беллини запрыгивают на подножку трамвая или усаживаются, подбирая юбки, в нервно фыркающий авто.

Моим картинам нужен воздух! Им необходимо общество, смотреть людям в лицо. Хочется заботы и восхищения. Но они продолжают подпирать стены, покрываясь язвами облупившейся краски. И кажется, пытке не будет конца. Вся моя жизнь положена на плаху безвестности, она и есть неумелая подделка. Лучше быть бастардом — незаконнорожденным сыном природы, чем долгожданным, но искусственно выращенным в лаборатории внуком. Да, я не могу творить, как мастера эпохи Возрождения, потому что живу

в иное время. Не могу видеть мир их глазами. Но я могу повторить их путь. Поджигатели в чём-то правы, существует удел отчаявшихся и отчаянных. Всякий из нас рождён, чтобы добавить миру красок. Выживает в искусстве тот, кто создаёт новое искусство. Новый язык, новую форму. Караваджо утверждал, что Спаситель сделан из плоти и крови, — и писал фотографии. Современному чёрно-белому миру не хватает цвета! У машин не бывает души!

Так, в поисках утраченного времени я решил следовать его законам. Шаг за шагом, за взглядом взгляд и мечта об идеальном цвете — языке первобытных, очищенных от копоти и золота эмоций — завладела мной.

Помню, как ярко светило солнце в день, когда покидал мансарду. Мечты о поездке на Парижскую выставку так и остались мечтами. Не рассчитал денег и на новую жизнь: отказался от трёх заказов, а накопления промотал до последней лиры — на женщин, вино, холсты, оперу, лучшие виды Милана, открывавшиеся из просторных мансард. Вору деньги жгут руки, каплями воска утекают сквозь пальцы. Вырученные за чужое искусство, они не могли служить моему. Меняя кварталы и спускаясь по лестницам в подвалы бедняков, чувствовал себя бесконечно счастливым, словно возвращался в детство человечества.

Осень обнажала ветви деревьев, давая понять: нет одинаковых линий судьбы на ладонях. Любовь не повторяется дважды, влюбляешься заново, в другую и по-другому, но с тем же накалом страстей. Мелодию можно сыграть на любом инструменте: звучит по-разному, но на одной высоте. Я писал в парках, на улицах и площадях, на рассвете и днями напролёт до кобальтовых сумерек, погружаясь в градации цвета, как в калейдоскоп. Продал несколько полотен скромной галерее на окраине. Купил материалы для работы и продолжил свои эксперименты. Из окон комнатухи в подвале видел лишь ноги прохожих, но теперь мне и этого было достаточно. Научился не выбрасывать заплесневелый хлеб и в буквальном смысле питаться росой — в пекарне над головой по ночам колдовали над сдобой, и карнизы поутру были сладкими. Улочка, где снимал угол, упиралась в мясную лавку, и возвращаясь домой, я с жадностью разглядывал свежие куски, сочившиеся кровью, вдыхал запах плоти, смерти и возрождения, испытывая головокружение голодного хищника. Иногда кисть в руке весила тонну, а разум был ясен, как небо ветреным днём. Листья вихрями кружились в подворотнях, осень становилась злой. Но я знал: Бог не приемлет жертв, жертвы нужны людям, чтобы уверовать. Моё яростное счастье не имело ничего общего с одержимостью. Творчество и есть моя настоящая жизнь, принося себя в жертву, я боролся за выживание. Создавал себя разрушая.

Однажды утром начал задыхаться от приступов кашля. Дождь лил несколько дней, с доконника текла вода, и на полу уже было по щиколотку. Сыростью, как кислотой, разъедало кожу, холод пронимал до костей. В ужасе ринулся спасать холсты. Первые дни ноября работал в парке, пока дождь не загнал меня обратно в подвал, в забытые болезненных снов. Расстелив холсты на кровати, понял: картины потеряли не только форму и контрасты светотеней, но и контуры. У меня в руках мерцали бесплотные цветочные пятна. Флуоресцирующие призраки плясали в сумраке подвала, повторяя и догоняя друг друга, как капли воды, сливаясь в единое цветочное безумие. Но я верил: активные цвета — живут.

— Отвратительный кашель, дружище! Продолжишь в том же духе, и туберкулёз тебе обеспечен.

Он выскочил на меня из тумана улицы Данте, как Вергилий из преисподней. Прошлое показалось чьей-то чужой жизнью. Отвечать было тяжело, разговор еле теплился. Но делец и не слушает — некогда, время — деньги, сунул в руку визитную карточку со

словами «работа тебя убьёт, следует отдохнуть на природе», и его автомобиль затерялся среди трамваев. А спустя неделю принял как почётного гостя на своей загородной вилле, так и не догадавшись о том, что со мной случилось.

Терраса соединяла столовую с садом. Ужин подавали поздно и при свечах. Тонкий звон стекла, похожий на стон, заставил оглянуться. Его жена замерла на секунду в проёме двери, удивившись появлению незнакомца. Красное платье, а за плечами — густая синяя ночь. Моя лучшая картина была написана и заключена в раму.

– Картина в конференц-зале.

– Он же в подвале!

– Не в подвале. Цокольный этаж — идеальное место для конференций, просторно и не работает мобильная связь.

– Мы должны вернуть её на прежнее место. В столовую. Картине нужен воздух.

– «Сестра Кардинала» — самое дорогое полотно нашей коллекции, а конференции снимают телевизионщики, картина мелькает на экранах.

– «Сестра» не подлинник, а перелицовка... из портрета моей прабабки.

Художник был случайным гостем на вилле. Мои предки занимались куплей-продажей предметов искусства и аккуратно вели дела, но к семейным архивам относились беспечно: историческая встреча избежала упоминания в переписке, не запечатлена на фотографиях. Как его звали? Имя не феникс. Никто не подписывает свой дневник. Как мог он затеряться среди книг? Художник больше ничего не писал и бросил дневник за ненадобностью, бежал с виллы, забыв его в спешке, погиб? Как бы там ни было, но эскизы — разоблачение прошлого. Картина ожила, сняла маску, и мир вокруг нас пришёл в движение.

Красное платье моей прабабки вспыхивало в полумраке лестницы, пока мы с дядей тащили картину наверх. Синий фон отразил край вечернего неба за окнами, когда мы закрепили её на стене и отступили назад, разглядывая словно впервые. Я ощутила август, его альтовый, насыщенный тревогой и печалью тон. Лету конец, и отовсюду крадётся осень — нет, ещё не страх, но предчувствие страха. Я знала: неоценённая картина — бесценна, и очнувшись от долгого сна, не согласится жить под чужим именем и с чужим лицом.

Не существует Высшего Суда для искусства: раньше шедеврами считали картины, пережившие время, теперь, когда времени не осталось, — всё, что дорого продаётся. Цены диктуют арт-дилеры: купленная в десять раз дороже у себя же на аукционе картина попадает в каталоги и при последующих продажах будет расти в цене. Со временем её начинают подделывать. Художник стремился вдохнуть прошлое в настоящее, воспроизвести руку мастера, убивая себя. Те, кто пришёл после него, убивают других. Картины малоизвестных художников перелицовывают в шедевры звезд-современников. Копии больше не пишут, опасно: экспертиза выявит возраст красок и полотна. История, как и память, стирает лица и имена, замещает персонажей второго плана. Воин на полном скаку отрубает головы, а потом оглядывается и видит, что все они — его собственные. Даже наскальные рисунки не вечны: ветер, вода, песок... Наша жизнь — перелицовка: рисуем уважаемых граждан поверх дерзких детей, превращая лёгкий след от улыбки в морщины скорби. Бог сотворил нас подделками — по образу и подобию, если бы жизнь была подлинной, мы бы не умирали.

Дядя просил подождать с экспертизой до весны, не привлекать внимания к картине в сезон наплыва гостей: это может поставить под угрозу всю коллекцию и репутацию виллы. Но способен ли кто-то удержать равновесие, шагнув вперёд и не коснувшись земли? Слова плетут судьбу, дают власть над временем, обрекают на безоговорочную победу. У

каждого человека — своя Вселенная, где он — Бог и решает, кому жить, а кому умирать, что считать подлинником, а что подделкой. В моём мире хватало места только для нас троих. Но осень привела в нашу жизнь Настоящую Женщину. Так называл её дядя. Поначалу они и правда были безмятежно счастливы, как все влюблённые. А спустя месяц меня стали будить по ночам громкие споры. Она уговаривала дядю продать виллу и вложить деньги «в дело». В последнюю ночь дверь в спальне не хлопнула — взорвалась. Никогда! Слышала, как он плачет внизу в гостиной. Ещё один узник родового гнезда. Отчаяние, отречение, одиночество — кольца слов прочнее обручальных. В гостиной и я плакала в детстве. Когда родители отправили в школу, плохо привыкала к классу, к порядку, к урокам по расписанию. Однажды в ручке лопнул стержень, и чернила разлились по всему рюкзаку. Смотрела на чернильное море в рюкзаке, бессильно цепенея от страха перед наказанием. Мальчик с соседней парты протянул ручку и чистую тетрадь. Как он догадался? До сих пор помню его улыбку и запах — солнца и черничного пирога. До сих пор кажется, что Земля населена существами с разных планет, и если вдруг встретишь своего, не отпускай никуда, другого такого не будет. Домой за руку привёл дядя. В школу я не вернулась, родители наняли репетиторов. И сейчас картина не позволила нам разнять рук. Настоящая Женщина улетела в Париж, а я приняла нашу связь за пределами крови.

Соперница появлялась неслучайно. Её слова «Реализм нынче не в моде!» сделали дядю завсегдатаем аукционов. Дорогой и растущий в цене авангард выживал из дома старинные портреты кисти малоизвестных художников. Безымянные призраки покидали виллу один за другим. Вместо них со стен тарасились монстры с размашистыми подписями в углах холстов. Думала, старость мне не грозит, если вместо зеркал повешу картины, но глядя на фиолетово-жёлтые, искажённые болью и ужасом лица, хочется умереть или обриться наголо. Когда долго плачешь, лицо застывает восковой маской, а по ночам снятся кошмары о зеркалах. Самый близкий мне человек превращался во врага, отсчитывал ступени в Ад. И нашему противостоянию не было конца. Я не решилась бы бороться за наследство ни с его женщиной, ни тем более с ним. Ждала исхода, пытаюсь отвлечься. Перечитывала строки из дневника художника о безумии как о привилегии, спасительном лекарстве от боли. О том, что борьба между «казаться» и «быть» — путь к возрождению. Оправдывала высшую несправедливость верой в чудо создавать миры, которая даётся лишь тем, кому жить настоящим невыносимо.

Я могла бы обнародовать дневник с эскизами, жёлтая пресса падка на сенсации. Подделка страшна не тем, что мастерам добавляют фальшивых полотен, а тем, что кого-то лишают имени, принося в жертву. И жертва рано или поздно потребует возмездия. Чтобы рухнул картонный домик, достаточно выдернуть одну карту. Чувствовала, дальше — художник позаботится о своей картине.

Сенсация не заставила себя жать. «Махинация века!» — кричали заголовки. Газета трепетала у дяди в руках, как иссушенный ветрами лист, задержавшийся до весны на ветке. Недавно купленные им на аукционе полотна авангарда объявили подделкой.

— Я не знаю кому и во что мне верить! Так мы всё потеряем...

— У нас ничего и не было. Весь мир — подделка.

Мы не смогли вернуть художнику имя, и он уничтожил нас, чужая жизнь никому не нужна. Когда вечером из камина выпало горящее полено, и огонь побежал вверх по портьерам, я не удивилась, только поблагодарила мысленно, что дождался отъезда гостей. Мы были одни на вилле, распустили прислугу — поменьше сплетен накануне возмездия. Наутро должны приехать эксперты, оценщики всей коллекции. Мы стояли и смотрели, как

огонь пожирает полотна. Молча, не шелохнувшись. Фальшивки считаются подлинниками, если не доказано обратное. Мёртвые люди продолжают жить на портретах. Картины останутся в каталогах. Светлая им память. Огонь разрушает, создаёт — и хранит.

Инстинкт самосохранения толкнул нас навстречу друг другу. Последний шаг, и родовое кольцо замкнулось. Языческий ритуал кровосмешения: если старший брат не вернётся с войны, жену наследует младший. Отец не смог подарить тебе её, они не вернулись вместе, держась за руки, но зато есть дочь. Моя прабабка смотрела со стены, как таяли наши тела в отсветах пламени. Её платье — огонь и не загорится, подобное не разрушает подобное. Завтра ей позволят выйти из тени.

За окнами сгущались синие сумерки.

«Синий цвет влечёт в глубину сна без сновидений, — писал в дневнике художник. — Тонешь в бездонном мире иного за пределами человеческих чувств. К синеве нельзя прикоснуться, как нельзя догнать горизонт, её созерцают вслепую, будучи уже частью картины, растворившись в ней без остатка. Синий я — провидение, Божье око. Красный меня останавливает на пороге ночи, как факел в руках привратника, обещает тепло, пищу и кров. Красное платье жрицы огня. Жизнь из плоти и крови. Радость и насыщение. Солнце погружается в океан, в водовороте рождается Вселенная. Я шагаю босиком по кромке закатного неба, как канатоходец, храня её равновесие времени-вечности. Жизнь наполняет искусство, искусство творит жизнь».

2012, Милан-Сенаго  
(Вилла Сан-Карло Борромео)



**Жёсткий реалистический РОМАН**  
**«Останусь лучше там...»**  
**Игоря ФУНТА**  
вскрывает  
тайны всемогущей  
криминальной организации  
на территории  
**России**

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

Владимир АЛЕЙНИКОВ

## СТИХОТВОРЕНИЯ

### Каштаны

Ах, эти дни — раденье при свечах!  
Живём в каком-то трасе обрученья  
И тащимся с плащами на плечах  
Туда, где пыл в почёте не зачах, —  
Хоть голову давай на отсеченье!

Никто не собирается стареть,  
Надеяться на каменную гору, —  
Ещё бы не позволили гореть,  
Незловиво в любви поднатореть! —  
А смерть придёт некстати и нескоро.

Понять бы эти выплески белил  
На выросшую завязь изумруда,  
Где листовенные заводи открыл,  
Трепещущие скорописью крыл,  
Пришелец, заглянувший ниоткуда.

И тремоло послушного листа  
Столь выпукло на иззелена-синем  
Предвестии воздушного моста,  
В сирени окунающем уста,  
Что мы его в забвенье не покинем.

Как правило, появится и тот,  
Лукавящий в толпе, кто мучит дурью,  
Кто за руки восторженно берёт,  
Из вёдер заливая небосвод  
Берлинской иль парижскою лазурью.

И сразу затевают маскарад,  
Чтоб к вечеру, в пристрастьях постоянны,  
Прислушивались к шёпоту наяд  
Блаженства расточающие яд  
Виновники вторжения — каштаны.

## Акации в цвету

Акации в округе расцвели,  
В дожде неумолкающем пахучи, —  
И птицы удержаться не смогли  
От щебета, звенящего вдали,  
Столь нужного сегодня для земли  
И в небе разгоняющего тучи.

Припомню ли когда-нибудь и я  
Дражайшие сии фиоритурь,  
Дрожащие над фаской лезвия  
В напевном оправданье забытья  
И вставшие на грани бытия,  
Где спешно затевали бы амурь?

Вбирай же всеми фибрами души  
Воздушные свечения начатки —  
И спрашивать, пожалуй, не спеши,  
Но мысленно сорвись и согреси —  
Куда как наважденья хороши  
И грёзы обездоленные сладки!

Так некогда творец Пигмалион,  
Волнения постигнуть не умея,  
Но что-то прозревающий сквозь стон,  
Рождаемый влеченьем вне времён,  
И вспыхнувшей страстью просветлён,  
Стоял пред изваяньем Галатеи.

Так ночью одинокая луна.  
Бессонниц повелительница странных,  
Сквозь запах, поднимаемый со дна  
Эфира, где разлита тишина,  
И выплеснутый в чаши у окна,  
Как пленница, скорбит об океанах.

Напутствуют скитальцев Близнецы,  
К обители стремятся богомольцы,  
Смирнее сплетаются венцы, —  
И зеркало, устав от хрипотцы,  
Расскажет, где томятся бубенцы  
И прячутся серебряные кольца.



\* \* \*

Есть состояние души,  
Непостижимое для многих, —  
Оно рождается в глуши  
Без лишних слов и правил строгих.

Оно настигнет наобум,  
Неуловимо-затяжное, —  
И там, где явственнее шум,  
В листве встречается со мною.

Переливаясь через край,  
Оно весь мир заполонило —  
И в одиночестве решай:  
Что сердцу бьющемуся мило?

Покуда дождь неумолим  
И жребий брошен, как ни странно,  
Бессонный мозг заполнен им,  
Как храм — звучанием органа.

Давно разбухшая земля  
Уходит в сторону прибоя,  
Как будто смотрят с корабля  
На брег, прославленный тобою.

Среди немислимых запруд  
Есть что-то, нужное влюблённым,  
Как будто лебеди живут  
За этим садом затенённым.

И, словно в чём-то виноват,  
Струится, веку в назиданье,  
Слепой акаций аромат,  
Как предвкушение свиданья.

Велик страдальческий искус —  
Его почти не замечают —  
И запах пробуют на вкус,  
И вкус по цвету различают.

И в небесах без тесноты  
Непоправимо и тревожно  
Пустые тянутся мосты  
Туда, где свидимся, возможно.

И как собою ни владей,  
В летах увидишь отдаленье,  
Где счастье прячут от людей,  
Но прочат нам его в даренье.

## На пороге стихий

Эти кольца и серьги эти —  
Всё ушло — и былого нет, —  
И остался на белом свете  
Лишь акаций туманный цвет.

Эти волосы, слов темнее,  
Этот сонный изгиб в устах  
Так покорно сроднились с нею,  
Словно тени с дождём в листьях.

И когда я понять пытаюсь:  
Чем жива? — весела ль сейчас? —  
Так смутит, на свободе маясь,  
Золотистая зелень глаз.

И живёт она, словно птица, —  
И зовёт, как завет велит,  
Из провалов сознанья лица,  
О которых душа болит.

У тебя ли она не спросит:  
Как забрёл ты в сей край степной,  
Где с полуночи травы косит  
Полумесяца серп шальной?

От тебя ли она узнает:  
Как дышал, одинок и прям? —  
Что же встрече давно мешает? —  
Всё, что в ней недоступно нам!

Не нужны ей лета с ненастьем —  
И уже умудрён, как змий,  
Так жестоко испытан счастьем,  
На пороге стою стихий.

## Есть имя

Есть имя у неистовости дней —  
Зовут её июньскою порою, —  
И тянемся, отверженные, к ней,  
И там, где восприятие полней,  
В язык вникаем пламенного строя.

Распластанная плещется листва —  
Она ещё так мало бушевала, —  
И по ветру летящие слова,  
Не понятые близкими сперва,  
На улицах кружатся как попало.

Толпятся у порога беготни  
Акации, белками нависая  
Над берегом, где руку протяни —  
И что-то невозможное верни —  
И сразу же поддержит, не бросая.

Цветению словутому — хвала!  
Томлению воздушному — осанна!  
И лишь полураскрытые крыла  
Подскажут, что любовь твоя была  
Подобием звучащего органа.

Для карих бы раздаривать очей  
И город сей, и вечер тонкобровый,  
Где столько зажигается свечей,  
Что струйки сквозняковые речей  
Камедью въявь сгущаются вишнёвой.

Венцом терновым нас не удивить —  
Несём его по очереди, зная,  
Что каждого из грешных, может быть,  
В разлуке ни за что не позабыть,  
Когда-нибудь с надеждой вспоминая.

# НАТЮРМОРТ С СЕЛЕДКОЙ И БЕЗ

## 1. Натюрморт с селедкой

Я однамаюсь по лестнице, останавливаясь каждые пять ступеней. Дыхание сбивается, ноги не идут, но я тороплюсь, тороплюсь я очень и весьма, потому что вижу, как это будет. Блеск бутылки и блеск селедочной кожи отразятся друг в друге, и газета будет слегка затенять их, обнимая и прикрывая селедку — топорщиться будет смятая газета, для нее закон тяготения будет не писан. И красная клеенка будет все это подсвечивать снизу кармином.

Селедка будет лежать так, чтобы хвост касался бутылки, бутылкиного белого стекла он будет касаться и, как бы прилипнув к нему, задираться слегка, чтобы хотелось поправить, нестерпимо чтобы хотелось поправить его. Эх, мне поправиться бы самому, немного мне бы, чуть-чуть — много нельзя, потому что водка должна быть в бутылке выше этикетки на палец. Я уважаю свое ремесло и обманывать зрителя не стану. Халтурщик налил бы воду, но я водку водою не подменю. Вода иначе преломляет свет, и пусть никто не заметит подмены, но я-то знаю.

Рука дрожит, и ключ не попадает в скважину замка, вся скважина исцарапана, исчерчена-покарябана моим непопадающим ключом. Стопарика хватит, чтобы поправиться, одного-разъединственного стопарика, без него никак. Но больше нельзя, потому что водка не может быть ниже этикетки, это сломает всю композицию, уже живую в моей голове. Да, выше этикетки на палец. Ну, на полпальца — меньше никак нельзя.

Мои ботинки в рыжей глине, рыжая глина на потертой коже ботинок, взгляд прилипает к ней, вязнет в рыжей вязкости, но это я напишу потом — а сейчас я развязываю шнурки, с трудом развязываю, потому что руки мои дрожат, и стаскиваю мокрые ботинки, и ставлю на газету. Я надеваю теплые войлочные тапки, иду на кухню и открываю бутылку — и наливаю, и выпиваю, и занюхиваю хлебом. И выпиваю еще, но больше нельзя, и я останавливаю себя. Я выбрасываю крышечку, не нужна мне блестящая крышечка, а нужна белая тряпица. Туго сворачиваю я ее, в крепкий рулончик скручиваю и затыкаю бутылку.

Руки мои не дрожат, нет, уже не дрожат мои руки. Я ставлю бутылку на красную клеенку и кладу селедку в газете так, как задумал еще в магазине, где мой глаз притянул влажный блеск селедочной кожи. Еще тогда, в магазине, я знал, что реальность преподнесет сюрприз, я знал — и так оно и выходит. Синяя кухонная стена наносит удар, блики на селедочной коже и на стекле бутылки отчаянно сини, много синее, чем я задумал, но я не завешиваю стену простыней, нет. Хотя мог бы. Я принимаю удар, и открываюсь ему, и радуюсь.

И я пишу, и все выходит как надо, потому что мастерства не пропьешь. И когда все закончено, я наливаю водку в стакан и смотрю на свою работу, и закусываю селедкой с хлебом, и мне хорошо.

## 2. Войлочные тапки

**Н**е зря я мерз на рынке, как зад без портков, как лысина без шапки, как сторож без тулупа. Продал я натюрморт с селедкой, за бесценку отдал одалиску с голубой сияющей кожей, увез ее иностранец — англичанин или немец. Или вообще француз. Будет смотреть на томную мою селедку, на мощную бутылку будет пялиться у себя в заграницах, на наш колорит. У них своего колорита нет, везут отсюда: у нас-то полно. Как грязи. Как нефти. Как бомжей.

Не зря я на рынке мерз, как цыган на льдине, — денег на все хватило, на все про все, чего душа пожелала. Хлеб я взял, водку, селедку, убиенную курицу и банку мармелада из мандариновых шкур. Снял в прихожей ботинки, а селедку в пакете за форточку вывесил, на Новый год ее, красавицу, заначил, чтобы не вышло, как в прошлый раз: праздник, а закусить нечем. Вывесил я ее, красавицу, на мороз и стал искать тапки. Войлочные тапки, теплые тапки из серого войлока, потому что в носках на линолеуме холодно. Не было тапок ни под вешалкой, где у них стойло, ни у дивана, где смятая постель, ни под шкафом, где пустые бутылки, ни под кухонным столом, гдедохлый таракан. Как сквозь линолеум провалились тапки к нижнему соседу. Я бы шлепанцы жены надел, когда б она была женщина крупная, в теле, со складками на боках, с гулким голосом и большими ногами, но нет у меня жены — ни крупной, ни мелкой, ни с боками, ни без.

Сел я по-турецки на табурет, ноги поджал, хлеба отрезал и курице ногу отломил. Предпоследнюю ногу мертвой курице отломил и бутылку откупорил. Масла бы на хлеб, но если роскошествовать, никаких денег не хватит. Масло дорого, а краски масляные того дороже — хоть акрилом пиши. Но я не готов, я пока еще гордый, акрилом брезгую: в нем прозрачности масляной нет. На мои холсты много масла идет, я слоями краску кладу, не размазываю. А вот холста полно, холст я с лучших времен запас; холста в загашнике завались, было бы масло.

Прошла неделя, может две — стало в доме попахивать. По духу я пошел, за носом своим пошел, как собака по следу, — и нашел на кухонном окне пакет. За занавеской он лежал на подоконнике, в аккурат над батареей, а в нем селедка тухлая, разложившийся селедкин труп. Опустил я его в мусоропровод с искренней скорбью — пусть пируют тараканы, могильные черви наших продуктов, — и достал сверток из-за форточки: что же в нем? неужто селедка раздвоилась? А там... там тапки войлочные, заиндедевские. Положил я их на батарею оттаивать, сел с ногами на табурет и сажу, опечаленный, сажу и скорблю. И сделалось мне видение.

Ясно, подробно, как у малых голландцев, вижу: музей, паркет, экскурсовод — женщина крупная, кудри рыжие, — а лица не вижу, отвернула она лицо. Люди толпятся, шеи тянут, картина лазером охраняется. Женщина гудит гулким голосом то ли по-немецки, то ли по-французски и тычет в картину рукой. А на картине той, на натюрморте, бутылка стоит, как мощный дуб, как эвкалипт, как кинетический момент. И вижу я: картина эта мною писана, руку я сразу признал. Водка чуть выше этикетки, газета презирает тяготение, а на ней, на газете — тапки войлочные вальсяно, как толстяки в парной, как тюлени на лежбище. И подпись: «Я. Сирота». Моя, стало быть, подпись.

### 3. Блудный сын

**К**ак я упал? Да как все падают — оступился. На лесах стоял, на верхотуре, ангелочков крыл, золотом крыл им крылья. Полюбоваться шагнул назад, беспечно шагнул, не сторожась, не озираясь, будто сам я ангел невесомый, безгрешный, крылатый — и пал с лесов на мраморный пол. Вот тебе и ангелочки.

Лоб разбил, бок ушиб, руку сломал. Сломал правую руку в двух местах, вот беда так беда. Хирург мужик понимающий попался — сказал утешительно, белую руку свою длиннопалую на мой гипс положил и сказал: пока правая срастется, надо учиться писать левой. Она, мол, меня еще поразит, левая, она вроде как с другим полушарием в мозгу связана. Люди, сказал хирург, находят нового себя, сменив руку. Ну, спасибочки на утешении, только я себя сорок лет как уже нашел. Новый я мне вроде как ни к чему.

Прав был ушлый хирург, ох как прав: поразила меня моя левая, поразила, но не обрадовала. Она, гадина, не то чтобы вовсе писать не умела, нет, умела она, хоть и медленнее правой раза в три. Она, гадюка подколотная, иначе писала — как не моя.

Я художник честный, себя уважаю — как вижу, так и пишу. Когда правой рукой работаю, свет и тень вижу кусками, смачными такими блямбами, увесистыми ломтями, как добрая хозяйка режет хлеб и масло толсто на хлеб накладывает. Краску на холст я кладу грубо, объемно, мои полотна можно пальцами читать, как шрифт для слепых. Мой способ видеть, он со мною рос, он — это я, как можно его от меня отделить? А вот поди ж ты. Лучше б я не пытался левой писать, лучше б я не знал, как оно бывает, как легко себя, родимого, потерять.

Левая вела верную линию, клала нужную тень, соблюдала точные пропорции — ну чисто тебе фотография. Что на сетчатке, то и на холсте, — передвижник какой-то, а не я. Мучился я неделю, а может две, хотел вернуть свой прежний глаз. Кучу холстов перепортил, в угол побросал, в мусорный мешок. Одно хорошо: левая масла много не брала, тонко писала — не жалко выкидывать. Посмотрел я на это дело, подумал — и вовсе масла ей не стал давать: нечего тут дорогие краски тратить.

Дал я ей уголь и бумагу, пусть тешится. К тому времени она поднаторела, обнаглела, скорость набрала, и ну выписывать, как водяная змея в пруду. Обрадовалась. Да и мне, честно сказать, реалистический этот разврат как-то легче в черно-белом виде перенести. Набацала она натюрмортов, автопортретов, видов из окна, облаков в небе, зонтов на улице — по самое не хочу. Собрал я листы и потащил в галерею, к галерейщице знакомой потащил я их, как на мусорник. Ну и что? Вышло, как я думал. Как я думал, ровнехонько так и вышло. Приняла галерейщица рисунки, все взяла, еще и разохалась: ах, верная линия! Ах, передача фактуры! Ах, зря вы, Яков, столько лет с маслом потеряли, вы прирожденный график. Несите еще!

Ничего не сказал я, ничего не сказал на это, повернулся и ушел в печали и скорби. Была б она мужиком, дал бы в морду — и все понятно, — а так, что говорить? Праворукие гениальные работы мои она не брала, а этого гладкописца пустоглазого взяла на ура.

Ну вот, прошла неделя. Или две. Зашел я в галерею, огреб денег, накупил масла, какого только захотел, и жду. Завтра снимут гипс, завтра я стану собой, непризнанным гениальным собой стану я, вернусь к себе, как блудный сын, — и буду беден и счастлив.

Вот только мучит меня одна мысль, сверлит мозг, кишки на кулак наматывает — что если левая рука ни при чем? Что если от удара о мраморный пол выпал я из себя, как горох из стручка, — и никогда не вернусь обратно? Да нет же, полная чушь, это я трушу, трушу и боюсь. Никогда ни по кому в жизни так не скучал, как по праворукому себе.

Блудный сын воротился — и я ворочусь. Завтра, завтра к полудню я стану собой, помяните мое слово!

Алеся ШАПОВАЛОВА

## ЛЮБОВЬ ВСЕГО СИЛЬНЕЙ

\* \* \*

Ты смакуешь меня по капельке,  
Мой молочный, мой ангел маленький,  
Запиваешь мною свой сон.  
Запивай, губами причмокивай,  
Мы под небесами высокими  
Ради этого и живем.  
Все сбывается, все сбывается,  
Твои губы в меня впиваются,  
Пей, соенок, захлеб — до дна!  
И за что это мне даровано —  
Ночи сладкие, ангел сонный мой  
С волосами светлее льна?

30.01.2012

\* \* \*

Ты бьешь меня нещадно — под ребро!  
Помилуй, я опять хочу уснуть.  
Соенок мой, пока еще я — дом,  
Не надо стены дома пяткой гнуть!  
Ты думаешь, вселенная мала?  
Но этот шар — всего лишь колыбель,  
Качаю, засыпаю у стола  
Под песенку — двустольную свирель.  
И снова просыпаюсь — пять утра.  
Выглядываю в небо — стынь и высь.  
И глажу колыбель твою: пора,  
Мой маленький, соенок, появись!

## Ницца

Экая снова пришла жара,  
Улочки пахнут лавандой и рыбой.  
Невыносимо! Уже с утра  
Город гудит раскаленной глыбой.  
Столики, столики, чехарда  
Официантов, мадам в панاماх,  
Площадь Массена — почти слюда,  
Плавится, тонет в своих фонтанах.  
Дети и чайки, колокола,  
Хлебная мякоть в оливковой гуще.  
Старая Ницца шкворчит, больна  
Небом и морем и днем бегущим.  
Я здесь — увы! — не умею жить,  
Этот матиссовый пестрый танец  
Черными нитками грубо шит,  
Как фотошопный дешевый глянец.  
Вновь забываюсь к шести утра.  
Грязь с мостовой из-под шлангов смывают.  
Снятся мадамы, панамы, жара,  
И Айседора свой шарф надевает\*.

14.05.2011

\* \* \*

У жизни есть ключи от всех дверей.  
Не спрячешься, взбунтуются гормоны,  
И ты, каких на свете миллионы,  
Во чреве понесёшь своих детей.  
У жизни есть ключи от всех дверей.  
И если влаги нет, и цвет иссушен,  
И древний хоровод уводит души,  
Не нам судить, кто жив, а только ей.  
У жизни есть ключи от всех дверей.  
В плену страстей ты ныне беззаботен,  
Ты упускаешь тайное в природе,  
Ведь не она, а мы идём за ней.  
У смерти есть ключи от всех дверей.  
Но если за тебя любовь вступилась,  
То страшный рок сменяет Божья милость.  
Ты в ней пребудешь сотни тысяч дней!  
И смерти нет, любовь всего сильнее.

10.04.2008

---

*\* Айседора Дункан погибла в Ницце, ее шарф попал в ось колеса и, затянувшись, сломал танцовщице шею*



\* \* \*

Не целуйте, мне плохо, я пью аспирин.  
Я вчера у окна простояла, сгорая.  
Я боюсь позабыть все оттенки картин  
Акварельного полуразмытого рая.

Я лечу, я лечусь — шоколад с коньяком,  
Во хмелю все потери не так уловимы.  
Аспирин и конфеты вселяются в дом,  
Значит, к дому опять подбираются зимы.

Слишком много конфет — значит, будут снега,  
Значит, ветру ломиться в закрытые ставни.  
Это логика Вам непонятна пока,  
Я сама поняла это только недавно.

Не целуйте, мне плохо, я пью аспирин.  
Я теряю, теряюсь которые сутки!  
Мой редеющий тёплый и мокрый сатин  
Не годится уже на цветастые юбки.

10.2007

\* \* \*

По этому старому жёлтому городу,  
В котором улыбчива каждая улочка,  
В карманах кочуют каштаны и жёлуди,  
И фея шныряет с утра возле булочной.  
У входа в метро — пожилая волшебница,  
В ведёрке пластмассовом — дрожь гладиолусов.  
И в счастье так просто и радостно верится,  
И счастье стихами роняю вполголоса.  
По этому жёлтому, этому старому  
В карманах кочует моё одиночество.  
И сладко ладоням — в прохладе каштанную.  
И взрослою быть почему-то не хочется.

21.09.2007

Григорий БЛЕХМАН

## ДЕВОЧКА ИЗ МАГАДАНА

Тоне Аксеновой

### Ключевое слово

Слово «мама» и слово «этап» Девочка узнает одновременно. И, может быть, последнее узнает даже раньше. Да и не будь в судьбе Девочки полковника Цирульницкого, первое слово вообще могло уйти из ее арсенала...

*«Был обычный рабочий день. Я уже провела музыкальные занятия с младшими и средними. Оставалась старшая группа, и я привычно барабанила марш, под который они должны войти в зал. Ритмично шагая под музыку, дети обходили свой обычный круг, чтобы на конец музыки остановиться около своих стульчиков. И вдруг я заметила, что за подол последней в строю девочки держится малышка, не доросшая не только до старшей, но даже до младшей группы детского сада. У девочки были заплаканные светлые глаза, а на голове именно такой пушок, какой и полагается птенцу, выпавшему из гнезда...»*

Вот так много лет спустя напишет о своем знакомстве с будущей дочерью ее будущая мама, чьи воспоминания по ходу этого рассказа будут приведены курсивом.

Воспитательница быстрым шепотом объяснит, что мать ребенка, бывшая заключенная, принесла заболевшую девочку в больницу и больше к ней не приходила. Найти ее пока не удалось. Неизвестно, жива ли... А также, что весной для таких детей будет специальный (детский) этап в Комсомольск-на-Амуре, в спецдетдом. И добавила:

*«А пока вот мы должны возиться. В яслях, видите ли, места нет... А мы вроде двухильные, нам все можно... И так в группе тридцать восемь душ. А эта не того возраста, да и плакса большая. Замучилась с ней... Пусть посидит на музыкальном, может, отвлечется...»*

И теперь — небольшое пояснение для тех, кто сегодня еще молод.

Дело в том, что в те далекие 40-е, о которых идет речь, страна уже второй десяток лет в пределах собственных границ успешно культивировала формацию, при которой каждый с легкостью мог ощутить на себе суть поговорки: «от сумы да от тюрьмы...». Нам всюду мерещились не только внешние, но и внутренние (скрытые) враги, и поэтому в местах усиленного «трудового воспитания» за колючей проволокой, под бдительным прищмотром специально подготовленных людей, многим из которых тоже предстоит пополнить ряды ими охраняемых, к тому периоду находилась уже едва ли не половина населе-

ния. И там рождались дети. Природе ведь не прикажешь. Но эти дети, по мнению тех, кто предложил такую модель развития *«самого прогрессивного на земле строя»*, не должны были принадлежать своим родителям. Поэтому с определенного возраста детей у родителей отбирали и помещали на воспитание уже в *«нужном для страны русле»* в спецприемники: сначала ясельки, потом садики, а затем и детские дома. Откуда, по мнению опять же тех, кто все это придумал, должны были выходить в самостоятельную жизнь уже надежные строители того, что когда-то на воле делали не так родители этих детей; за что и лишались этой воли. Правда, у родителей были некоторые шансы вернуть ребенка. Если, например, *«смоют с себя»* свои заблуждения, идущие вразрез с Генеральной линией, и докажут ударным трудом и лояльностью, что *«осознали и перестроились»*. Ну и, естественно, пообещают, что впредь ни-ни. А лучше всего — и это особенно поощрялось, если еще и начнут выявлять таких же нерадивых, какими не так давно были сами, когда заблуждались.

И вот в одной из временно возникших пар, среди тех, кто, может быть, пока еще заблуждался или, если и осознал, и перестроился, то не сумел это доказать кому надо, появилась двойня: мальчик и девочка. Появилась она на далекой от *«материка»* Колыме. И через довольно короткий отрезок времени мать была вынуждена сделать то, что, как мы уже знаем, сделала, чтобы заболевшая девочка хотя бы выжила.

Судьба мальчика и родителей этих двойняшек неизвестна до сих пор, а вот с девочкой случилось иначе. Она каким-то чудесным образом обрела себе маму. Обрела почти там же, где родилась, а может, и вообще там же — в издавна знаменитой у нас столице колымского края городе Магадане. Дело в том, что ее будущая мама была на то время музыкальным работником в детском садике, где находились дети тех, кто вольно или невольно стали с какого-то момента жителями этих мест, пройдя перед этим все этапы соответствующего перевоспитания в соответствующих лагерях...

Дети в этом садике были гораздо старше девочки. А группа ее возраста давно была переполнена. Она же, как мы уже знаем, не сумела попасть в число тех, кого переправили в другое место, что находилось далеко от Магадана. Может быть, туда отправили и ее брата. А так как такие этапы бывали лишь раз в год, то этот год ей надлежало остаться здесь. Конечно, девочке было скучно без тех, с кем привыкла жить и играть, а особенно без братика, вот почему она на первых порах постоянно плакала. И это происходило до тех пор, пока не встретила свою будущую маму.

\* \* \*

**А** пока ни она, ни будущая мама об этом (что станут одной семьей) не знают, события развиваются так:  
*«...И она действительно отвлеклась. Она приложила ухо к блестящему полированному боку пианино и, услышав гудение, счастливо расхохоталась. Когда стали разучивать какую-то очередную русскую пляску, она вдруг поднялась и встала в общий круг. Ей было тогда год и десять месяцев. Но она двигалась ритмичнее шестилеток, в среду которых затесалась так неожиданно.»*

*С тех пор так и повелось. Стоило мне войти утром в так называемый зал, как распахивалась дверь той группы, и она выбегала со всех ног, выкрикивая на ходу: «Музыка*

*пришла! Музыка пришла! Говорила она для своего возраста и биографии на удивление хорошо. Не все наши четырехлетки имели такой запас слов и чистое произношение...»*

Как-то в субботу, когда родителям можно было забирать детей на выходной, «музыка» задержалась у заведующей на каком-то совещании и вернулась в зал уже в сумерках. Зал являл собой странную приземистую комнату, где, кроме черного пианино, был огромный, не по масштабам помещения, портрет генералиссимуса в орденах и красных лампадах. У подножия портрета, на самодельном пьедестале, всегда стояли искусственные цветы. А взрослые при каждом удобном случае старались внушать детям «*священный трепет перед этим алтарем*», поэтому даже самые отчаянные шалуны никогда не прикасались ни к цветам, ни к самому портрету.

*«Но сейчас кто-то возился у этих цветов. Какая-то крохотная фигурка теребила букет белых марлевых роз.*

*— Что ты тут делаешь одна впотымах?*

*Она ответила очень точно:*

*— Я тут плакаю...»*

Плакала она обычно вслух, но видимо, в эти субботние сумерки, к тому времени, как в зал вошла ее «музыка», силы уже иссякли, и она плакала беззвучно. Лишь иногда всхлипывала. Ей было грустно и горько от того, что не могла разделить с другими девочками и мальчиками той субботней радости, которая тех ожидала. Когда «... *мальчишки с пернатыми криками скатывались вниз по перилам, кувыркались, как циркачи, девчонки визжали и ссорились, отыскивая свои варежки или рейтузы в общей куче, а няни залиристо кричали и на детей, и на родителей. И над всей этой суетолокой висело слово «домой!»...*

*— Домой, — повторила девочка, — а что это такое?*

*Откуда ей было знать? И как это можно было ей объяснить? Ее биография пока не включала этого странного понятия. У нее был деткомбинат, больница, наш круглосуточный садик... А впереди детский этап в спецдетдом. И надо ли ей растолковывать, что такое «домой»?*

*— Пойдем в живой уголок, нальем кроликам воды, — предложила я ей.*

*Нет, ей было не до кроликов, она досадливо отмахнулась от моего предложения.*

*И тут она вымолвила с неправдоподобной для ее возраста четкостью:*

*— А у меня нету дома...»*

*Договориться с заведующей, чтобы взять Девочку на выходной к себе, труда не составило...*

\* \* \*

Теперь немножко об этой сотруднице детсада, которая уже прочно ассоциируется у ребенка с музыкой. Красавица, умница, с обостренным чувством юмора, огромной эрудицией и энциклопедическими знаниями истории, философии и литературы, имеющая литературный дар. Активная коммунистка, кандидат исторических наук, доцент столичного университета одной из союзных республик, работник городского образования и сотрудник центральной областной газеты. А также мать двоих детей и жена одного из самых крупных партийных чиновников этой республики. Конечно, тогда на воле еще в 30-е *верит* в то, что произносит с разных, нередко и довольно высоких трибун, а также пишет, выступая в печати, где растолковывает соотечественникам мудрость очередного решения тех, кто активно и самоотверженно ведет народ в «*светлое буду-*

щее». И не только ведет, но почти уже привел туда, *«где так вольно дышит человек»*. Ведь *«жить стало лучше, жить стало веселее!»*. Поэтому так *«и работа спорится»*.

И все бы хорошо, но чтобы было еще *«лучше и веселее»*, с какого-то момента назревает необходимость устранить тех, кто стоит на пути: кто мешает *«саду цвести»*. И как же много, оказывается, таких. Даже среди тех, кто, казалось бы, не там где-то, о ком читаешь в газетах и слышишь по радио, удивляясь: *«Ну чего ему (ей) не хватало?»*, а здесь — рядом. Твой товарищ, с которым *«не один пуд соли...»*. А оказывается... Что же происходит? Может ли быть ошибка? И если нет, то кому тогда верить, доверять?

Примерно такие мысли ближе к середине 30-х все чаще посещают эту красавицу и умницу, не жалеющую ни сил, ни времени для того, чтобы нести *«разумное, доброе, вечное»*.

И эти мысли еще усилятся в знаменитом ныне 37-м, когда получит она самую популярную в ту пору статью 58, да еще с п.8, 11 — участие в троцкистской террористической организации. Ни много, ни мало. А как не получить, если не *«сигнализировала»* куда надо. Ну и что, что не думала, не замечала, не могла и представить себе. А бдительность на что? К чему призывает *«ум, честь и совесть»*? Нет, тут что-то не так. Тут скорее соучастие. Ну, может быть, не активное, но пассивное-то уж точно. И на всякий случай, пусть будет именно такая статья. В этом деле лучше *«пере»*, чем *«недо...»*. Мало ли что...

В общем, *«десяточка»*, со всеми уже тогда хорошо известными последствиями...

И вот на фазе этих «последствий» как раз и находилась в пору встречи с нашей Девочкой эта сотрудница детсада: после своей *«десятки»* — в далеком от родных мест Магадане, на вечном поселении, с поражением в правах и, кроме того, еще и в ожидании нового срока. Но об этом чуть позже...

А пока, когда в субботу, договорившись с заведующей, она приведет Девочку к себе домой в комнату в бараке, никто особенно не удивится. Ей и раньше случалось приводить на воскресенье кого-нибудь из детей, оставшихся на выходной без отпуска. Только младший сын, которому после больших мытарств удалось недавно приехать к маме с *«материка»* и который заканчивал здесь школу, недовольно скажет: *«Уж очень маленькая! Будет мешать мне заниматься...»*

Сама же Девочка с первого момента акклиматизируется так, что, оглядев комнату, сразу задаст вопрос: *«А где же моя кровать?»* Она вообще умела (и умеет до сих пор) мгновенно ориентироваться в незнакомой обстановке...

А в понедельник утром она категорически откажется идти в детсад: ей здесь понравилось, дома лучше, она останется тут с *«мамой»*. Это слово она мгновенно переняла от сына. Но *«маме»* надо работать! Ну ладно, она согласна сходить туда, только чтобы сразу вернуться домой.

Заведующая детсадом не позволила *«маме»* взять Девочку в понедельник вечером. В субботу, когда никого нет, пожалуйста! А в будни нельзя. Могут в любой час нагрянуть инспектора и затребовать девочку для отправки на материк в спецдетдом.

*«В эту ночь — с понедельника на вторник — я сделала для себя странное открытие: оказывается, в субботу, когда была девочка, я спала спокойнее, меня не мучили кошмары на тему гибели Алеши»* — старшего сына, не выжившего у родных в блокадном Ленинграде.

*В следующую субботу она долго не могла заснуть, ворочалась, вздыхала. А когда я присела на край кушетки, вдруг взяла обеими руками мою руку и подсунула ее себе под щеку. У меня перехватило дыхание. Потому что это был жест маленького Алешки — он всегда требовал, чтобы я сидела с ним, пока не заснет, и именно таким вот движением подкладывал мою руку себе под щеку.*

*На секунду мне показалось, что даже взгляд ее похож на Алешин...»*

И Девочка как-то незаметно, но вполне отчетливо становится членом семьи, где новая «мама» уже и не мыслит себя без нее. Поэтому между субботах «маму» начинает угнетать постоянный этапный страх: не услали бы «дочь»; вдруг в очередное утро скажут, что этап на Комсомольск-на-Амуре уже ушел. Мало ли что может случиться: возьмут и отправят очередную группу детей раньше срока...

*«Сейчас это кажется неправдоподобным, однако факт, двухлетняя девочка уже знала слово этап. Оно витало в разговорах, да и в играх ребят — бывших питомцев деткомбината. В одно из воскресений, сидя за нашим семейным столом, она вдруг четко вымолвила, без всякой связи с общим разговором:*

*— Это у кого мамы нет — тех на этап. А у меня — мама...»*

И она оказалась права. Этап и на этот раз ее миновал, но по другой причине. Дело в том, что незадолго до очередной отправки сирот на «материк», Девочка вновь заболевает. И очень серьезно. Дифтерит. Ее тут же поместят в инфекционное отделение, а этап уйдет. И очередной, как мы уже знаем, лишь через год. Ну, если и раньше, то, все равно, теперь еще не скоро. Правда, горько, что в инфекционное отделение никого не пускают, и «маме» приходится утешать рыдающего от разлуки ребенка знаками, стоя на завалинке у закрытого окна.

Но Девочка поправится сравнительно скоро. Недели через две она будет «практически здорова, и ее можно бы выписать, будь она домашним ребенком. А в детский коллектив нельзя: она бациллоноситель».

И «маме» удастся взять ее к себе, поскольку препятствий к этому не будет. К тому же и сын дифтеритом уже переболел.

*«За полтора месяца, проведенных у нас, она прочно забыла все прошлые горести, стала меньше плакать, очень развилась умственно».*

И опять, то же странное наблюдение над собой сделает за это время «мама». Когда Девочка с ней, ее тоска об Алеше становится «менее раздирающей, будто отступает перед механичностью мелких бытовых забот о маленьком ребенке. Точно все эти маньяе каши, постирушки, укладывания и одевания, возвращая мне память о моем неутоленном материнстве, врачуют смертельно раненую душу».

Все это и ведет к решению, которое в какой-то момент становится настолько отчетливым, что показалось, иначе и не могло быть: удочерить Девочку. Но домашние поначалу эту мысль не поддерживают. Сын, который относится к девочке «с тем же добродушием, что и к кошке Агафье, никак не мог переключить этот вопрос в серьезную плоскость. Он молчал, но я видела, что... аргументы «против» кажутся ему убедительными...».

Убедительность этих аргументов состояла в том, что на дворе была вторая половина сороковых. Кончилась война, почти все, кто из-за проволоки попали в штрафбаты, остались в земле. А таких было не счесть. Пополнение же территории ГУЛАГа соотечественниками, отправляемыми туда по статье 58, бесплатно строить «самое гуманное в мире государство» в период с 41-го по 45-й, несколько замедлилось. Да и население страны уменьшилось на десятки миллионов. А восстанавливать хозяйство нужно. И самый рентабельный способ — это бесплатный труд. Поэтому Главный стратег и сотоварищи в первую очередь обратили внимание на поиски резерва для такого дела. И поиски увенчались (как всегда) успехом. Во-первых, очень помогла подросшая, как нельзя кстати, борьба с космополитизмом, которая давала достаточный простор для того, чтобы «сохранять чистоту рядов», используя разные статьи Уголовного кодекса. И, во-вторых, было принято решение, наряду с «новобранцами» для указанной «территории» активно привлекать и тех,

кто уже получил неоценимый опыт такого рода трудовой и жизненной деятельности. Ведь кроме той «пользы» для страны, о которой уже шла речь, никогда не вредно и закрепить уже полученное «воспитание». Поэтому, освобожденные накануне и чуть раньше «носители» статьи 58 были «приглашены» на повторные этапы. Те же, кто еще оставались не «охваченными» этим замечательным движением, тоже особых надежд долго пребывать на свободе не питали.

Вот почему и были убедительны аргументы семьи против удочерения Девочки. Уж больно ненадежными виделись перспективы ее взрослых на ближайшее (и не только) будущее.

И теперь — несколько слов о семье. Помимо прочих «грехов», о которых мы уже частично знаем, «мама» была еще и той национальности, по отношению к которой испокон веков стоял клич «спасать Россию». Этот клич был постоянным и различался во временах лишь степенью интенсивности. И сейчас — в послевоенные 40-е эта интенсивность, благодаря активным призывам на борьбу с космополитизмом, была весьма ощутимой.

Но еще хуже обстояли дела с «папой». Он вообще происходил из национальности, против которой страна только закончила воевать. Хоть и обрусевший, давно уже вросший сюда корнями родителей. Но все равно, как говорят, «осадо́к-то остался». Да еще какой — в сороковых-то годах...

Они («мама» и «папа») познакомились уже в ссылке, куда он попал за неосторожно оброненный анекдот. И полюбили друг друга... В живых он остался лишь потому, что был врач «милостью Божьей», очень многим помог и спас в самых сложных обстоятельствах. Помог, в том числе и членам семей местного начальства, благодаря чему и не сгинул...

И эта любовь дала любопытное сочетание, не только потому, что между их национальностями еще так свежи были «взаимоотношения» военных лет, но и из-за глубокого различия характеров, темпераментов и многого прочего. Она, как мы уже говорили, — еще недавно преданная тому учению и идеалам, которые в стране после выстрела «Авроры» стали единственными, патриотка «до мозга костей», широко и глубоко образованный человек, владеющая несколькими иностранными языками (такое соединение свидетельствовало лишь о чистоте ее помыслов). И он — глубоко верующий, соблюдающий религиозные обряды, не сомневающийся в конечной справедливости Всевышнего...

Но, оказалось, что они будто созданы друг для друга...

А теперь вернемся к Девочке. Он говорит «маме»: «А ты подумала, имеем ли мы право связывать судьбу ребенка с нашей обреченной судьбой?»

Она понимает, что все это верно: удочери она Девочку, и та второй раз может остаться сиротой. А нет — она хорошенькая, умница — не исключено, что какая-нибудь бездетная полковница возьмет. «И будет она там как сыр в масле кататься».

Но это диктует разум, а в душе происходит другое: «Ведь они не знали, не могли знать, что все их доводы от рассудка не имеют для меня никакого значения, что... появление этой девочки в моей жизни — не бытовое происшествие, а нечто тайное, почти мистически связанное с Алешей».

И она, выслушав все возражения, отправилась на другой день... в отдел опеки и попечительства. А там — полный крах! Оказалось, что «лица неблагонадежные в политическом отношении, правом усыновления (удочерения) не пользуются...»

Вечером рассказала ему (будущему «папе») о безуспешном визите в это учреждение, и он, видя ее горе, стал утешать и говорить о ее доброте. Но после слов о доброте она вдруг:

— При чем тут моя доброта!.. Ну ты-то разве не понимаешь, что девочка нужна мне больше, чем я ей...

Тут он задумается, и никогда потом не скажет ей о неблагоразумии этого поступка.

## Сорок девятый

Этот год в нашей стране назовут родным братом тридцать седьмого. И такая аналогия возникнет благодаря тому, что в сорок девятом интенсивность пополнения рядов ГУЛАГа, «оскудевшая» было в период войны и в первые послевоенные годы, вновь станет набирать свою мощь. И вот: *«Сначала поползли зловещие слухи с материка... И... в один злосчастный день... мы узнали, что здесь, у нас в Магадане, повторно арестованы двое наших... Вспыхнувшую общую тревогу стали немедленно гасить всякими домыслами и «достоверными» слухами... Никто не хотел верить, что начались массовые повторные аресты... Позднее выяснилось, что эти аресты уже шли вовсю, а мы не замечали их массовости потому, что дело осуществлялось во всеколымском масштабе, по единому списку. Так что на... Магадан падали пока более или менее единичные случаи...»*

Девочка тем временем опять «уцелеет» от повторного детского этапа, поскольку появится приказ отправлять детей только с пятилетнего возраста. А ей лишь три. Больше того, она поедет с «мамой» и с детским садом в пионерлагерь «Северный Артек», что под Магаданом. Поедет на весь сентябрь — *«единственный колымский месяц, милостивый к людям — с нежным желтоватым солнцем, паутиной, брусникой, кедровыми орешками, проказами шустрых бурундуков...»*

И всем там будет настолько хорошо, словно в какой-то другой жизни. Но, когда вернутся в город, откуда в «Северный Артек» слухи не доходили, то сомневаться в близкой катастрофе уже не будет оснований. *«...Все бывшие зэка ходили как придавленные, при встречах на улице вместо приветствия вполголоса называли все новые фамилии взятых...»*

И сомнения оправдались. Это случится днем (также как в тридцать седьмом). Она вела занятие в старшей группе, и в какой-то момент двое мужчин в штатском вошли в музыкальную комнату: *«Тот, что помоложе, небрежно вынул из бокового кармашка небольшой твердый билет с золотыми буквами и бегло показал его мне. Слово «безопасность» я успела схватить взглядом. Его спутник сказал вполголоса:*

*— Следуйте за нами!»*

В кабинете заведующей ей предъявят ордер на арест и обыск. Потом комнату обыщут, но сделают это довольно нехотя и небрежно. И минут через пятнадцать — после того как она соберет себе узелок и напишет доверенность сыну, чтобы мог получить ее зарплату, которая должна быть завтра, услышит:

*— Подпишите протокол обыска... — Изъято четырнадцать листов материалов...*

Этими «материалами» окажется... переделанная ею в диалоги для кукольного театра книжка «Кот в сапогах».

Ее увозят в известный всему городу «белый дом». Обычная, уже знакомая ей — хотя и прошли годы, но это не забывается — процедура оформления. И камера, где она встретит много знакомых. Потом — допросы. Следствие производит довольно странное впечатление, поскольку молодой следователь даже не прячет скуки. Вопросы задает монотонно, что-то записывает без каких-либо уточнений и с удовольствием отвлекается: мо-



жет, например, позвонить по телефону в соседнюю комнату и поделиться с товарищем последними футбольными новостями. И все это для того, чтобы двенадцать лет спустя каллиграфическим почерком переписать прошлые протоколы! Никаких новых обвинений ей не предъявят. Никаких «признаний» не потребуют. Все, что она скажет, следовательно безропотно запишет в протокол. Даже ее слова о незаконных методах следствия в тридцать седьмом году. *«Тогда я еще не знала выражения «до лампочки». Но ему, безусловно, все было именно до нее».*

И вот после очередной из таких «бесед», подписывая очередной протокол, она успевает заметить бумажку, которая лежит в папке, где написано: *«По подозрению в продолжении террористической деятельности».* Вот и выяснилась мотивировка этого ареста. И тут она не сдержалась:

— Это в детском саду, что ли, я террористическую деятельность продолжала?

На что последовал ответ:

— *Так это же просто для оформления. А что же вам писать, когда у вас старая статья пятьдесят восемь — восемь и одиннадцать? Террористическая группа... Шпионаж или вредительство ведь не напишешь, правда?*

Но вот как-то на столе следователя зазвонил телефон. И после короткого разговора, а точнее: *«Слушаю, товарищ полковник... Сию минуту, товарищ полковник... следователь (положив трубку) сообщил:*

— *Вас желает видеть наш начальник... Следуйте за мной!..*

*У полковника был очень импозантный, почти вельможный вид...*

— *Садитесь! — Это мне. — Можете идти, — это следователю.*

А дальше — что-то для нее непонятное и необъяснимое: полковник вдруг сбросит с лица всю важность и заговорит, называя ее по имени отчеству, будто за чайным столом:

— *Какой у вас чудный мальчик! Он приходил за разрешением на передачу. Я любовался им. И как смело он с нами разговаривает! Обычно ведь нас боятся.*

*Он произнес последние слова со странной интонацией. Не с важностью, не с самодовольством, а... с каким-то оттенком горечи.*

— *У вас один мальчик? — спросил он.*

Она долго молчит и мысленно твердит себе недавнюю просьбу сына: *«Не плачь при них!».* Пауза затягивается. Полковник с недоумением глядит на нее.

— *Было два. После того как вмешались в мою жизнь, стал один.*

— *Война?*

— *Блокада. Ленинград.*

— *Но ведь это и при вас могло случиться.*

— *Нет. Я бы из огня живого вынесла».*

Ей вдруг показалось, что полковник смотрит на нее с каким-то непривычным для последних двенадцати лет жизни сочувствием. И даже удивилась. Но тут же себя одернула:

— *Что, я за эти годы еще не изучила их ухватки? Наверняка сейчас предложит освободить меня в обмен на определенную — нужную им для своих протоколов — информацию. В общем, услуга за услугу.*

И поэтому на его добрый взгляд отвечает настороженным и, наверное, даже враждебным. Конечно, он это видит:

— *Не любите вы нас.*

— *И с чего бы... —* произвольно слетает с ее губ.

И она тут же пугается: поскольку ему уже ясно, что услуга за услугу не выходит, сейчас

рассердится, и начнется расправа. Рассказы сокамерников о том, что происходит в карцерах у нее на слуху...

Но, как ни странно, полковник вроде и не думает сердиться. Лишь постукивает карандашом по настольному стеклу и, будто размышляет вслух:

— *Да, удивительный у вас мальчик. У меня такой же... То есть такой же по возрасту. А вот хватило ли бы у него смелости в нужный момент идти заступаться за отца в такое страшное место — этого я не знаю. Так что видите — в каждой беде есть и хорошая сторона. Теперь вы убедились, как ваш сынок вас любит.*

И тут она обнаружит, что не совсем взяла себя в руки — не совсем одеревенела в этом заведении. Слова о любви сына, да еще из уст полковника МГБ (Министерства Госбезопасности), да еще и произнесенные тут — в «белом доме», ее настолько потрясли, что она не соблюла просьбу своего ребенка: заплакала *при них*.

А полковник неожиданно встал и налил ей стакан воды, которую она стала судорожно глотать, стуча зубами о стекло. И вдруг услышала совсем уж немыслимую в тех обстоятельствах и устах фразу:

— *Я знаю, что вы ни в чем не виноваты...*

Фраза действительно была настолько немыслимой, что она не сумела поверить своим ушам:

— Неужели искренне? Или какой-то все-таки подвох?

Но полковник поясняет, что он действительно знает это, однако, его возможности безграничны. И все же облегчить ее положение он может. И сделает это обязательно... А дальше вынимает из ящика папку с бумагами, протягивает ей и пододвигает настольную лампу. От волнения смысл написанных там фраз доходит до нее не сразу. Сначала в голове все путается. Но постепенно она успокаивается и начинает понимать, о чем там идет речь. Сначала, что бумага адресована в Особое совещание при МГБ СССР. Точнее, это копия, а оригинал уже отправлен в Москву. И там: «*Направляется дело такой-то по обвинению... Но вот суть: «Для ссылки на поселение...»*

А это означает *вольное* поселение. **ВОЛЬНОЕ**.

— *Из тюрьмы вы скоро выйдете. Осталось несколько дней...*

Он протягивает ей другую бумажку — копию письма прокурору. В ней ходатайство, чтобы изменить меру пресечения: заменить содержание под стражей на подписку о невыезде. Мотив просьбы: остался без средств несовершеннолетний сын.

— *Видите? Я превратил вашего семнадцатилетнего сына в ребенка, чтобы вас выпустить.*

— *И что прокурор?*

— *Согласен... Но официальной резолюции еще нет. Обещал завтра... Работать будете на старом месте.*

Он нажимает кнопку звонка, входит конвоир, и ее уводят. Полковник не обманул. Процедура оформления необходимых бумаг занимает несколько дней, но и они, очевидно, от сильных ожиданий кажутся очень долгими. Она успевает даже усомниться в том, что был такой разговор и такие бумаги:

— А может, просто ничего не вышло. Скорее всего — так.

Но вот, когда почти разуверилась в благополучном исходе, отворяется дверь и... обращенные к ней слова:

— *С вещами!*

Через несколько минут она в машине своего следователя, который везет ее в прокура-

туру, чтобы подписала бумагу, где сказано, что ей позволено находиться лишь в пределах Магадана. И пусть будет это «лишь», но ведь какой прекрасный исход. Какой неожиданный. Пока даже не верится...

А завтра — уже на работе. Няня из группы Девочки просит прощения:

— *Так ревела, маму звала, что пришлось ей соврать: умерла, мол, мама, не придет больше... Не ждали ведь вас обратно... Уж извините...*

По пути домой «дочь» впивается в ее руку мертвой хваткой и, болтая о разном, постоянно спрашивает: «А ты больше не умрешь?»

Так хочется в это верить, но многолетний опыт уже не позволяет. Хотя ответ девочке, конечно же, утвердительный.

А дома — в 8-метровой комнате барака, где «папа» спал на столе — ...соседи вокруг утирают слезы, «папа» все твердит: «Как исхудала!», а «мама»: — «Ничего, поправлюсь...». И ночью, когда все уснули, сын:

— *Мама, ты не спишь?*

— *Да. А что?*

— *Ничего. Я только хотел сказать: спокойной ночи, мамочка.*

И через полчаса опять:

— *Спокойной ночи, мамочка...*

А потом пришло постановление Особого совещания МГБ по ее новому «делу», согласно которому ей определено вечное поселение в пределах Восточной Сибири. И это означало, что семья должна разлучиться, потому что ему оставалось досиживать на Колыме еще четыре года. Поэтому вместо радости — примерно такие мысли:

— Потом и ему должны будут дать вечное поселение, но неизвестно в каком месте. И разлучат еще на дольше. А может, и навсегда... А сын? Как здесь одному? Хоть уже и большой... Да и какая без них жизнь?.. А «дочь»? Теперь точно попадет в спецдетдом...

Ирония судьбы состояла в том, что адрес вечного поселения она получит, благодаря тому самому полковнику, который постарался облегчить ее положение: Восточная Сибирь ведь не Колыма — материк все-таки. Но откуда ему было знать все обстоятельства ее семьи?

И вот в ожидании отправки, каждый день, забегая в «белый дом» отмечаться, в какой-то момент сталкивается в коридоре с тем полковником.

— *Что с вами? Больны?..*

— *Здорова. Отчаяние нельзя считать болезнью.*

— *Почему отчаяние? Ведь вам вынесли сравнительно мягкий приговор. Не Колыма с ее вечной мерзлотой, а Восточная Сибирь. Там лето настоящее, там овощи, там железная дорога. К вам приедут родные.*

— *У меня нет больше родных, которые могут приехать,* — она давно, еще в лагере получит известие, что муж тоже арестован и приговорен к расстрелу.

И тут она расскажет полковнику, почему ее так тяготит мысль об отъезде. Лишь о Девочке сначала умолчит. Не специально, а так получится от внезапности разговора.

После короткой паузы он распахнул дверь в свой кабинет и попросил ее зайти:

— *Если Колыма как место ссылки для вас предпочтительней, то напишите об этом заявление на имя Особого совещания... в Москву. Мотивируйте болезнью и невозможностью следовать этапом.*

— *А как же этап?*

— *Отсрочим до получения ответа...*

Дает ручку и лист бумаги. Когда она начинает писать, из-за сильного волнения сразу

не получается. Потом постепенно находит слова: *«Ввиду резкого ослабления здоровья... Невозможность перенести дальний этап... Ввиду того, что сын учится в выпускном классе магаданской школы...»*

И вдруг добавляет вслух:

— *А дочка еще совсем маленькая...*

— *Какая дочка?*

И тут она рассказывает полковнику историю Девочки, а потом, что та постоянно болеет и наверняка не перенесет этапа в Комсомольск. Ну а дальше — больше: сама не знает, как это получилось. Наверное, от сильного волнения. Или что-то еще толкнуло ее сказать, что Девочка здесь — сидит на стуле в коридоре. И не хочет ли он на нее взглянуть. Естественно, что он опешил (в этом заведении — без вызова или, по крайней мере, специального разрешения):

— *У нас? Ребенок?*

— *Ну да. Мне пришлось ее взять с собой, чтобы не возвращаться в детский сад. Я должна сегодня вести ее в баню.*

— *И что же, хотите официально удочерить?*

— *Пыталась. Отказали. Говорят, репрессированным нельзя.*

А дальше — еще неожиданнее. Полковник просит познакомить его с Девочкой. И когда она входит, начинает разговор:

— *Здравствуй... Скажи, не хочешь ли ты поехать в Москву?*

— *С мамой?*

— *Нет, со мной. Маме ведь надо работать...*

— *Без мамы не поеду.*

— *...Жалко. А там, в Москве, есть цирк. А в цирке медведи, обезьяны, лисицы...*

— *А у нас дома тоже есть кошка Агафья.*

— *Агафья? — переспросил полковник и взял телефонную трубку. Дозвонившись до отдела опеки и попечительства при горорно (городской отдел народного образования), он отрывисто сказал, что к ним на днях обратится ссыльная поселенка такая-то... Так вот, мнение МГБ — удовлетворить просьбу».*

— Почему он так сделал — человек, увешанный орденами за службу в органах? Не только выпустил из тюрьмы и помог восстановиться на работе при довольно активном сопротивлении отдела кадров, но еще и взялся хлопотать о перемене места ссылки. А уж этот звонок относительно удочерения и вовсе трудно чем-либо объяснить. Но, тем не менее, все это было. Выказал тогда этот человек такие, казалось бы, далекие от его профессии и должностного положения чувства.

Какое-то время мотивы происшедшего с ней (и с ними) в кабинете полковника оставались для нее загадкой. Но после его отъезда из Магадана ей рассказали, что в тот период он узнал о своей близкой отставке. Был ошарашен таким исходом, не находил объяснений такой несправедливости. И поэтому, может быть, впервые задумался о судьбах других, которые тоже не находили объяснений — за что их карали. Не исключено, что происшедшее с ней было стечением обстоятельств: она просто встретила ему со своей бедой во время смятения его чувств...

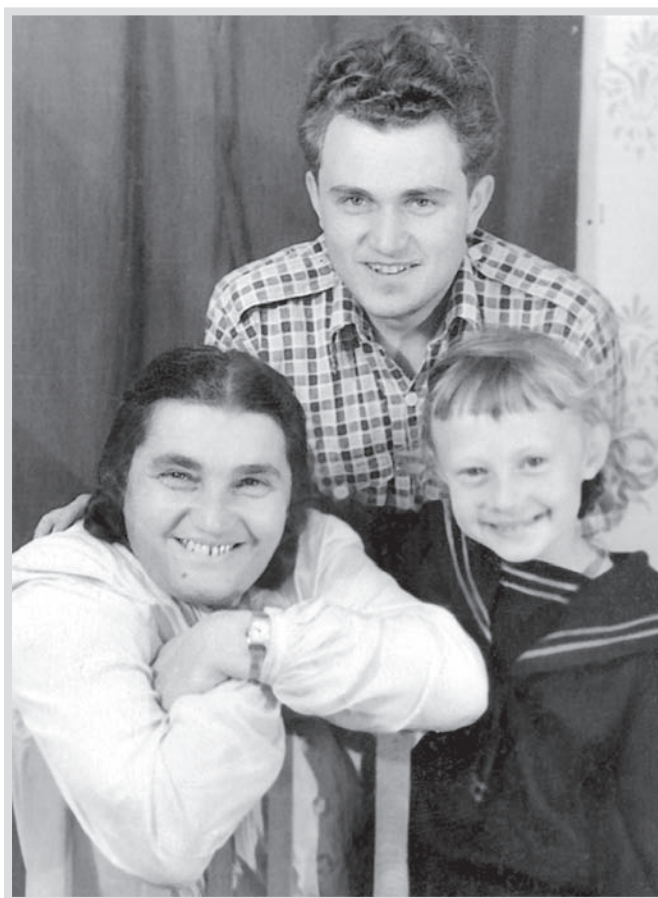
Что же до случившегося с полковником, то все объяснял сорок девятый год, когда, как мы уже знаем, была в самом разгаре борьба с космополитизмом. А он имел несчастье получить от родителей *тот самый роковой изъян* в пятом пункте анкеты. И хотя из-за черты оседлости людей с таким «изъяном» освободил в стране именно этот режим, провозгласив после октября семнадцатого, что все мы теперь — братья, если не эксплуатата-

торы, все же, как мы уже отмечали, периодами о той национальности вспоминали. И ее представители это ощущали. А с сорок девятого по пятьдесят третий — особенно. Вне зависимости от занимаемой должности и заслуг перед отечеством. Не все, конечно, хотя обеспокоенность чувствовал каждый, но полковник ощутил в должной мере.

## Теперь уже — дочь

**А** пока отставки еще нет, и через несколько дней после беседы с этим могущественным человеком, Девочка с «мамой» выходят из магаданского загса, и в руках у «мамы» метрика, где в графе «Мать» значится ее имя отчество и фамилия. И это значит, что дальше при упоминании членов семьи, о которой идет речь, кавычки можно снять, и рассказывать уже о Маме, Папе, Дочери, Брате... И все это — благодаря полковнику, фамилию которого семья запомнит на всю жизнь. Полковник Цирульницкий...

А дальше — месяца через полтора — Маме пришел ответ из Москвы, с разрешени-



*Мама — Евгения Гинзбург и дети:  
Василий и Тоня Аксеновы*

ем остаться на Колыме навечно. И семья празднует это известие за семейным столом. И пусть вместо вида на жительство в бумажке сказано, что она ограничена в правах передвижения семью километрами от Магадана, и пусть находится под гласным надзором органов МГБ и обязана дважды в месяц являться на регистрацию. И все это — пожизненно. Но, очевидно, есть некая теория меньшего зла. И поэтому у людей — праздник: их не разлучают, и в семье появилась Дочь. А дальше будет видно...

В 50-м Брат оканчивает школу, и теперь ему предстоит уехать на материк — нужно учиться дальше, получать профессию, выходить в большую жизнь. У мальчика явная склонность писать и заметные способности в разных жанрах литературы. Он мечтает стать писателем. Но Мама настаивает на профессии житейской, потому что в этой стране нельзя быть уверенным ни в своем будущем, ни в будущем своих детей. Ведь они — и Сын, и Дочь — дети «врагов народа». Да к тому же их родители таких невыгодных, особенно в ту пору (начало 50-х), национальностей. Очень похоже, что недалек тот день, когда за этих детей — точнее, за Сына: Дочь пока маленькая — и возьмутся. А что в лагере — писатель? Ничто. Кому он там нужен? Вот врач, да еще, если хороший, как Папа — это другое дело. Поэтому, конечно, в медицинский. Тут не только кусок хлеба на воле, но и возможность не пропасть в неволе.

В правильности решения о будущей профессии Сына семья вскоре убедится лишний раз, когда в какой-то вечер Папа вернется домой со справкой об освобождении на два (!) года раньше окончания его (хотя и третьего) срока.

Итак, он (Папа) теперь *вольный* врач, а работает в той же больнице, где и практиковал, находясь в качестве заключенного. Но для прописки на *площади* Мамы нужно свидетельство о браке. Причем, тут любопытная деталь: право официального совместного проживания дает лишь *новый брак — заключенный по месту ссылки*. Т.е., чтобы жить вместе людям, разлученным еще на воле, необходимо *повторно зарегистрироваться здесь*. Какая в том была логика, никто объяснить не мог. Но на фоне той «логики», с которой уже многие годы жила страна, об этом особо и не задумывались. Лишь отмечали очередную несуряцицу.

Маме не очень хотелось идти в загс. И хотя она была почти уверена, что ее мужа давно нет в живых, она продолжала его любить, «как любят дорогого покойника». И Папу она любила. Вот и были такие внутренние метания. Ей почему-то казалось, что эта регистрация наносила мужу какое-то оскорбление. А смущало ее это «почти», потому что после справки о его смерти были какие-то слухи, что он все же жив, и вроде бы его видели где-то на Инте: то ли на станции, то ли в одном из городов Коми АССР.

Но выхода не оставалось, иначе их с Папой могли легко разлучить, отправив по разным местам в пределах поселения. В загсе никаких справок о судьбах ее мужа и его жены не требовали, потому что к тому времени уже был закон, разрешающий новый брак, «в случае десятилетнего безвестного отсутствия одного из супругов». О его жене тоже никаких известий не было.

Вот так к началу пятидесят первого в семье оказалось целых три солидных для их положения официальных документа: к метрике Дочери добавилось брачное свидетельство Родителей, а еще — студенческий билет Брата на материке — поступил он в медицинский и на всякий случай выслал Маме об этом справку.

За всеми теми событиями как-то незаметно подошло еще одно. В начале 52-го окончился срок Маминого поражения в правах, присужденного ей в 37-м. И это означало, что ей была возвращена «великая честь» участвовать во «всенародных демократических» выборах своей власти...

Потом у Мама будут неприятности за какое-то «не такое» прочтение в детском саду стихотворения К.И.Чуковского «Тараканище», которое она любила читать и дома Дочери перед сном. И та, естественно, знала его наизусть. О «не таком» прочтении кто-то — потом она узнает, кто — сообщил «куда следует». Но, слава Богу, обошлось только «разговором». Хотя и нелепость: что она могла «намекать» своей аудитории. Дети ведь в этом вопросе так «глубоко исторически не копают». У них свои ассоциации, отличные от того, что приходило в головы взрослых, перечитывавших тогда произведение известного писателя, написанное много раньше событий, будто предсказанных автором.

Впрочем, если бы надо было ее взять, вряд ли бы в «белом доме» обратили на это внимание. Видно, не нужна она была уже там...

\* \* \*

**А** потом пришло знаменитое 5-е марта 53-го. И после этого у почти половины страны — надежды на лучшее.  
— «...Портреты генералиссимуса висели еще везде незыблемо, в обрамлении траурных лент. Докладчики еще неизменно закруглялись речитативом: «Под водительством партии Ленина — Сталина». Но новь настойчиво прорастала: то там, то здесь, как бы ей ни противились...» — напишет позже Мама.

Постепенно стали возрождаться старые материковые связи. Начали приходиться письма от тех, кто все эти годы писать опасался. И все чаще и чаще звучит теперь доселе сугубо медицинский термин «РЕАБИЛИТАЦИЯ». Ну и, конечно, примета 54-го — исстрадавшимся людям нужны были сказки, где в полной мере побеждает добро:

— «Истории первых реабилитаций были похожи на английскую детскую повесть о маленькой принцессе Саре Кью, получившей после всех ужасов сиротского детства в наследство крупные алмазные россыпи. Так и тут. Если верить восторженным рассказчикам, то первые реабилитированные въезжали в те самые квартиры, из которых были когда-то уведены в подвалы МГБ. Они якобы получали самые высокие партийные посты и зарплату по предарестной ставке за все годы заключения. Правда, пока еще никто не знал фамилии подобных счастливиц. Но появление этих рассказов само по себе было знаменем времени» — это тоже Мамины воспоминания.

В том же 54-м весной отменили пропуска для въезда на Колыму, куда сумел приехать перешедший уже на четвертый курс мединститута Брат. Это Папа сделал всем такой чудесный сюрприз: договорился в больнице, чтобы направили в институт запрос на прохождение там будущим доктором производственной практики, и выслал Брату денег на дорогу. И тот приехал на все лето!

«Весь его вид и все поведение как бы подчеркивали, что Большая земля перестала быть для Колымы иным, зазвездным миром. Материк как-то необычайно приблизился. Вот просто взял билет, прихватил рюкзачок и, забыв фуражечку, вскочил в самолет. Ведь теперь въезд на Колыму свободный. Как в самый обыкновенный район страны», — заметит Мама.

И теперь ей (Маме) казалась Древней ее история «хождения по мукам» с тем, чтобы в конце 40-х разрешили Сыну приехать к ней. В семье праздник. И некоторый курьез. Маме кажется нелепым пиджак Сына, и она собирается переделать его в пальто для Девочки, а

ему купить «нормальный пиджак». На что следует ответ: *«Только через мой труп... это самая модная расцветка»*. Последние слова стали еще одним показателем каких-то коренных изменений в жизни семьи (и не только) — дуновение давно забытого понятия: *«Модный»*. А также того, что молодежь второй половины века уже выбирает что-то свое: привычки, манеры, расцветки, фасоны... И еще — взгляды на жизнь, отличные от тех, с какими жили (и продолжают по инерции жить) их родители. И все эти ощущения *«привез»* сюда Брат...

А в августе 54-го отменяют ссылку на поселение. Это значит — конец комендатуры. Это значит — неслыханное сокращение штатов всякой охраны и проверки, а также, что вместо семи километров вокруг Магадана, за которые ссылкой нельзя было выезжать, они получают возможность переплыть Охотское море и странствовать по Большой земле. И хотя в «Положении» много городов и весей, куда въезд запрещен, о чем *специальным пунктом 39 помечено в паспорте*, все равно, радость от такого события переоценить трудно.

А в семье еще событие. Публикуют статью Мама в газете «Магаданская правда», где речь идет о засорении русского языка и специфическом колымском диалекте. Там несколько смешных примеров о том, как учителя борются с этим на уроках — к тому времени она уже преподает в школе для взрослых. Тема — вполне нейтральная. Но Мама подписывает материал своей фамилией, проверяя тем самым верно ли, что в газете ликвидировано бюро по спецпроверке материалов, и любой бывший зэка или ссылкой может печататься. Верно. Может. И это тоже — перемена времени...

## Большая земля

**В** 55-м после окончания учебного года директор спрашивает:

— А вы чего не подаете заявления насчет отпуска на материк?

— Я? На материк?

— А почему бы нет? С отделом кадров согласовано. Ссылка с вас снята. Можете ехать...

И, действительно, почему бы нет. Даже нужно ехать.

*«Долго не вхожу в дом. Стою у крыльца и смотрю на звездное колымское небо... Я ни о чем не думаю, только прислушиваюсь к чьему-то страстному и нежному голосу... это голос Блока; «О, я хочу безумно жить, все сущее — увековечить, безличное — вочеловечить, несбывшееся — воплотить!»*

И вот девятилетняя Девочка с Мамой в мягких креслах «ИЛ-14» со всеми удобствами летят на Большую землю. А перед взлетом:

— Дама, пристегните девочку ремнями...

Неужели к ней? Это она-то ДАМА? Как давно такое слышала. Будто из другой жизни. А ведь так и есть: из другой.

Дочери легче освоиться в такой обстановке. Хотя и все для нее в диковину, но у Девочки нет прошлого. ТАКОГО прошлого. *«Она вся — воплощение будущего, и ее распирает любопытство. Засыпает меня вопросами, на которые я отвечаю механически...»*

Механически, потому что очень уж много впечатлений последних дней: и это предложение поехать на материк, и глаза мужа (Папы), оставшегося на взлетной площадке, и полная неизвестность там, где так давно не была.

А такие глаза у него потому, что она догадывалась: он *«решил ее отправить, первый*



раз разлучившись с ней по собственной инициативе, чтобы она смогла лишь с собой наедине решить вопрос об их дальнейшей личной жизни». Дело в том, что недавно они узнали — ее первый муж все-таки жив...

— Поступай, как тебе подскажет совесть... Но помни, помни...

Он что-то еще говорит, но тут убирают трап, и она, подошедшая по его просьбе к двери, ничего дальше не слышит. Хотя, конечно же, обо всем догадывается. Да и совесть уже давно подсказала ей все. Ведь так много вместе пережито, и так много он для нее значит. И любит она уже давно только его. Поэтому, хотя и едет сейчас за реабилитацией, и уже на руках несколько бумаг, приближающих к получению главной, решила твердо: с Колымы не уедет, пока он к ней привязан. И после отпуска обязательно вернется.

И вот — полет. «Навстречу тому полузабытому, желанному, виденному в далеких снах, к тому, что называется ЖИЗНЬ...» Она все больше невпопад отвечает на бесчисленные вопросы, которые продолжает задавать Дочь, и сосед, что сидит впереди, оборачивается и смеется, услышав, как она объясняет Девочке о технике движения самолета — почему он не падает. Но ей смех этот не обиден, и она смеется вместе с ним, доверительно рассказывая, что по физике никогда больше тройки против своей фамилии не видала.

Но вот и вопрос Дочери, который не требует ответа со знанием физики:

— А самолет не может упасть в море?

— Нет. Не может.

И звучит этот ответ так уверенно не потому, что она хочет успокоить ребенка, а потому, что глубоко убеждена — не может он упасть. Не может — после всего, случившегося с ней. Ведь что-то же ее хранило эти страшные, эти нелепые годы. И не для того, чтобы вот так сейчас упасть с самолетом в море. А еще: именно сейчас — в середине 50-х она была «так глубоко убеждена в разумности мира, в высшем смысле вещей, в том, что «Бог правду видит, хоть и не скоро скажет»...

Над Охотским морем самолет летит целых семь часов. Потом посадка в Хабаровске. Она как-то суеверно ступает по выщербленной земле, потому что это ее первое (казалось, давно забытое) прикосновение к материке.

— Мамочка! Смотри, сколько соловьев!

Это ее начитанный ребенок восклицает, «в восхищении застывая перед стайкой воробьев, вперебивку щебечущих над навозной кучкой». Девочка ведь там, на Колыме не то что соловья, а и воробья не видала. И сливы Дочь не видала, и очень долго еще перечислять, что из известного каждому ребенку на Большой земле она не видала. Ведь это вообще ее знакомство с материком. А уж ресторан как ее потряс. Но она — Девочка сообразительная, и сразу понимает, что «вслух удивляться — дремучесть свою показывать». Поэтому только взгляд выдает, сколько для нее в диковину: «судок для горчицы и перца, чей-то чемодан на длинной элегантной молнии...» и много еще чего, о чем ей лишь предстоит узнать...

И вновь полет уже над материком. Под Иркутском вдруг резко ухудшилась погода: снег, мокрая вьюга, темные облака. Самолет стало отчаянно болтать. Пришлось сесть. Стюардесса сказала, что, скорее всего надолго, поэтому:

— Припужайте в Иркутске в полное свое удовольствие.

А «припужайте» Девочке хорошо знакомо. Это «родное» оттуда — с ее родины Колымы. Зэковское.

Иркутская гостиница Аэрофлота потрясет Девочку еще больше, чем хабаровский ресторан. Бархатные портьеры на золотых кольцах, лакированные полы, хрустальные люстры,

мягкие кресла. Но свободных мест нет. Спасибо, администрация сжалась, и *«все население нескольких застрявших самолетов было размещено вповалку прямо на полу нижнего коридора...»*. А к ночи даже выдали несколько старых тюфяков, на которых уложили детей. Взрослым же предстояло провести ночь на табуретках в том же коридоре, под репродуктором, *«из которого никак не вылетали желанные слова: «Объявляется посадка»*.

Но проведут они эту ночь все же, иначе, потому что кто-то из пассажиров принесет сенсационную весть. Оказывается, свободные номера есть, и их много, однако, эти номера держат для китайцев. Они забронированы, поскольку здесь трасса Москва — Пекин. Но погода ведь нелетная, и Иркутск не принимает. До утра точно не распогодится. И поднимается скандал. Почти бунт, который привел к тому, что появился директор гостиницы. Призвав к спокойствию, он первым делом пожелал взглянуть на документы. Администратор кивнула ему на паспорта, которые лежали на ее столе. Он быстро их просмотрел, *«рассортировал на три кучки и стал вызывать по фамилиям, называя номера комнат»*.

И тут у Мама сразу же сработал привычный комплекс: она решила, что им с Дочкой не дадут номера, а, если и дадут, то самый плохонький. Когда же услышала, что на втором этаже, и КАКОЙ (!), сначала подумала:

— *Недоразумение. Ведь паспорт с «минусами» и с 39-м пунктом, а в том номере (люкс) экспортное великолепие.* (Она знала, что такое «люкс» еще в той, уже очень далекой жизни).

Но нет — им. И накрахмаленная горничная, которая говорит «плиз», и огромные зеркала, и атласные одеяла, и монументальный шкаф. Дочь даже притихла: слишком много всего незнакомого. Впитывает. Вопросы пойдут потом. И ждать недолго. Девочка очень любознательна...

Так и случилось. Впечатления перебьют усталость, и придется отвечать ей почти полночи. А у самой при получении номера вопрос единственный (но не вслух):

— *Что случилось?*

Ответ оказался прост и быстр. После того как директор осведомился — удобно ли будет, добавил: *«Мы ведь исторический этап понимаем. Вчера репрессированные, завтра — начальство. У нас вот у самих, по нашему как раз ведомству, один новый товарищ в руководство назначен. Из тех самых, что с тридцать седьмого в бушлатике ходили. Это надо понимать.... Все ведь по диалектике развивается.... Пожелаю приятных снов!»*

Вот так. *«По диалектике»*. Хорошее объяснение. Главное, что этому определению соответствует все происходящее. Всегда и везде. Понять бы только, почему именно *такая «диалектика»* случилась в этой стране. Но тогда — да и сейчас — мнения здесь сильно расходятся...

Однако, вернемся в гостиницу. Ведь там, благодаря *«утонченному диалектическому мышлению»* ее директора — правда, по части предвидения большой карьеры себя не оправдавшему, во всяком случае, для подавляющего большинства реабилитированных — Мама с Дочкой и остальные пассажиры *«выспались под пекинскими атласными одеялами, на кроватях с ножками в виде львиных голов»*.

А наутро — солнышко. И снова — полет над Сибирью, потом над Уралом. Посадки в Новосибирске, Свердловске. Начиная с этого географического места, Мама уже станет ощущать возвращение на материк. Для нее *«все осязаемей становится приближение к Москве: деревья, луга, птицы, цвет неба — все становится похожим на то давнишнее, родное, что столько лет было нереальным в своей невозвратности»*. Она с такой гордостью сообщает Девочке все новые названия деревьев, будто сама их тут посадила. Будто вводит Дочь во владение наследственным именем.

В ответ *«маленькая колымчанка пускается в спор насчет берез»*.

— У нас в «Северном Артеке» были березы. Они не такие.

— Те были карликовые».

Но в целом Девочка ориентируется во всей этой нови быстрее Мамы. Потому что *«она не отвлекается во власть ассоциаций, смещающих последовательность времен»*. Маму же *«застает врасплох даже остановка Казань»*. Она не сразу отдает себе отчет в том, что прибыла на место, откуда все и началось тогда, в 37-м. Вздрагивает при объявлении о Казани.

У нее возникает чувство, что кто-то сбивает ее со счета времени: неужели и впрямь прошло восемнадцать лет. Как вода сквозь пальцы. Самые *«расцветные»* годы жизни истрачены на *«невыносимо однообразные страдания...»*.

Но не нужно допускать горечи. Она начнет разъедать, а это ни к чему. Ведь впереди другая жизнь. И она еще будет долгой. И плодотворной. Мама уже знает, *что* в этой (новой) жизни хочет сделать в первую очередь — потом об этом узнает весь мир. Но пока — никому, ни о чем не говорит. Может, чтобы не сглазить.

Когда видит аэропорт, который приводит ее в восторг, хочет передать этот восторг Дочери. Но та почему-то не восхищается его новым зданием. Мама сначала огорчена, но быстро понимает причину: Девочка ведь *«прежней кособокой лачуги»* не видела, поэтому и заявляет равнодушно, что точно такой же и в Свердловске — названия тех мест, где она уже побывала, запоминает прочно.

А потом еще два часа, и Москва. Наконец-то... Почему-то очень сильное волнение. Хотя и понятно почему. Столько ожиданий от этой поездки.

Девочка хочет поскорее выйти и изо всех сил тянет Маму к выходу. Но та не торопится; старается выиграть минуты, *«чтобы справиться с приливами крови к вискам»*.

По пути на остановку автобуса и во время поездки на Таганку, Дочь вновь по обыкновению сыплет вопросами. А на Таганке в полуподвальной комнате, пахнущей сыростью, хозяйка *«жадная до денег... в обмен на хрустящие новенькие сотенные отвела им неопрятную двухспальную кровать с лоскутным одеялом и бесформенно растекающимися жидкими подушками»*.

Почему здесь — в такой убогой комнатке? У Мамы ведь в Москве много знакомых по прежней жизни, и у большинства из них были *«тогда»* комфортабельные квартиры. Но не решилась она обратиться к кому-то из них. Во-первых, неизвестно, как и у кого сложилась судьба за эти долгие годы. И, во-вторых, не хотелось *«навьючить на чьи-то плечи такую ношу — пришельца из страшных снов с котомкой за плечами»*. Поэтому и взяла у магаданского знакомого — вольняшки записку к таганской хозяйке, *«промышляющей специально сдачей комнат и углов приезжим вольным колымчанам — толстосумам»*.

От усталости с дороги и выпавших волнений сон обволакивает мгновенно, хоть и ложатся еще засветло. Но вскоре ее будит тоненький захлебывающийся счастьем взвизг:

— Мама, смотри, у бабушки свое маленькое кино!

Мама открывает глаза, и они с Девочкой, *«два колымских дикаря»*, впервые в жизни видят телевизор и телевизионную передачу...

Утром хозяйка предлагает кофе, а потом вдруг задает вопрос:

— А вы не забыли, как на Кировскую-то проехать?

Дело в том, что Кировская, 41 — это адрес Прокуратуры СССР, куда Маме и нужно было, чтобы получить реабилитацию. Но откуда знает хозяйка. Ведь в записке об этом не сказано. А та продолжает:

— На Букашке поезжайте. До Красных ворот. При вас-то ходила туда Букашка?..

— Ходила. А откуда вы знаете?

— По чемодану, по одежке вижу. Да и по лицу...

Она предлагает оставить Девочку. Говорит, что присмотрит и недорого возьмет. Но Дочь ни в какую. Она уже — когда только успела — настроиться на поездку в «пуркуратуру», поскольку в ее представлении это тоже какое-то из московских чудес, вроде телевизора. Приходится брать с собой...

А там — яблоку упасть некуда! «Вестибюль битком набит теми самыми людьми, которых она узнает из тысяч: ...изработанные, набрякшие узлами руки, расшатанные цинготные зубы, а в глазах — то самое выражение всеведения и предельной усталости... это выражение не смывается даже радостным возбуждением, которым охвачены здесь люди».

От этого всего и еще гула — почти все говорят одновременно, инструктируя друг друга в каком порядке ходить по кабинетам, — снующих среди толпы военных с бумагами ее начинает пошатывать. Но неожиданно из такого состояния выводит Дочь.

— Мама! А почему в пуркуратуре все седые?

Вопрос звучит громко и «встряхивает» не только ее. Вокруг слышатся дружелюбные смешки...

Наконец, она у нужного окошечка. Называет вежливому военному свою фамилию и довольно быстро слышит в ответ:

— Все в порядке... Ваш приговор опротестован прокурором. Теперь вы должны ходить не к нам, а в Верховный суд. Улица Воровского. Там и получите окончательное решение по делу...

Конечно, это должно быть приятно. Ведь здесь, на улице Воровского — последний этап бумажных процедур на пути к долгожданной реабилитации. Но именно от этой долгожданности измотанные очередями в разные окошечки люди были уже порядком раздражены. И у каждого, наверное, мысли, подобные той, что произносит какой-то старик:

— Как быстро они оформили мне в тридцать седьмом десять лет срока! Без всякой бюрократической волокиты! А сейчас... Сколько бумаг им требуется, чтобы доказать, что я не агент Мадагаскара и не организовывал в городе Пензе разведывательной сети в пользу Цейлона!..

На Воровского говорят зайти дней через десять. И она едет в Ленинград к сестре. Повидаться и оставить до завершения своих дел Девочку, замученную толканием в очередях.

\* \* \*

И вот, наконец:

— Вам телеграмма. «Срочно выезжайте за справкой о реабилитации».

Это старик из Воркуты, с которым она сдружилась в бесконечных выстаиваниях у окошечек, и который любезно предложил ей одновременно с выяснением собственных дел справляться и о ее. А при необходимости дать телеграмму в Ленинград...

Пожилой человек, выдающий справки о реабилитации, умаялся не меньше тех, кто выстоял в очереди. К тому же ему жарко. Люди в очереди в легкой одежде, а он при полном мундире, застегнутом на все пуговицы. Приходится изредка прерывать работу, чтобы вытереть лоб. Фамилию переспрашивает трижды: туговат на ухо. Наконец, слышит и находит то, что нужно. Такую долгожданную, желанную, драгоценную — определений, адекватных состоянию, явно не хватает — СПРАВКУ.

И еще она слышит:

— *Обратите внимание: при утере не возобновляется.*

Но слова эти звучат каким-то фоном. Разве можно ЭТО потерять. Ведь там не просто фраза, а нечто, подобное музыке. И звучит-то как: «ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Только не надо задавать сейчас себе лишних вопросов — о том, а почему же тогда это было, и кто за это ответит? Потом. Когда будут силы. А теперь они как-то вдруг иссякли. Как-то внезапно. Даже радоваться нет сил. Даже встать со скамейки и войти в метро. И лишь обращенное к ней:

— *Не подскажите, девушка, как нам добраться до Казанского вокзала?* — приводит в чувство. И не только приводит: настроение вдруг становится хорошим. Вроде мелочь, но, наверное, именно чего-то *такого* и не доставало. Во-первых, назвали девушкой. А к исходу пятого десятка *такое* слышать приятно. Значит после всего, что было, вид не старухи. А, во-вторых, сам вопрос: «...до Казанского вокзала». Не до Лефортова, не до «белого дома»..., а просто до Казанского вокзала. Как когда-то. Очень, очень давно...

\* \* \*

**А** пока Девочка в Ленинграде, несколько слов о Мамином первом муже. Они потом увидятся и не только поймут друг друга, но и останутся друзьями. Дело в том, что после ее ареста, чтобы избежать собственного — а в ту пору *членов семьи было принято арестовывать «по цепочке»* — и тем самым не оставить детей сиротами, ему пришлось от Мамаы отречься. Такое тогда случалось. И нередко. Хотя соображения пойти на подобный шаг у каждого были свои. Но далеко не всем помогало. И ему, как мы уже знаем, не помогло...

С Мамой после всего случившегося они не только останутся друзьями: он и в судьбе Девочки сыграет важную роль. По просьбе Мамаы даст ей свою «приличную» для страны — ныне знаменитую — фамилию, поскольку фамилии Мамаы и Папы слишком уж выдавали их национальности. А как мы уже знаем, Мама и Папа, не без основания опасались, что возьми Девочка фамилию кого-то из них, любая в той или иной степени могла доставить ей тогда много сложностей...

Но продолжим о магаданской семье. Мама забирает Девочку из Ленинграда, и они возвращаются к Папе. И живут там еще четыре года, пока Папе, наконец, не дают реабилитацию. Так долго, потому что немец. После этого возникает вопрос, где жить. Как мы помним, многие места на материке с такими отметками (пункт 39) в паспортах для них недоступны. Неожиданно возникает приглашение близкой еще по Магадану подруги Мамаы ехать во Львов. Подруга сама оттуда, и во Львов с этими отметками можно. Там она помогает с жильем. Квартира коммунальная, но после условий, что были в Магадане — туалет на улице, вода из топленого снега или ее надо тащить издалека..., такое жилье кажется раем. Да и вообще, жизнь стала значительно легче, чем там, на Колыме, хотя к той тоже привыкли.

Позже Девочка о колымском периоде расскажет так: «*Сначала мы ютились вчетвером в 8-ми метровой комнатке в бараке, папа спал на столе. Безумный холод, пронизывающие ветры, я их до сих пор помню. А как приходилось заключенным. С того, кто валился и замерзал, тут же стягивали все, что на нем было... Месяц — нет человека... Но мужчины умирали быстрее. Отец меня все время закалял: вечно я жевала смолу от*

кедровника, обливалась холодной водой. Выросла довольно сильной и бедовой. Но пальцы на ногах у меня все равно обмороженные: закалка закалкой, но обуви-то теплой не было. Ели в основном рыбу, сами ловили крабов, но это было всего несколько месяцев, потом Охотское море замерзло. Я помню, что в гастрономе стояли большие бочки с икрой, на икре лежали деревянные ложки, на них — прилипшие икринки. Я смотрела на них, и именно они, микроскопические, вызывали у меня такой аппетит. Но мы не могли себе этого позволить...».

И еще запомнит Девочка, что в их магаданской каморке часто собирались люди: «Тогда в Магадане, на краю света, в условиях вечной мерзлоты и ненависти меня окружала необыкновенно теплая обстановка и, противоречащая всем разумным представлениям, духовная атмосфера. Там ведь сидели сливки общества. Нас окружала опальная профессура — изгнанные, но не сломленные дамы света и ученые мужья, искалеченные ужасными условиями и лагерным трудом балерины Большого Театра, с изуверченными во время допросов руками музыканты...».

Говорили всегда тихо: о литературе, музыке, живописи, театре, науке, философии... И, конечно, о политике. Там, как и во времена декабристов был цвет нации, который до конца еще не удалось истребить. Отсюда и уровень разговоров. От детей — Брата и Девочки — ничего не скрывали. Но закон был один: дома — что угодно, за порогом — рот на замке. Конечно, на развитии и так (от природы) смысленной Девочки это сказалась существенно, потому что дальше в компаниях даже тех, кто значительно старше, она будет чувствовать себя интеллектуально очень уверенно...

\* \* \*

Итак, Львов. Здесь хоть и легче, чем на Колыме, но, тоже, трудно: «Бедствовали ужасно, хотя после постоянной слезки, магаданских страшных барачков и хлеба с водой наши крошечные метры казались изобилием и царством свободы... Поначалу путала помидоры с яблоками, которых никогда до той поры не видела» — это Девочка много позже в — одном из интервью. И еще в этом городе на первых порах случится непредвиденное. Снимут комнату у слепой женщины. Заплатят ей деньги вперед. В общем, все, что привезли. А через короткий отрезок времени окажется, что комнату нужно освободить. И эта слепая женщина, которая вовсе не была слепой, а проделывала такие авантюры с приезжими, выставит их из квартиры. К тому моменту Мама еще без работы, Папа уже серьезно болен. И все они без денег и жилья. Спасибо подруге. Поддержала и помогла...

А вскоре приедет Брат, который к тому времени блестяще окончит институт, успешно пройдет врачебную практику в сельской местности, но врачом все же работать не станет. Не оставит его «таинственная страсть». И он начнет писать. Да как! Слава на него обрушится мгновенно. Он станет символом поколения, которое один известный критик назовет «шестидесятниками». О нем будут писать, говорить, спорить — восхищаться, ненавидеть, завидовать... В общем, испытает он то, что всегда надлежит испытать выдающемуся писателю (а если шире — Художнику). Конечно, Мама им гордится. Ей вдвойне приятно, что данный от Бога талант реализуется ее единственным оставшимся в живых мальчиком сполна.

С приездом Брата *«наш салон стал, по сути, центром встреч творческой элиты города»*, — расскажет Девочка позже. Изначально же, как и в Магадане, то, что Девочка назовет салоном, образуется в их доме благодаря Маме, которая всегда и везде — даже в камере — была в центре внимания, притягивая людей не только своей утонченностью и интеллектом, но и какой-то неукротимой энергией и юмором. А еще тем, что никогда не унывала и вселяла это чувство другим. Поэтому и во Львове ее *«квартира»* сразу же превратилась в то, что по праву называется салоном, а приезд Брата его лишь расширил. В отличие от Магадана, свобода общения здесь была уже иной.

На дворе стояли шестидесятые, все ощущали, по образному выражению одного из знаменитых писателей, *«оттепель»*. Поэтому смелость высказываний, их дерзость, степень надежды на лучшее и на то, что *«такое»* больше не повторится, были максимальны. В общем, жизнь обретала новые очертания и краски.

И вот этот успех Брата, шум вокруг него, Мамины литературные вечера, витающий в доме дух творчества приводят к тому, что Девочка тоже хочет попробовать себя в Слове. Тем более, что и способности у нее к этому заметны. И она поедет в Москву, поступать в лучший ВУЗ страны — МГУ на факультет журналистики, потому что и Мама, и Брат — Папа, к сожалению, к тому времени уйдет из жизни — это желание поддерживают.

Но прежде, чем она это сделает — несколько слов о том, как живет *«юная колымчанка»* во Львове. В частности, о школе, где худая, длинноногая, рыжая и очень инициативная на всякие проделки приезжая Девочка дружит в основном с мальчишками. И о том, что *«очень рано пошла работать — нянечкой в детский сад, — потому что мы почти нищенствовали. А комиссии вокруг ломались от красивых товаров, и львовские девочки ходили как по подиуму — красивые и модно одетые... Что говорить, Западная Украина, другие харчи...»*.

Во Львове, почти сразу по их приезде, у Мама начинается еще один этап, который, спустя несколько лет, станет Событием не только в нашей стране, но и за рубежом. Мама станет писать воспоминания, и они в какой-то момент составят Книгу. Потом рукопись этой Книги она будет предлагать толстым литературным журналам, а еще *«Юности»*, где уже печатают ее очерки. Правда, пока под фамилией первого мужа. После того, как отдаст посмотреть рукопись людям сведущим в литературе, с нее начнут снимать копии, и она очень быстро разойдется по стране. И вскоре Мама станет получать письма читателей, среди которых будут и такие как Эренбург, Паустовский, Каверин, Чуковский, Солженицын... Вместе с восторженными отзывами о ее литературном даровании знаменитые авторы станут посылать ей и свои книги с трогательными надписями. Это окрылит, потому что она почувствует нужность сказанного на своих страницах. А там было обо всем, что случилось в стране, начиная с 30-х, и подробно о своей судьбе с той поры, а также о судьбах тех, кого в разные моменты, в разных местах *«хождения по мукам»* встречала. И блистательный — глубокий, тонкий, горький и остроумный анализ времени и судеб. Ей казалось, что сейчас это нужно. И, в первую очередь, у нас. Тем более, после того как серьезный резонанс получила публикация повести Солженицына *«Один день Ивана Денисовича»*. Чувствуется, что разговора на эту тему со страниц печатных изданий соотечественники ждут...

Но к тому времени атмосфера в стране вновь начинает меняться, и уже не в лучшую сторону. И ее рукопись не решаются взять ни в одном издательстве. Зато за рубежом, куда ее (рукописи) копия попадет, как всегда непонятно каким образом, Книгу довольно скоро опубликуют. Вначале — первую часть и начало второй, а потом и полностью — со всем, что она чуть позже допишет. И во многих странах, на многих языках. Книга станет явлени-

ем в литературной жизни разных континентов. И конечно, Маме будет приятно, поскольку каждый автор хочет свое «*детство*» видеть обнародованным. А уж тем более с таким резонансом. Но и боль в душе останется: ведь любой автор в *первую очередь* хочет поделиться пережитым с соотечественниками. Недаром же в Книге, которая выйдет у нас лишь через одиннадцать лет после того, как Мамы не станет, последние строчки такие: «...И все-таки я хочу надеяться на то, что если не я и не мой сын, то, может быть, хотя бы мой внук увидит эту книгу полностью напечатанной на нашей родине...».

Жаль, что Мама не доживет до издания и триумфа Книги здесь. Жаль, что не сумеет увидеть Спектакль, который через год после выхода Книги у нас поставит Режиссер Галина Борисовна. Спектакль уже 3-е десятилетие не сходит со сцены Театра, возглавляемого Галиной Борисовной. И на Спектакле всегда аншлаг, в какой бы стране — а с ним Театр объездит почти весь мир и продолжает ездить, постоянно получая приглашения, — его ни показывали. И жаль, что не узнает, как бережно относится Девочка к тому, что Мама написала. Дочь переиздаст Книгу, дополнив ее многими фотографиями и воспоминаниями о Маме. И жаль, что не узнает, как Дочь опекает ее лучшую подругу Павочку — одну из героинь Книги, а потом и Спектакля, где та много лет будет играть самое себя. А когда Павочке исполнится сто (!) лет, Галина Борисовна в ее честь даст этот Спектакль — специально приедет из-за границы, прервав лечение(!), — на который Девочка привезет Мамину подругу, и вся труппа после Спектакля будет чувствовать виновницу торжества. К ее огромному удовольствию.

Через два года Павочка уйдет из жизни. Когда это случится, Театр Галины Борисовны возьмет на себя *полностью* организацию похорон и поминок. И участники Спектакля в полном составе проводят лучшую подругу Мамы, а потом поедут в Театр и весь вечер будут о ней говорить. Девочка специально прилетит на эти два дня из Германии...

И жаль, что Мама не доживет до фильма, который снимут по ее Книге. К сожалению, пока за границей. Почему-то интерес к судьбе нашей страны в тот период, что представлен в Книге, теперь вновь сильнее на Западе, чем у нас.

Но у Мамы, все же, будут очень приятные моменты, связанные с Книгой. За год до того, как она уйдет из жизни, сын повезет ее в Европу. Париж, Кельн, Ницца... «*Пен-клуб устроил прием в мою честь. Был цвет французской литературы — Клод Руа, Эжен Ионеско, Пьер Эммануэль. Я давала автографы. На столе большая стопка книг, новое издание «Крутого маршрута»... Сын взял машину напрокат. Правда, в Париже пришлось много ходить пешком. Там ведь трудно парковаться... Едем в театр или в кино, машину приходится ставить так далеко, что идем два или три квартала... Ездили по Франции. На юг. В Ниццу. Были на могиле Герцена. В гостях у Шагала... Старые русские эмигранты все читали мою книгу. Такие научные. Трогательные. Хорошая старая речь. Только французские слова вставляют... В гостиницу приносили букеты цветов. От издателей — итальянских и французских. За меня там ведь шла борьба — кто получит авторские права на вторую часть»...*

На вопрос: будет ли писать об этой поездке, отвечает: «*Ну что нового можно написать о Франции? Сколько уж русских писателей побывало в Париже, и какие... Но я вот что надумала: «Колымчанка в Париже». Назвать можно и так: «От Колымы до Сены»... У всех, у всех побывала — виделась и с Некрасовым, и с Синявским, и с Максимовым, и с Эткиндром... И все были так приветливы...»*

А потом сын взял такси и повез ее в Кельн к Генриху Беллю, который пригласил и очень ждал. Он был большой поклонник и ее красоты, и ее мужества, и ее обаяния, и ее дарования. И та встреча тоже осталась незабываемой...



Издатели заплатили довольно приличный гонорар, и почти на весь она накупила подарков родным друзьям, знакомым. Но больше всего — Дочери. Из содержимого в чемоданах, коробках, свертках выделялась изумительной выделки и красоты почти невесомая дубленка, которую Девочка будет носить много, много лет. И как замечательную вещь, и как память...

\* \* \*

Но это позже. А пока вспомним, что Девочка из Львова едет в Москву, поступать в МГУ на факультет журналистики. И сразу поступает в... Высшее театральное училище имени Щукина. Мама в шоке. Но не удивлена. Дело в том, что мы помним со слов Мама, как Дочь уже в год и десять месяцев *«...двигалась ритмичнее шестилеток... Говорила для своего возраста и биографии на удивление хорошо... Не все наши четырехлетки имели такой запас слов и чистое произношение...»*. И ладно бы такое наблюдалось, будь Девочка изначально из семьи Мама. Там *«питательная среда»* к этому располагала. Хотя, даже в таком случае ее неординарность бросалась бы в глаза. Но здесь-то откуда? Явно — от природы. Да и Мама ведь помнит, что Девочка не только выделялась пластикой, слухом, но и склонностью к лицедейству: начиная с детского сада везде, где только можно было выступить: спеть, станцевать, прочесть, изобразить, Дочь была первой. Поэтому не удивительно, что с какого-то момента, может быть, неосознанно, но потянуло ее на сцену. А тут случай — поддержать подружку, а заодно и самой попробовать. Надежды, конечно, мало. Точнее, ее почти нет. Она ведь знает, какой туда конкурс. Многие поступают по несколько лет. Да и поддержки никакой. Знаменитый Брат, конечно, мог бы помочь, но разве можно кому-то из семьи сообщить. Мама ведь категорически — против. Девочка помнит ее слова:

— *С твоим независимым характером всю жизнь будешь зависимым человеком,* — это после того как Дочь как-то вскользь выразит желание о сцене...

Но, видимо, судьба. Поступает, и легко. Да и как не поступить с такими-то данными. Помимо того, о чем мы уже говорили (врожденных способностях и *«питательной среде в доме»*), в какой-то момент похожая, как мы помним, в детстве на *«птенца, выпавшего из гнезда, а потом длинноногая, худая, рыжая...»* Девочка превращается в несказанной красоты *«белого лебедя»*. И теперь — что происходит и по сей день — при виде Девочки, мужская часть населения необычайно широкого возрастного диапазона вызывает восхищение и сворачивает себе шею вслед ее движениям. Правда, навыки детства и отрочества никуда не ушли, и при необходимости может напомнить ту, что дружила в основном с мальчишками: постоять за себя или кого-то из друзей может. И довольно убедительно, но теперь уже изящно.

## Москва

**И**так, Высшее театральное училище им. Щукина. *«Мама не разговаривала со мной год..., убежденная, что мой, в хорошем смысле слова, авантюрный характер не совместим с актерской профессией. Зависимость от режиссера, сложные отношения с коллегами по цеху — это сопутствующие факторы жизни любой актрисы, и даже самой талантливой. А я была заводная, прямолинейная, за что на меня сваливались постоянные неприятности. И время тогда уже было (1967 год)... — «оттепель» закончилась, ни брякнуть, ни вякнуть лишнего слова».*

Но *«...после экзамена по актерскому мастерству на первом курсе, мама подошла ко мне, обняла и сказала: «Я понимаю, ты должна быть актрисой. Это твое призвание!» Мама все поняла. На то она и мама...».*

Да и не только Мама это отметит. В институте о ней тоже говорят. И не меньше, чем о самых известных студентах — щукинцах той поры Леониде Филатове и Иване Дыховичном...

В Москве, куда к тому времени переедет и Мама, получив квартиру в писательском доме у метро «Аэропорт» — поскольку ее публикации как журналиста уже широко известны, — Девочка знакомится с одной из новых Маминых приятельниц Таней. Элегантной, изящной, с чуть голубоватой сединой, всегда красивой прической и манерами, от которых в нашей стране уже стали отвыкать. Чем-то напоминающую королеву Англии. К тому же английский знает в совершенстве.

Несмотря на ощутимую разницу в возрасте — та почти ровесница Мамы, — она становится ее Подругой. Причем, лучшей Подругой, с которой Девочка может говорить обо всем: и о том, о чем с Мамой говорить не решится. Как и любая девочка со своей мамой: с какого-то момента ведь появляются девичьи секреты и опасения, что «этого» Мама может не понять. А с Таней можно. Она понимает. Она удивительно молода душой. И в то же время — мудра. Редкое сочетание. А как с ней интересно. Много (и многих лично) знает, читает на четырех языках, ясно мыслит. И склонна к юмору. Кроме того, с Таней можно и «своими словами», когда накипит. Она владеет, и еще как. Но в то же время очень изящно.

Биография Тани — тоже не позавидуешь. Хотя «туда» попасть и не довелось, но папа — знаменитый в 20-е и 30-е годы писатель, друг Маяковского — вслед за своим товарищем Мейерхольдом, в 39-м расстрелян. А мама в качестве «японской шпионки» (поскольку в начале 20-х была с папой в Китае, но ведь «китайской шпионкой» не объявишь) получила положенную в таких случаях «десяточку» с последующей отметкой в паспорте, о которой мы уже знаем из истории Девочкиной Мамы. В общем, как любила сказать Таня: *«Все, как у каждого порядочного человека».* А еще при каких-либо житейских трудностях любила она вспомнить фразу своей мамы, слышанную в детстве не раз: *«Таня. У тебя есть мама, у тебя есть каша. Ты очень счастливый ребенок».* Не правда ли, мудро. Да и будто предчувствовала судьбу дочери.

По иронии этой судьбы день рождения Тани приходится на 5 декабря — день *«самой демократической в мире»* первой советской Конституции 36-го года. Поэтому ежегодно, когда кто-то из близких приходил к Тане (или звонил), чтобы поздравить с первым значимым в ее жизни событием, каждый старался сымпровизировать на тему такого совпадения, а иной раз и намеренно путал цель своего визита или звонка. Лев Кассиль как-то, поднимая бокал, назовет ее в этот день дочерью *«победившего социализма».*

У Тани, как и у Мамаы, когда она на свободе, тоже салон. Где порой «попахивает коньяком», хотя чаще «попахивает» другим, поскольку хозяйка делает замечательную настойку из водочки на лимонных корочках... Здесь, кроме Льва Кассиля (ее приятеля с детства — «Кассильчика», который считал Таниного папу своим учителем), можно встретить и Лидию Корнеевну Чуковскую, и Льва Копелева с Раечкой Орловой, и Александра Бека, и Евгения Пастернака (старшего сына Бориса Леонидовича), и Давида Самойлова, и Александра Галича, и историка Роя Медведева, и летчика-испытателя, а впоследствии писателя Марка Галлая, и еще многих известных людей разных сфер деятельности. А также молодые дарования, которым еще предстоит стать знаменитыми: режиссер Миша Левитин, драматург Витя Славкин, актер-пародист Гена Хазанов, киновед Наум Клейман...

И не только люди нашей страны были постоянными гостями ее дома. Дело в том, что интерес к искусству Серебряного века во всем мире велик. А ей есть о чем рассказать. Да и не только о Серебряном веке. Дело в том, что ее папа многие годы ведал иностранным отделом Союза писателей, а Таня была его переводчицей, поскольку кроме, как мы помним, английского, владела французским и немецким, которые (все три) выучила в китайском пансионе, когда семья была командирована в Китай на длительный срок. Благодаря должности и писательской известности папы в их доме бывали Бертольд Брехт — он, как и Кассиль, считал папу своим учителем, — его жена — выдающаяся актриса Хелен Вайгель, знаменитый американский бас, актер и правозащитник Пол Робсон... Кроме того, в детстве и юности Таня порой дневала и ночевала в театрах Мейерхольда и Эйзенштейна, которые, как близкие друзья семьи, бывали частыми гостями их дома. Нередко с не менее знаменитым уже тогда художником Татлиным. Ну, а уж о Маяковском, привезшем однажды маленькой Тане из Парижа необыкновенную куклу (с ресницами, закрывающимися глазами и зубами — диковина для нашей страны той поры), и Лиле Брик, обожающей Таню всю свою жизнь, и говорить нечего. Те вообще были почти членами семьи.

Поэтому понятно, сколько Таня знает и сколько дает Девочке, которая, выпитывает рассказы Подруги, как губка. Впрочем, такое и неудивительно, поскольку Девочка к этому готова: мы ведь уже знаем о «питательной среде» в Мамином доме и врожденных способностях Дочери.

Как мы уже понимаем, Таня любит театр, точнее Театр. И в этот период — как и всю оставшуюся жизнь — она дружит с Режиссером Марком, который еще в конце 50-х основал студию, ставшую сразу таким же культурным явлением в стране, как и «Современник». И они с Девочкой частые гости Марка — его спектакли смотрят по многу раз. Конечно же, для Девочки и с профессиональной точки зрения такое знакомство очень важно. Марк одарен до бесконечности и постоянно что-то придумывает, что-то планирует ставить. Очень хочет — пьесу о Мейерхольде, и «Хочу ребенка», которую написал Танин папа. К сожалению, ни то, ни другое по независящим от него причинам, о которых чуть дальше, сделать ему не доведется... А как показывает сам! Причем, каждую роль, каждый эпизод. Как объясняет, раскладывает «по полочкам». Да и мыслит так, что сразу видно — «свой». И неудивительно: его папа с 37-го тоже восемнадцать лет отдал «на благо «нерушимого и республик свободных».

Но в конце 60-х «новый объединенный партком» МГУ, при котором (МГУ) Театр Марка был создан еще студией, этот Театр закрывает. И делает это потому, что на дворе уже другие веяния: «оттепель» закончилась так же внезапно, как и началась. А тем, кто ее «охладил», ни к чему было, когда откуда-либо, а в данном случае со сцены, звучали «не те ассоциации», которые им — пришедшим или оставшимся в важных кабинетах к кон-

цу 60-х — были нужны. Но это уже другая история, о которой — и еще многих не менее драматичных — Марк расскажет позже на страницах своей книги...

И все, с кем Таня знакомит Девочку, ее обожают. Что, впрочем, нам уже и не удивительно.

\* \* \*

**А** еще в эту пору к Девочке придет любовь. И влюбится она в Поэта. Причем, не просто в Поэта, а в Больше, Чем Поэта — такую миссию он в какой-то момент отведет Поэту в России. Но при этом и каждому станет ясно, кого он имеет в виду. Это будет очень красивая пара, хотя вместе они могут появляться мало в каких домах. Дело в том, что Поэт *«пока не свободен, но это дело времени»*. Ну и еще — не дай Бог сообщат Маме. А она других правил и не поймет никаких *«пока»*. И Маму Поэт не только уважает, и ею восхищается, но и побаивается как, впрочем, большинство из тех, кто ее знает. Даже очень маститых, потому что и строга, и авторитетна. А к Тане можно. Подруга все понимает. И там они бывают нередко.

А еще порой очень романтичны их свидания. Зимой, ночью, перелезают ограду Парка культуры им. Горького. И — на каток. А коньки только у него. Он надевает их, а ее ставит себе на ноги. И так *«паровозиком»* едут. Вдвоем во всем огромном парке, будто в огромном мире — только Он и Она. Разве не Поэзия, порожденная влюбленностью, а, может, и любовью...

И эта счастливая пора длится и длится. Конечно, не всегда безмятежно. Периодически Поэт ревнует Девочку, обнаруживая ее рядом с воображаемым соперником или в ЦДЛ (Центральный Дом Литераторов), или в театре, например, на премьере спектакля, поставленного по его Поэме Режиссером Юрием Петровичем, куда сам же даст Девочке два билета в расчете на то, что второй будет Таня. Но та заболевает, и с Девочкой пойдет Танин Племянник, который тоже очарован спутницей, но у него свой роман в разгаре.

Поэта каждый раз приходится успокаивать, поскольку изображение творческой личности склонно разыгрываться не на шутку. И, тем не менее, он медлит решать свой *«проклятый вопрос»*. И *«пока»* так и остается без изменений, потому что каждый раз какие-то *«обстоятельства»*.

В какой-то момент, когда его *«проклятый вопрос»* в отъезде, Девочка зачем-то заходит к Поэту и обнаруживает, что тот не один. Ну, где ж ей было знать, что не просто Поэту, а Больше, Чем Поэту для вдохновения нужна *больше, чем одна Муза*. И он, как иной раз любила сказать Таня, черпал его (вдохновение) *«везде, где выдают»*.

Девочка явно растеряна. В сердцах что-то высказывает. И после этого слышит *такую* форму ответа, от которой растеряна еще больше: будто другой, совсем не знакомый ей человек это сказал и сделал. Она уходит, и не знает, как жить дальше. К сожалению, к Тане не идет, а идет в комнату, которую снимает (с какого-то момента живет не с Мамой) и где так много было у них с Поэтом таких замечательных свиданий. И в этой комнате, чтобы как-то успокоиться, а может, и *«забыться и заснуть»* (состояние-то крайнее — *«мир рушится»*), проглатывает все, что находит... Слава Богу, не *«заснула»*, а оказалась в Склифосовского...

После этого Поэт из ее личной жизни исчезает. Но жизнь продолжается. Да и как может быть иначе у такой красавицы, о которой среди московской богемы тех лет ходят леген-

ды. И о ней столькие мечтают, и ей столькие завидуют... У нее очень красивый роман с Хирургом. И не просто с Хирургом, а с Нейрохирургом, о котором Высоцкий напишет: *«Он был хирургом — даже нейро, /Специалистом по мозгам./ На съезде в Рио-де-Жанейро/ Пред ним все были мелюзга...»* И действительно, избранник не только умен, талантлив и ярок, но уже знаменит и востребован далеко за пределами страны. Жаль только, уйдет из жизни сравнительно молодым. Сердце... Потом — молодой Академик. Светило в области неврологии. По просьбе Девочки поместит тяжело заболевшую Танину маму в свою клинику и тем самым очень поможет и Тане, и маме... Красавец. Глаз не оторвать. Но он тоже со своим *«пока»*... Были и другие романы, может быть, менее яркие. Но сплетен возникло не меньше, поскольку такая изысканная красавица всегда на виду, даже, когда хочет быть в тени. Ведь и молодые (и не очень) люди при виде Девочки, как правило, по выражению Тани, *«делали стойку»*, при этом нередко забывая о своих спутниках.

Но, похоже, *самого желанного* она встретит позже. И не в Москве. Только об этом — потом. А пока незаметно подходит окончание института.

## Большая сцена

**Н**а выпускной спектакль («Соперники» Шеридана) собирается театральная Москва, поскольку курс очень сильный и о спектакле уже известно не только в театральных кругах. И Девочка блистает. В зале такое ощущение, будто она родилась на сцене. Конечно, это ее призвание. Тут двух мнений и быть не может. Предложений много. Есть из чего выбирать. Но как тут можно выбирать, когда *еще до дипломного спектакля*, посмотрев несколько ее студенческих работ, пригласил сам Акимов. Тот самый легендарный уже при жизни, именем которого позже назовут возглавляемый им театр — Ленинградский Театр комедии. Но: *«...судьба распорядилась по-своему — Акимов неожиданно (осенью 68 года во время гастролей Театра в Москве) умер... на смену ему приходит другой — со своими взглядами и требованиями... Начался дележ власти. Старые и заслуженные актеры едва держались на плаву, а какая перспектива ждала меня? Сидела бы безвылазно за кулисами... Я оказалась на распутье... могла бы поступить в один из московских театров... Но решила иначе...»*

И на это «иначе» влияет замечательный Лев Копелев — Мамин друг, человек энциклопедических знаний, специалист по зарубежной литературе и театру, в частности, автор знаменитой книги о Брехте, дружит с Солженицыным, который вывел его одной из центральных фигур романа «В круге первом». А главное, из тех редких людей, порядочность которых не обсуждается, поскольку известна далеко за пределами творческой Москвы...

И продолжает свой рассказ об этой поре Девочка так: *«Лев... мой крестный отец, мой учитель по жизни, используя связи, посоветовал мне уехать в красноярский ТЮЗ (Театр Юного Зрителя)...»*. И он (как всегда) оказался прав, потому, что там собралась труппа — в основном из выпускников Москвы и Ленинграда, которой могли позавидовать многие столичные театры. А возглавлял театр талантливейший и еще молодой Кама, которому помогала не менее талантливая его жена Гета. Сейчас и Каму и Гету в театральном мире знают все. А в ту пору они были широко известны лишь узкому кругу. Но как же с ними

было интересно. Какой уровень мышления, нестандартность, сколько открытий благодаря им — и сценических, и драматургических, и литературных, и в своей душе...

*А уж как она трудится: «Я попала на большие роли и работала до седьмого пота..., я умирала от страха, но не сидела без дела. Мастерство актера требует постоянной работы и творческого приложения сил, чего у меня было в достатке... Красноярск — город с удивительным театральным климатом. Власти позволяли нам практически все. Там, в середине 70-х, мы ставили Вампилова! Мы приехали на гастроли и покорили Северную столицу. Вампилов, Мольер, Шекспир потрясли выдавший виды город на Неве. Всю труппу мгновенно разобрали — нас с Камой... заметил и пригласил в театр «Акимова» главный режиссер...».*

Конечно, приятно. И в то же время «медные трубы» — вещь коварная, а в молодости вдвойне. Вот и здесь после такого триумфа на пороге чего-то нового, пьянящего своими ожиданиями, пока неведомого, но непременно замечательного — всенародной славы — молодые люди переборщили: *«Подводя черту под очередным этапом жизни, мы, не понимая, что творим, как одержимые, жгли эксклюзивные декорации спектаклей, созданные Эдуардом Кочергиным — а они вошли в антологию театра. Мы расставались с костюмами, смоделированными самой Аллой Коженковой. Я вспоминаю об акте сожжения прошлого с тяжелым сердцем. Воистину, мы жгли мосты...»* — скажет Девочка много позже.

Следует заметить, что в судьбе произведений Эдуарда Кочергина это не единственная утрата. В те же 70-е БДТ (Большой Драматический Театр) Ленинграда повезет в Аргентину, ставший к тому времени всемирно знаменитым спектакль «История лошади», который поставит там Марк Розовский, но в последний момент все официальные лавры отберет у него Товстоногов. И во время этой поездки где-то посреди Атлантического океана случится серьезный шторм. Обстановка на корабле станет настолько угрожающей, что ящики с декорациями этого художника выбросят за борт, чтобы облегчить судно. Но это — к слову.

Итак, вновь Театр уже имени Акимова: *«Да. Я опять попала в Театр Комедии, который по сей день называют «акимовским». Зубастый театр! Кама бы и раньше перешел на питерскую сцену, но режиссерскую дорогу ему, как и Льву Додину, перекрыл Товстоногов, распорядившийся в те годы судьбой театрального Ленинграда (не любил он яркие индивидуальности не в своем театре, хотя и в своем указывал всем «на место», которое каждый там знал, а несогласные уходили; но Каму и не позвал, и к другим сценам города до поры не пускал)... Свободных вакансий в труппе не было — театр всегда укомплектован «под завязку», но для меня сделали исключение. «Монолог о браке» Радзинского — мой дебют, поставленный Камой. В театре все знали, чья я сестра, собственно я это и не скрывала. Нас часто видели вместе — Брат постоянно навещал Питер. К тому времени он уже давно живет в Москве.*

*Старики, столпы питерской театральной сцены — Зарубина, Уварова, Юнгер, Вельяминов, Севастьянов, Лемке отнеслись ко мне замечательно. С некоторыми ровесниками отношения не сложились. Закулисная жизнь, страсти в гримерках, любовные интриги, недвусмысленные предложения режиссеров — это, пожалуй, основная движущая сила любого театра (в быту). Я не могу сказать, что у меня мертвая хватка, но я смогла влиться в труппу без всех этих сложностей. Видимо, как в спектакле, оказалась «в нужный час в нужном месте»...*

*Я проработала с одним из ведущих режиссеров — Петром Фоменко, семь лет, захватив самые лучшие годы театра! Наверное, питерский период был одним из самых плодотворных».*

Ее заметили сразу. У нее хорошая пресса. Отмечают не только дарование, но и элегантность в любой роли. И отсутствие штампов — всегда свежо. И еще — что играет «с запятой». А это не только свидетельствует о ее потенциале, но и оставляет зрителю максимальную возможность сопереживать. Что, собственно, и является основной задачей театра. Такая игра — особый дар артиста, который встретишь нечасто. И этому не научишь: или есть, или нет...

Здесь же в Питере Девочка вновь столкнется с организацией, которая знакома ей с детства. Сейчас она (эта организация) чуть переименована:

*«У меня появился колоссальный круг знакомых. Миша Барышников стал одним из самых близких мне людей.*

*В 1974 году Миша становится невозвращенцем. Именно в тот самый день мы возвращаемся с гастролей по российской глубинке. Спускаемся с трапа, и я моментально попадаю в объятия КГБ. Под белы ручки меня препровождают в черную «Волгу» и увозят на Литейный, 4. Начинается дотошное выспрашивание: знала ли я Барышникова? Если да, то с какого момента? Если нет, то не лучше ли — «да»? Кто бывал в гостях у Барышникова? С кем последним он контактировал перед отлетом? Кого последним я видела у него в гостях? Если никого не видела, то не лучше ли напрячь память? Если я забыла, может, помочь мне вспомнить? И дальше в таком же духе. А я сижу и думаю только об одном:*

*— С собакой он там остался? — Что невольно вырывается, как размышление вслух.*

*— Без шуток тут! — стучит пальцем по столу высокий КГБэшный чин»...*

В общем, отпустили — времена все же не те, что были в Маминой молодости, — но на заметку взяли.

\* \* \*

**А** дальше то, что нередко случается, «когда ее совсем не ждешь». И случилось это так: *«Закончилась моя театральная жизнь в этом («акимовском») театре тем, что к нам приехал Режиссер Национального Театра Белоруссии. Шукшина у нас ставил. Талантливый и незаурядный человек — он покорила меня мгновенно, и я поехала за ним. Меня никто не мог понять: «Как ты можешь менять Питер на Минск?». Но любовь — есть любовь»...*

К тому же случится так, что одно очень сильное чувство придет в этот период вслед другому, но противоположного знака: *«... основной причиной переезда в Минск послужила смерть мамы. Мне нужно было отвлечься от мыслей об одиночестве, терзавших душу после ее ухода. В моей жизни не было человека более родного, более близкого. Меня всегда окружали друзья, но в этот период уже пошла первая волна эмиграции. Друзей оставалось все меньше, пустоты — все больше»...*

И в Минске она востребована. С мужем сразу решили, что работают в разных театрах, чтобы не было разговоров, всегда сопутствующих «семейственности», где бы то ни было. В основном играет главные роли. Конечно, не так интересно, как с Камой или Фоменко. Но что поделаешь — судьба. Зато дома на первых порах все замечательно, потому что *«... под управлением любви».*

Но в какой-то момент появляются проблемы. Они связаны с Братом. Тот в 1979 году ста-

нет одним из составителей и авторов бесцензурного альманаха «МетрОполь». В стране альманах публиковать не разрешат, но материалы каким-то образом попадут в США, где он и выйдет. Тут же в Союзе писателей сделают «оргвыводы», и двух его товарищей Евгения Попова и Виктора Ерофеева — тоже авторов и составителей альманаха — из Союза исключат. После этого добровольно и в знак протеста против их исключения выйдет из его состава и Брат.

Его перестанут печатать и практически вынудят покинуть страну. Летом следующего года выпустят вместе с женой по приглашению в Америку, после чего лишат гражданства.

\* \* \*

**Н**у и, конечно же, хотя и «сын за отца не отвечает», но к сестре вновь (видно, судьба) пристальное внимание грозной организации из трех букв: «...мне в театре досталось по полной программе: и КГБ, и чиновники окружили плотным кольцом. Полетело все — моя дополнительная работа в газете, на радио, съемки в кино (успела все же сняться в 3-х фильмах, в одном из которых в главной роли). Коллектив театра сразу отвернулся (генезис страха в этой стране так и остался), за спиной постоянно шептались»...

Наиболее же печальное в этой истории, что испугался и фактически предал самый, казалось бы, близкий в ту пору человек — муж. Подал на развод и для верности, чтобы нигде не «проколоться», уехал на неопределенный срок — до бракоразводного процесса — в «глубинку». Что-то ставить в одном из провинциальных театров.

Пройдут годы, но она никогда не обвинит его в этом. Лишь будет жалеть, что изменил он тогда самому себе. И изменил в главном, после чего Художник обычно не поднимается на тот уровень, на который мог бы. А он ведь был талантлив...

«Проколоться» же не составляло труда: «Меня однажды вызвал Антонович (зав. отделом культуры ЦК КПБ). Иду по его длинному кабинету и вдруг слышу знакомые голоса: Андросика, моего мужа, Милованова... — компания, с которой мы в те «брежневские» времена проводили время. Ну и Иван Иванович Антонович «в воспитательных целях» дал мне прослушать наши же разговоры, записанные «органами» — они (разговоры), естественно, были весьма вольнолюбивыми. Один был записан на нашей кухне, другой — в «прянике» (Дом актера в Минске)... В общем, вскоре мне пришлось из Минска уехать. Потом, правда, вернулась, играла в Альтернативном театре, пока его не закрыли»...

\* \* \*

**И**тут, как говорят: «пришла беда — отворяй ворота». Все чаще болеет Таня. Девочка постоянно в любое «окошко» навещает Подругу. В какой-то момент, когда у Тани ухудшение, хочет бросить дела и ухаживать за ней сколько потребуетсЯ. Но та отговаривает. Уверяет, что не надо. Что справляется сослуживица, которая рядом и которой удобно совмещать уход с работой. Подруга понимает — на то она и Подруга, — что у Девочки не лучшие времена, и нужно работать и как-то выживать. А также, говорит, что квартира завещана Девочке и, «если что», пусть переезжает в Москву.



Тем паче, здесь многие хотят ее видеть в своих театрах.

Таня и раньше нередко говорила о таком завещании, чем всегда вызывала возмущение Девочки:

— *Иди ты, Танька, знаешь куда... А порой и добавляла, «куда».*

Запротестовала она и на этот раз. После традиционного «куда» уже мягче добавит:

— *Ты еще поживи. Рано тебе размышлять на эту тему. Скоро у меня «окошко», и я приеду на все эти дни. Мы с тобой еще...*

Но никто не знает, когда уже пора размышлять на эту тему... До «окошка» Таня не доживет. Неожиданно — еще накануне ничто не предвещало — Девочка узнает, что Подруги уже нет.

А когда закончится прощание, она узнает и другое: что Танино завещание на квартиру каким-то образом теперь составлено на ту сослуживицу, которая за ней ухаживала...

Для Девочки — полная неожиданность — когда и как. Потому что совсем недавно опять же по инициативе Тани у них состоялся разговор на эту тему, и та, отдавая уже конкретные распоряжения, напомнила Девочке, что библиотеку она оставляет своему Племяннику.

Хотя позже Девочка вспомнит, что в самую последнюю встречу, буквально накануне печального события Таня почему-то заплакала и стала просить у нее прощения. Девочка тогда не придавала этому значения, а точнее, подумала, что, когда пожилой человек болен, всякое в голову приходит, и, может быть, Подруга решила на всякий случай заранее снять с души какой-то грех, покаяться. Может, в чем-то и хотела, но не решилась, сказав лишь на прощанье: «*Бедный мой ребенок*», — она иной раз любила Девочку так назвать. И снова заплакала. Молча...

Позже она расскажет, что, когда ей сообщат о Тане, подумает: «Надо сохранить память не только в себе, но и сделать из квартиры нечто вроде музея, поскольку там есть письма, фотографии, рисунки, магнитофонные записи, вещи..., которые — сама история и где «дышит почва и судьба».

Где все это сейчас?...

Но продолжим.

И вот — весть от Таниной сослуживицы прямо на поминках.

И как теперь быть? В Минске все перекрыто. И это при том, что она — заслуженная артистка Республики Беларусь, — видно, степень ее дарования и значимость сделанного для культуры Беларуси настолько заметны, что звание присвоили и несмотря на такое пристальное внимание «органов». А в другом месте без прописки — нельзя. Да и кто будет хлопотать о прописке, даже, если она (Девочка) кому-то очень нужна в театре. А такие были, в частности, Режиссер Галина Борисовна, которая в свое время предлагала ей роль Мамы в Спектакле по книге Мамы. И вообще, дружит с Девочкой до сих пор. И Режиссер Марк звал, и были еще желающие в Москве и Питере... Но в те времена, а точнее, безвременье в культурной (и не только) жизни страны даже Галина Борисовна не смогла бы помочь Девочке в этом вопросе.

Относительно переезда в Москву или Ленинград мысли у нее были и раньше. Думала, попробовать поменять минскую квартиру — с мужем давно разъехались — на комнату в Москве или Ленинграде. Но при той свистопляске с ценами, что была в 90-е, и разнице между российским рублем и «зайчиком» — Белоруссия ведь после знаменитых посиделок в беловежской баньке — уже отдельное государство — легко могла остаться вообще без жилья. Да и без денег.

В общем, тупик...

## Резкий поворот

Но виду она не показывает, и на поминках никто не замечает ее смятения. Сказывается закалка Магадана (сколько раз эта закалка ей уже помогала, и еще будет помогать — без нее бы пропала) и врожденная деликатность, которая не позволила ей с кем бы то ни было поделиться своими обстоятельствами на тот момент. Привыкла за себя все решать сама.

В какой-то момент Девочка тихонько (по-английски) уходит. И на несколько лет те, кто был в тот вечер с ней, потеряют ее из виду. Потому что не увидит она тогда иного выхода, как покинуть страну. И попробовать где-то в другом месте все начать сначала. Уж больно погано было на душе. И именно здесь...

В скобках можно заметить, что выход все же был. И помочь ей мог Танин Племянник, который Девочку любил — что не изменилось и по сей день. Он мог оформить с ней фиктивный брак — его жена тоже Девочку любила и ради этого пошла бы на фиктивный развод. Но у Племянника, увлеченного в ту пору зарабатыванием денег, чтобы прокормить в лихие 90-е семью, не хватило ни внимания, ни ума, чтобы заметить, КАК ушла



*Антонина Аксенова, 2002 г.*

Девочка, и попытаться выяснить, ПОЧЕМУ. И почему после этого долго не объявляется. Историю, случившуюся с ней, он узнает много позже, когда через четырнадцать лет встретит Девочку в ЦДЛ на прощании с Братом, поскольку Брат уйдет из жизни в Москве, и Девочка приедет его проводить...

\* \* \*

**О**б отъезде и жизни за границей в своих интервью она рассказывает так, что, если не знать деталей, происшедшее с ней похоже на сказку: «А вообще, нет худа без добра: пожила в Америке, в Европе, узнала мир, научилась самостоятельно работать, а не плакать в жилетку: «Режиссер не дает ролей» (у нее, правда, и здесь «плакать» по такому поводу оснований не было; может, только, когда попала под пристальное внимание «органов»)». Я работаю в Германии в нескольких антрепризах: на русском и на немецком языке — пришлось выучить! Хотя, не скрою, это очень тяжело. У меня есть моноспектакль по маминей книге, называется «Разные звери в божьем зверинце». Я с ним хорошо поколесила по Германии. Научилась настоящей ответственности и дисциплине. Ну, так судьба ж меня закаляла с детства... Германия — мой не первый опыт жизни за границей. В 90-х по приглашению Брата оказалась в Америке, где создала детский оперный театр. А Германию я знаю давно — ставила спектакли со школами разных конфессий и организовывала еврейские праздники для детей. Сейчас я живу здесь... берусь за все, что мне нравится. Основала детский театр — для всех возрастов. Нахожу в детях искру божью, вытаскиваю ее на свет, придаю таланту грани — самые одаренные и трудолюбивые остаются. Сейчас в коллективе 20 человек — у нас далеко идущие планы»...

Не правда ли — все просто: Брат пригласил в Америку, потом поехала по Европе, приглянулась Германия и пока обосновалась в ней. И ни слова о том, что приехала в Америку без гроша и без языка — французский, которым овладела в Щукинском, здесь «не помощник». И в каком состоянии приехала — 40 килограмм веса, вместо привычных 55-ти. Нервы от всего пережитого за последнее время дадут о себе знать: когда встретит там Больше, Чем Поэта, тот сразу и не узнает ее — такая тощая была.

Потом будет в ее жизни и инфаркт, но, слава Богу, не сильный.

Брат, конечно, на первое время поддержал, и жилье помог снять. Но он человек творческий, и, когда садится за стол, об остальном может надолго забыть. Да и тревожить его неудобно. Ведь не обязан. И так много сделал. А страна чужая. Пока приспособишься, пока выучишь язык. Но она — Девочка из Магадана. И Школа, полученная там — не шутка. Пойдет воспитательницей в семью. Потихоньку освоит язык. А хозяйский ребенок полюбит ее так, что, когда настанет пора расстаться, очень огорчится и возьмет обещание, что она будет к нему приходить... В скобках заметим, что любовь чужого ребенка — это показатель...

И ни слова в своих интервью о том, что, когда уже наладит жизнь в Америке — выучит язык и создаст детский оперный театр — во время поездки в Европу, в одной из цивилизованных стран ее обворуют так, что останется без денег, документов и вида на жительство в США. А чтобы восстановить вид на жительство, требуется минимум год. И что делать в это время: где жить, и на какие средства, если даже удостоверения личности нет...

Вот такая преамбула этой «сказки»...

И она попадет в Германию. Произойдет это неслучайно. Мы ведь помним, что ее Папа — немец. В общем, в тех тяжелых обстоятельствах помогут его родственники. Некоторых из них она знала, еще живя в Америке.

Но основное, как и накануне в Америке, она дальше сделает сама: выучит язык, не гнушаясь поначалу никакой работой. А уже потом создаст театр; и будет все прочее, чем Девочка теперь живет и не без оснований гордится.

Вот и вышло, что Папа и тут, как нередко бывало в детстве, изначально ее «поддержал»...

— *Я нашла потом всех его родственников, они, конечно, тоже пострадали. Их потомки теперь живут в Германии.*

Да и она себя не переставала чувствовать «потомком» Мамы и Папы. Даже, когда обо всем узнала, что стало для нее большой неожиданностью:

— *Я жила в семье и не знала, что эта семья мне подарена, и была уверена, что в этой семье родилась... Очень поздно узнала, как все случилось. Мне было уже 20 лет. Мама дописывала свой роман..., в котором есть и обо мне, о моем удочерении, и сама сказала мне об этом. Я была в шоке!.. ведь я даже была похожа на Папу... Мама сообщила мне довольно сухо, без всяких подробностей, только попросила: «До моей смерти не ищи своих настоящих родителей». Боялась меня потерять... А я и помыслить не могла, чтобы от нее отказаться. Уже много позже я узнала о брате, который у меня был, и свою настоящую фамилию...*

\* \* \*

**А** встреча с Магаданом, который так и остался в душе чем-то родным, где бы она ни была, произойдет и в ее нынешней жизни:

— *Я собрала денег и... съездила в Магадан — как к себе домой прилетела. Посетила квартиру Козина (знаменитый эстрадный певец — лирический тенор 30-х — 50-х), но она оказалась не настоящей! Лапшу туристам вешают: папа часто брал меня с собой к Козину. Я там и Русланову (знаменитая эстрадная певица 30-х — 70-х годов) видела, и Эдди Рознера (знаменитый композитор и дирижер — создатель, гонимого у нас долгие годы джазового ансамбля). Кстати, я побывала в местном КГБ и кое-какие документы привезла, в частности «дело» Рознера (родственникам — он ведь по происхождению немец). Отдали, потому что все равно пропадают — хранятся в ужасном состоянии. Сказали мне: «Мы храним только самых знаменитых: вашу маму, брата...» — и показали доносы на Брата, когда ему было 16 лет... У меня там была встреча — представляете, Папу Магадан помнит до сих пор! Приезжали на колясках старухи, руки мне за отца целовали. Он хорошо лечил, многих спас. Сам чудом выжил — начальник его поберег для своей больной жены, Папа был доктор талантливый... А в магаданской городской библиотеке открыты музеи Мамы и Брата. Магаданцы вообще гордятся своей историей — там же в 1930-х — 50-х годах оказался ЦВЕТ НАЦИИ...*

Имя Брата увековечено теперь и в Коктебеле, где он так любил бывать и многое написал. Сделает это его друг — поэт, писатель и публицист Вячеслав Ложко, который там живет. По его инициативе одна из улиц Коктебеля ныне носит имя Брата. А слова Брата: «Слава, ты настоящий Коктебелец! Удачи всем твоим предприятиям, стихам и артистическому кафе «Богдан», написанные в лихие 90-е, остались свидетелями их отношений.

Девочка познакомится со Славой сравнительно недавно, впервые побывав в Коктебеле, о котором издавна так много слышала. И теперь при случае старается туда заехать, потому что им со Славой есть о чем поговорить: его жизнь тоже не была легкой, и он тоже достойно выходил из самых трудных обстоятельств...

\* \* \*

**З**аканчивая ответ на один из вопросов о своей нынешней жизни в Германии, Девочка скажет:  
— *С недавних пор еще и даю мастер-класс по актерскому мастерству на кафедре славистики Гренобльского университета им. Стендаля. Там царит удивительная атмосфера, а я, как всегда, сталкиваюсь с поразительным стечением обстоятельств — почти все профессора лично знали Брата... И, тем не менее, я не живу прошлым, но я помню о нем — а это совсем иная история...*

Вот, собственно, об этом — «не живу прошлым, но помню о нем» — и хотелось рассказать.

Конечно, ей повезло, потому что в ее жизни оказались не только Мама и Папа, но и полковник Цирульницкий. Но вряд ли когда-нибудь она могла предположить, что ей, как и Маме, тоже предстоит пройти свой КРУТОЙ МАРШРУТ. И дело совсем не в «увлекательности или драматичности» ее истории, а в том, КАК она живет. Потому что живет не только для себя (да и не умеет она так), но и в ПАМЯТЬ тех, кто делал ей добро, а также, тех миллионов мальчиков и девочек, которым не встретились ни Мама, ни Папа, ни полковник Цирульницкий.

И будто чувствует свою миссию, потому что сама несет теперь радость детям, наполняя их мир художественным воображением.

Конечно, Маме и Папе, которыми она всю жизнь гордится, было бы сейчас приятно знать, КАКОЙ стала их Дочь. Какая в ней постоянно идет душевная работа. И тоже гордились бы ею.

Ну, а то, что Девочка живет в цивилизованной стране, где любой человек может жить, а не выживать — как сейчас там, откуда пришлось когда-то с таким огорчением уехать, — видимо, награда ей за пережитое и за то, с какой честью вышла из всех испытаний.

*P.S. «...Вся в трудах... Ездил в Гренобль давать мастер-класс. Потом меня возили в Швейцарию по местам Набокова, Чаплина и разным достопримечательностям. Только вернулась и сразу — к делам, репетициям, спектаклям... В Германии с 5-го мая пойдет фильм по книге мамы. В связи с этим меня отыскали французское и немецкое документальное ТВ — даю интервью. Встретилась с актером, который играет папу. Потрясающий артист и яркая личность. Мы просто «вцепились» друг в друга...*

*А вообще, они смотрят на меня, как на инопланетянку...»*

Ну, а как иначе для тех, кто не знает что такое построение «самого лучшего на земле строя» в одной отдельно взятой стране. Живая история. Да еще какая.

Но для тех, кто давно ее знает, она так и осталась той Девочкой из Магадана, готовой искренне отдать последнее, чтобы выручить. Недаром ее всегда так ждут и любят дети, которых не обманешь, и давние друзья.

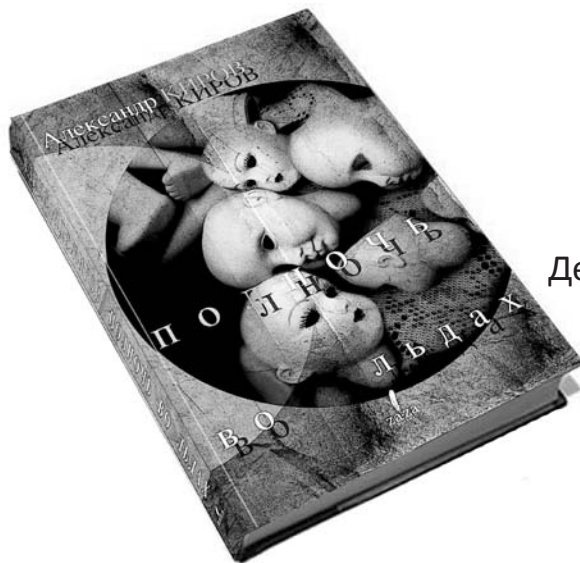
Родилась она в первый день лета. И, может быть, в этом тоже что-то есть.

---

## Подразумеваемые имена:

*Мама — Евгения Гинзбург;  
Папа — Антон Вальтер;  
Брат — Василий Аксёнов;  
Таня — Татьяна Третьякова (дочь писателя С.М.Третьякова);  
Поэт — Евгений Евтушенко;  
Галина Борисовна — Г.Б. Волчек;  
Юрий Петрович — Ю.П.Любимов;  
Марк — Марк Розовский;  
Кама — Кама Гинкас;  
Гета — Генриетта Яновская;  
Павочка — Паулина Мясникова.*

*Весна 2011 г.*



## ПОВЕСТЬ «Полночь во льдах» Александра КИРОВА

Действие повести происходит  
во время **ВОВ**  
в санатории  
для детей, страдающих  
**КОСТНЫМ** туберкулезом.  
Главный **герой...**

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

Виктор ХАТЕНОВСКИЙ

## НАДОРВИ МОИ ПЕЧАЛИ

\* \* \*

Ночь оглохла от скорбного бубна.  
Ты хандрой, как проказой, больна.  
Разведёнка... Горда, неприступна —  
Свыклась с платьем из чёрного льна.  
Не колдунья, не божья невеста —  
Ждёшь нетрезвых лобзаний земли:  
В брэнной жизни — достойного места  
До сих пор для тебя не нашли.  
Сколько мифов ты не развенчала,  
Сколько слов не успела распять?!  
Сколько слёз у морского причала  
Смоет с глаз твоих — чёрствая мать?!

25.06.2012

\* \* \*

Среди прочих напыщенных львиц ты, бесспорно,  
Выделяешься запахом кожи. Звук горна  
Твоего — как набат, предвещающий — вскоре  
Эту землю волной смоеет в Чёрное море.

Я — которого страх грозным скрежетом стали  
В предстоящем бою обезглавит едва ли;  
Я, который познал вкус борьбы, запах крови,  
Трепещу, когда ты сводишь тонкие брови.

Обескровлен, сражён, припечатан к веригам  
Тихим голосом, взглядом пронзительным, криком:  
Из тибетских пещер повылазив, Атланты  
Твоим недругам рвут причиндалы и гланды.

31.10.2000

\* \* \*

Набычив лоб, сойдя с ума,  
И умертвив в октавах звуки,  
Вновь расторопная зима  
Ребенком просится на руки.  
Она предчувствует разлад...  
Кричит: «Юродивый, покуда  
В грехах замешкался Пилат  
И от судьбы бежит Иуда —  
Твори!» Пытаясь мне помочь,  
Деревья вскакивают с места...  
Вот только странно в эту ночь  
Смерть разодета — как невеста.

*8.09.1994*

\* \* \*

С утра расцвела придорожная ива.  
Возможно, чужую предчувствуя боль,  
Природа сегодня так красноречива,  
Что я над собою теряю контроль.

Забыты тревоги, бег в поисках хлеба,  
Надуманый страх безвозвратно исчез.  
Мне только бы видеть бездонное небо,  
Рассвет и с туманом флиртующий лес.

*14.01.1997*

\* \* \*

Так это — всё?! А где — под грохот сбруи —  
Проклятья, ласки, слёзы, поцелуи?  
Где монолог: «Как долго, в самом деле,  
Должна я ждать тебя в своей постели?!»  
Где взрыв эмоций? Где — ответ мне быстро —  
Французской водки полная канистра?..  
Постель согрев, ждёшь агнца, Клеопатра?  
Помру — сегодня. Ты погибнешь завтра.

*25.02.2011*



\* \* \*

Был дерзок я, как уркаган.  
В бескровной схватке с вами —  
Краснел, хватался за наган...  
Мог землю грызть зубами.  
От криков собственных оглох —  
Неистовствовал... Следом —  
Раскрасил стихотворный слог  
Прекрасным чёрным цветом.  
Вам трудно мне не сострадать?  
Бог — в помощь! Рифмы эти  
Грудной братве талдычит мать,  
Весь день горланят дети.  
Мой стих сильнее топора,  
Страшней клыков вампира...  
Довольно! Полночь. Спать пора.  
Раскурим — трубку мира?!

*2.08.2011*

\* \* \*

Голос, взгляд, походка, жесты —  
Слепок жизненный... В Белграде  
Смерть, схватив костюм невесты,  
Льнёт к кладбищенской ограде.

Под стеклом расправив спины,  
Подвывая: «Все мы смертны»,  
Розы, астры, георгины  
Снова ждут сакральной жертвы.

Затхлый запах влажной тверди  
Мозг взрывает криком: «Горько!».  
Моцарт, Бах, Чайковский, Верди  
Нагнетают страсти... Только

Оглашенным — страх неведом:  
Растворившись на погосте,  
Будешь — скомканным портретом  
Приходить к Отчизне в гости.

*17.03.2012*

*«У тебя на каждый вечер хватит сказок и вранья».*  
*Павел Васильев*

Не сурьми бровей, родная!  
Хоть я набожен, не глуп —  
Вместо ада, вместо рая —  
Приласкай и приголубь...  
Надорви мои печали,  
Огради меня от бед;  
Будь — какой была вначале  
Восемь долгих зим и лет.  
Я зубами землю рою,  
Крю мотом тишину.  
То в загул уйду с другою,  
То к верёвке шеей льну.  
То в Крещенские морозы,  
Разбавляя водкой яд,  
Псом бездомным — под гипнозом,  
Всё гляжу на циферблат:  
Час, второй — четвёртый, пятый...  
Надоело! Хватит! Впрок  
Ночь, достойная расплаты,  
Пыль дорог сбивает с ног;  
Отблевавшись, кружит рядом  
С чёрной стаей воронья...  
Вот и всё — дышу на ладан:  
Хватит — сказок и вранья!

*6.03.1990*

\* \* \*

Декабрь без снега — благодать.  
На ветках — гроздь спелых почек.  
Ты с каждым призраком в кровать  
Ложись спать без проволочек.  
Затем, проснувшись поутру —  
Всплакнёшь над свежим некрологом:  
«Ведь я — когда-нибудь помру  
И в гроб сойду в костюме строгом».

Твой мозг хандрит без топора.  
Заправить снедь холодной водкой  
Тебе — давно пришла пора;  
И — в путь скользящею походкой.  
Так — день за днём, за годом год:  
Трактир, трамвай, завод, берлога.  
И чернь подвыпившая ждёт  
Очередного некролога.

*5.12.2005*

## НЕ ЧЕРЕЗ РОДИНУ, А ЧЕРЕЗ ИСТИНУ...

Размышления над эссе Осипа Мандельштама  
«Петр Чаадаев»

Прочитал в «Зарубежных Задворках» эссе Осипа Мандельштама «Пётр Чаадаев». Забудоражила потребность рассмотреть некую основоположную русскую черту Чаадаева.

Первая мысль по прочтении опуса Мандельштама: *«Какое потрясающее эссе! Какой великий мыслитель! Какая обворожительная дерзость философической догадки и метафизической разгадки!»* Потом, правда, возникло ощущение, что начинает Мандельштам с явного преувеличения, если не с ошибки: *«След, оставленный Чаадаевым в сознании русского общества, — такой глубокий и неизгладимый, что невольно возникает вопрос: уж не алмазом ли проведен он по стеклу?»*. (О.М.)

Да где ж глубокий-то?

А может быть, как раз именно глубокий?

Так глубок, что и не ощутим?

Нет, возможно, в русском обществе образца 1915 года и ощущался чаадаевский след, хотя, думается, значительно более глубокие и ощутимые «порезы» оставили на ментальном челе русского общества, — той самой печально-знаменитой русской интеллигенции, — Достоевский и Толстой, колоссальные художники и колоссальные повредители хилой интеллигентской ментальности (об этом Н. А. Бердяев говорил ещё в «Вехах», а позже в «Духах русской революции»). Думаю, и тогда... и уж точно в красном аду русского XX века, Чаадаев сказался мало, остался почти вовсе не услышан, и почти совершенно не оценен. Да и могли быть *«В младенческой стране, стране полуживой материи и полумертвого духа, где седая антиномия косной глыбы и организующей идеи была почти неизвестна»?* (О. М.) Будь он услышан, а паче, понят, — не имела бы современная Россия свою чудовищную рожу, перегаром разящую, алкогольным вырождением отмеченную, печатью морального разврата пропечатанную и при всём том в выражении убогого завистливого надмения самозабвенно перекошенную.

Нет, не пришёлся Чаадаев России.

И уж если о неизгладимом чаадаевском следе, — то уж это тогда украденный покой самодовольства. Навсегда лишил покоя этот русский отступник России её лучшую, самую малочисленную, истинно мыслящую элиту.

Кого-то он всё-таки оставил с мыслью.

И вот через эту досадную, нет... саднящую мысль, обкраденный покоем русский из самых

лучших, наивный и мудрый Осип Мандельштам, нашёл, возможно, единственное, но тотальное оправдание русскому духу и России: *«Чаадаев знаменует собой новое, углубленное понимание народности, как высшего расцвета личности, и — России, как источника абсолютной нравственной свободы»* (О. М.).

Народность, как высший расцвет личности?

Абсолютная нравственная свобода?

В России?

Дикий парадокс, когда речь идёт об исконной и закоренелой *«стране рабов, стране господ»*, где и мундиры-то по сей день *«голубые»*.

И все они те же и всё они там же.

Так как же?

Как может это быть?

А очень просто, как в России — дико и само с собою несопоставимо, почти как во Троице Святой — нераздельно и неслиянно.

Западные люди — люди истории, люди традиции.

Тысячелетний папа в паланкине, чистота и отшлифованность исторических форм, римские руины, как паспорт породистого пса, удостоверяющий его привитость от чумки и прочих расовых недугов, свидетельствующие по всей Европе генетическую уснащенность античной красотой и римским правом — всё это есть то, чем русские не могут и уже никогда не смогут быть. Они не выброшены из истории, они в неё не вброшены. Они не прошли плотных слоёв исторической атмосферы и не дышат воздухом истории, им традиции и историзм жизни недоступны.

А и нипочём!

Они дышат страшным воздухом космоса, воздухом отрицательных температур, неся внутри хаос расплюснутости космическими давлениями бесчеловечного азиатского деспотизма и разорванность космическим вакуумом исторической бесформенности. *«Но разве не удивительное зрелище эта «истина», которая со всех сторон, как неким хаосом, окружена чуждой и странной «родиной»?»* (О. М.).

Страшной, хотел сказать Мандельштам.

Постеснялся, не сказал.

Ещё бы не удивительное!

А Россия вообще удивительное зрелище!

Так и тянет порой перегнуть через мат: ну, бл... ты и удивительное же, язви твою в корень, зрелище!.. хотя общественно-историческая практика (критерий истинности наших знаний!) показывает, что удивляться и перегибать лучше издали, на почтительном т. ск. расстоянии.

В краю чудес, в краю живых растений,  
Несовершенной мудростью дыша,  
Зачем ты просишь новых впечатлений  
И новых бурь, пытливая душа?  
Не обольщайся призраком покоя:  
Бывает жизнь обманчива на вид...

(Заболоцкий)

Ого!..

Ещё и как обманчива бывает в этом удивительном месте, в этом «чудесном краю живых растений»!

Вам новых бурь и новых впечатлений?

Осторожно с этим в «чудесном краю», а то, неровён час... «живые растения»... — и будет вам какой-нибудь очередной «день трифидов».

Кажется, никто так не близок, как Россия, к состоянию, и не даёт так остро, как Россия, ощущения, что нечего терять. Они умирают с леденящей душу легкостью и выживают там, где наверняка не выживет человек исторический, человек понятной и усвоенной традиции, человек дисциплинированный и смиренный, человек отточенных временем и накопленных в полезный скарб рациональных форм и вразумительных норм, западный человек.

Человек, которому есть, что терять.

Знал ли Мандельштам тройную дихотомию (сейчас модно говорить — бинарную оппозицию) Бердяева: *«Француз — догматик или скептик, догматик на положительном полюсе своей мысли и скептик на отрицательном полюсе. Немец — мистик или критицист, мистик на положительном полюсе и критицист на отрицательном. Русский же — апокалиптик или нигилист, апокалиптик на положительном полюсе и нигилист на отрицательном полюсе»*. Скорее всего знал, а если и не знал, то прошёл совсем рядом.

1. Европейский скепсис мало энергетичен, но он если и не конструктивен, то по крайней мере, не деструктивен. Скептик сомневается, но он далёк от намерений ломать историю. Скептик историчен. Догматик — это сама историческая нормативность. Догматик не сомневается, он действует.

2. Не выпадает из истории и европеец-критицист, поскольку его критицизм в принципе культурен и историчен. Критицист оттого и настроен критически, что не имеет удовлетворения исторической актуальностью и устремляется к более совершенному историческому будущему. Критицист тоже историчен. Даже мистик, созерцающий иные реальности, в конце концов — сознательный башмачник (Якоб Бёме), то есть, трезвый и дисциплинированный исторический человек, знающий своё место и сознающий власть необходимости.

3. Нигилист есть принципиальный отрицатель всего.

Нигилист отвергает осознания, не признаёт никакие необходимости. Он срывает любой процесс — культурный, социальный, художественный... — одним словом, всякий исторический процесс. Нигилист бесчеловечен, ему ничего и никого не жаль. Однако, и положительный русский полюс — апокалиптика — принципиально антиисторичен, то есть, по сути — отрицателен. Апокалиптиком и может стать лишь тот, кто не был помещён (вброшен) в историю. Апокалиптик антиэволюционен и гиперреволюционен из сострадания (*Гамлет: «Из жалости я должен быть суровым!..»*), он склонен требовать уничтожения всякого промежуточного «здесь и сейчас» ради мгновенного наступления вечности. Из неукротимой страсти к немедленной и окончательной, то есть абсолютной, богочеловечности, он не допускает ничего срединно-человеческого, ничего смягчающего и щадящего, не предполагает ничего постепенного, то есть, в конце концов, отрицает любую человечность, поскольку всякая человечность относительна и срединна во времени мира и эволюциях его исторических форм. Русский апокалиптик жутко подобен русскому нигилисту, а нередко и оборачивается нигилистом — антиисторизм всеотрицающего верха в России естественно смыкается с антиисторизмом всеотрицающего низа.

*«Весь мир насилья мы разрушим до основанья!..»*

«А зачем?» — следует на этот дикий апокалиптико-нигилистический лозунг критическая реплика человека западного. Но прост как угол многоквартирного новостроечного дома апокалиптический ответ человека русского — «А затем!»

Западный человек понимает, что в истории невозможен непосредственный переход от «был ничем» к «станет всем», что исторически это неизбежно вырождается в «*Кто был ничем, тот стал никем!*» и более того, в тотальное расползание всякого **что** в **ничто**. Западный человек — логик. *Forza della ragione* (сила ума) — его альфа и омега. Осознанная необходимость эволюционных путей даёт западному человеку, будь он догматик или скептик, критицист или даже мистик, разумную свободу ясности и ясность разумной свободы, ограниченной пределами исторических форм. Западный человек есть человек истории, и потому он свободен относительно, умеренно, разумно. Человек истории свободен созидательно, ибо знает свои пределы, то есть оформлен и склонен придавать форму бесформенному окружающему миру.

Русский человек — апокалиптик он или нигилист — отвергает осознание необходимостей.

Сам Бердяев с предельно афористическим радикализмом констатировал: «*Необходимость есть падшая свобода!*» — но, как интеллеktуал, он оставил этот радикализм в чертоге умозрения и эсхатологических упований. Вынужденное западничество Бердяева было признанием неизбежности эволюционных путей, осознанием неукоснительного, не-обходимого пути истории, смысл которой он, впрочем, всё равно связывал исключительно с её концом (русская черта, апокалиптическая...). Но не нагруженный интеллектуализмом русский человек, не интеллектуал-апокалиптик, а просто апокалиптик или просто нигилист, органически противится эволюциям, выламывается из любых исторических форм, не имеет и не может иметь чувства истории, как преемственного движения, поскольку никогда не имел полнокровного исторического «бытия». Ему всякие исторические формы чужды, он изначально не вписан в историю, не приучен (не приручен) к истории, не воспитан историей. Он антиисторичен. И потому он свободен абсолютно, то есть, безумно, деструктивно. Русские потому так и тоскуют по тиранам и палачам, что тираны и палачи есть для них единственное средство вменения необходимости, её осознания, единственная надежда обуздать собственный нигилизм и умерить собственную апокалиптику. Русский человек свободен разрушительно с любых рациональных и культурных точек зрения, ибо индивидуально бесформен, не знает и не признаёт своих пределов, не склонен трудиться над приданием формы бесформенному существованию и окружающему его миру. Он трудится из-под палки и злобно, самоубийственно пьёт, мстя всему тому, с чем не имеет ни сил, ни терпения, ни осознанной необходимости справиться.

Но на вершинах самосознания — вершинах редчайших и стдющихся бесконечно дорого — русский человек, одиночка и асоциал, имеет перед западным преимущество беспредельной свободы и открытости, нелимитированности. У русского апокалиптика есть мечта о свободе абсолютной, т.е. невозможной, и из этой мечты он, русский, обретает реально неслыханную открытость, поистине всемирную отзывчивость.

Умереть на баррикадах за справедливость?

В 1848 году?

На чьих баррикадах?

За какую справедливость?

Умереть абсолютно всечеловечно, совершенно безнационально: «Поляка убили!»<sup>1</sup>.

Так способен умереть русский человек-апокалиптик, умереть антиисторически даже с точки зрения собственного этноса, которым в 1848 правит какой-нибудь «...плешивый

*щёголь, враг труда, нечаянно пригретый славой...»* — не один, так другой, т. е. умереть не только антиисторически, но и антиэтнически.

*«Только русский человек мог открыть этот Запад, который сгущеннее, конкретнее самого исторического Запада. Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную почву традиции, с которой он не был связан преемственностью. Туда, где все — необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею возвращенный. Эта свобода стоит величия, застывшего в архитектурных формах, она равноценна всему, что создал Запад в области материальной культуры, и я вижу, как папа, «этот старец, несомый в своем паланкине под балдахинном, в своей тройной короне», приподнялся, чтобы приветствовать ее» (О. М.).*

Орлиное зрение не обмануло великого Осипа!

Только колоссальная дерзость внутренней свободы антиисторического русского человека и могла с восторгом и вдохновением, с могучим, поистине космическим аппетитом, проглотить устоявшийся и давно осевший в собственную устроенную размеренность Запад, увидеть его с новой алчностью, как поле чудес несказанных, как край «святых камней», принять, как святыню, то, что для самого Запада давно уже не свято. Вот мысли одного из воспитателей и отравителей русского самосознания, Фёдора Достоевского, вложенные в уста Версилова: *«Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же точно была Отчеством нашим, как и Россия... О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!».*

Да! Чем им самим.

Потому что они рождаются среди чудес.

Потому что они думают, что весь мир подчиняется чистоте выверенных пропорций и строгости ордерных форм. (Ведь Рим был везде!)

Они не видят чудес в чудесах.

Они не знают пустынь русского мира.

Им в их маленькой под горлышко застроенной и аккуратно разграниченной Европе не придёт в голову, что «Последний кабак у заставы» может смотреть в заснеженное никуда. Причём не только во времена сердобольного Василия Перова.

А вот слова Ивана Карамазова: *«Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище... вот что!.. Дорогие там лежат покойники, каждый камень под ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни, и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище, и никак не более».*

Правда? Кладбище?

Эх, Вань!.. не путать бы тебе кроликов с зайцами, а кладбище с музеем. Да что ж с них, с Карамазовых-то, спросишь — «живые растения»!

Нет, не кладбище... нет, Иван! Пантеон! Великий пантеон великой истории, гипнотирующий древностью, радиоактивной красотой, первой мыслью и первой поэзией христианского человечества... его бесконечный эстетический барометр. И только мы, русские (из России ж выходцы все — русские, особенно евреи!.. а может, и не только русские, а любые ментально дикие, антиисторические люди), — мы, сплю-

щенные давлением лютой азиатчины, разорванные историческим вакуумом, в котором родились — ибо родились мы не в истории, и даже не на задворках её, а вне истории... в антиисторическом космосе (-273° С — такова примерно температура русского внеисторического контекста), только мы, верней, только редкие из нас, смогли прожевать, переварить, усвоить давно омертвевший Запад гигантским голодом беспредельной и беспредельно неутолённой нашей свободы, всеприемлющей, не стесняющейся никакого эклектизма, наоборот, оживляющей, дающей давлению динозавровых челюстей русского духа остаточный западный сок иссохшего в исторической нормативности, когда-то великого и величайшего мира. Объявленный Освальдом Шпенглером «Закат Европы» был закатом для Европы, но не для страшной свободы русского духовного радикализма.

Россия не Европа.

Войдя в Рим... в Европу эпохи заката, русские ещё раз оживили омертвевшее, поклонились и возмутились. Поклонились ожившему для них собору сотворённой истории, в которой они не участвовали, и возмутились тем, что все творческие силы, весь религиозно-этический и эстетический пафос, всё духовное величие исторического мира оказалось недостаточным для Преображения.

Христос распят, а мир остался прежним.

Чтобы сделать этот вывод, русские радикалы-апокалиптики заново оживили и пережили всё то, что для людей истории давно уже — культурно-историческая рутина.

Не подлежащая дискуссиям, священная, но... рутина.

Русские радикалы-апокалиптики на заре прошлого века ждали начала новой истории мира, да и до них уже ползали по Московии бредовые идеи о России — третьем Риме, о России — Новом Израиле. Их было немного, русских радикалов-апокалиптиков, но они всё же успели сотворить самую глубокую и самую провокативную литературу, дерзая, как Толстой, клеймить ложное величие истории и огулом отрицать смысл любых исторических форм, призывая к простой бесструктурной жизни «одним миром»; они умудрились на фундаменте одной главы одного романа («Легенда о великом Инквизиторе») выстроить самую современную религиозную философию, которая не привилась и не могла привиться ни в России, ни на Западе. В России, — потому что одно безвременье сменилось другим, ещё более тёмным, где слабые исторические ростки умерли на корню, а новая история так и не началась. На Западе, — потому что он уже давно и точно знает, что конца истории не будет, что мир бесконечно конвульсирует и уродуется, но за экстремумами всякого модернизма следует всего лишь ещё более убогий постмодерн.

Русская свобода духа, одним из предельных выразителей которой на заре XIX века был Петр Чаадаев, эта невиданная и недопустимая свобода, способная отринуть Родину во имя Истины, вспыхивала потом в гениальном «Сне смешного человека», разоблачающем, как минимум, всё человечество, страстно избравшее грех перед лицом спасителя, а поздней — в возмущении молодого Николая Бердяева ненужностью шедевров итальянского Ренессанса, раз мир всё равно оказался бессилён преобразиться.

Ну а чего стоит хотя бы вот это, а ведь это уже русский XX век, Андрей Платонов: *«Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, пожимая, но ничего не говоря.»*



*Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически, — наблюдал родителей Вощев, — сущности они не чувствуют».*

*— Отчего вы не чувствуете сущности? — спросил Вощев, обратясь в окно. — У вас ребенок живет, а вы ругаетесь — он же весь свет родился окончить.*

*Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.*

*— Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка — вам лучше будет».*

*«Отчего вы не чувствуете сущности?» — вот такой апокалиптический бред.*

А всё она, — чудовищная, совершенно антиисторическая, ни с чем формально- фактическим не соотнобразующаяся, космическая (-273<sup>0</sup> С), но и с космосом, в котором ведь тоже всё невозможно, не соотнобразующаяся нравственная свобода русского человека- апокалиптика.

Платонов умел трансцендентную жуть вопроса облечь в... в... не знаю как сказать, «stupefying» оглуляюще, нет, тоже не выражает!.. именно «stupefying» комическую форму официального запроса или заявления. В дегенеративном от безграмотности совдеп- канцеляризме духовидец- апокалиптик, антиисторический человек, Андрей Платонов, расслышал святую простоту блаженных... или недорослей... или просто убогих... — одним словом, святых. Кого, скажите, тронет, кому может быть внятно сегодня, вчера или позавчера (я уж молчу о послезавтра!) это новое Благовещение: «У вас ребенок живет, а вы ругаетесь — он же весь свет родился окончить»? Только безумию, не потерявшему Бога, только беспредельной нравственной свободе, которой и мир не указ, может ещё быть внятн этот клинический, этот гениальный духовный бред. Бред русского апокалиптического духа есть бред русской свободы, и этот бред ничего не меняет в порядке исторического мира. Но он открывает неведомые ёмкости индивидуальной души, а, значит, углубляет и душу мира. А ещё он — этот бред русской свободы — обрекает Россию на бессрочную гибель, лишает самой возможности обрести нормальную человеческую жизнь, ибо жизнь нормальная человек разумных есть жизнь историческая, жизнь смиренная и смирившаяся с осознанными необходимостями. «Конечно», Вощев скоро вернётся к дому дорожного надзирателя, и «конечно» расскажет осмысленному ребенку тайну жизни, какие ж могут быть сомнения? Разве может не знать эту тайну русский человек- апокалиптик, странник на дороге? А даже если и не знает, то точно знает, что тайна жизни есть. Это знает любой крепко выпивший в стране огненной воды. На апокалиптической высоте цену тайне жизни знал Чаадаев, поэтому его апология Истины была бескомпромиссна.

*«Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не через родину, а через истину ведёт путь на небо».*

Так писал Петр Чаадаев.

И это всё тот же гениальный духовный бред, что завораживает нас в платоновском «Котловане». И то и другое категорически неудобочитаемо и неудобоприемлемо ни в какие времена! Ни в те, когда писалось, ни в те, что читается теперь нами. Потому что и в те времена и в эти оно внемлется умами историческими, а ногами уходит в доисторическое, головою же выпинается в постисторическое. Продукт русской нравственной свободы, великой русской апокалиптики, предельно духовен и предельно вне-и-анти-историчен. Он не имеет никакого отношения ни к жизни земной, ни к какому бы то ни было в ней устроению.

Не стоит думать, что Россия состоит из таких абсолютно свободных людей, как Петр Чаадаев.

О, отнюдь!

Их единицы, и они делаются скрыто ненавистны своей Родине в тех редких случаях, когда она вообще способна их понять. *«Лучше всего характеризовать мысль Чаадаева, как национально-синтетическую. Синтетическая народность не склоняет головы перед фактом национального самосознания, а возносится над ним в суверенной личности, самобытной, а потому национальной»* (О. М.).

Поди пойми, что хотел сказать этим русский поэт и лукавец, Осип Манделштам!

Но одно... чтоб там ни было, — именно за отказ склонить голову перед фактом отсутствующего национального самосознания Чаадаев должен был расплатиться «Апологией сумасшедшего». Неслыханная нравственная свобода — эта снеговая вершина, на которую взошёл ум одинокого Чаадаева — явление по глубинной сути русское, но залегающее гораздо глубже фактов и гораздо выше национального самосознания — обеспечила Чаадаеву не только при жизни, но и после смерти невиданное одиночество и скрытое (а то и явное) недоброжелательство. Россия и русские, начиная от квадратноголовых царей и кончая яйцеголовыми профессиональными патриотами, не желают слышать о России и о себе то, что сказал о ней и о них Петр Чаадаев.

Россия и Фридриха Горенштейна не желает слышать.

Только его не желают слушать каких-то лет тридцать, а Чаадаева — уже два века.

За своих гениев Россия платит страшную, непомерную цену! За высочайший проникнутый апокалиптикой аполлонизм<sup>2</sup> Чайковского, Рахманинова, молодого Скрябина, за сингулярность таких редчайших светоносных аполлонических личностей, как Чаадаев, Платонов, Бердяев, Манделштам, Горенштейн — Россия платит кошмаром тотального дионисийского нигилизма, завистливого, ничего не прощающего и склонного сравнять с землей всё, что над ней возвышается. Искушаемая тёмным буйством, бессмысленным и беспощадным, Россия и теперь остаётся там, где увидел её 200 лет назад Александр Сергеевич Пушкин: в диком барстве и тощем рабстве.

Не видя слез, не внемля стона,  
На пагубу людей избранное Судьбой,  
Здесь Барство дикое, без чувства, без Закона  
Присвоило себе насильственной лозой  
И труд, и собственность, и время земледельца.  
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,  
Здесь Рабство тощее влачится по браздам  
Неумолимого Владельца.  
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,  
Надежд и склонностей в душе питать не смея...

И надежды есть и склонности имеются, но как питать их, чем их питать на русской почве? Здесь *«тягостный ярём до гроба все влекут...»*

Пагубно пьянство России — это универсальное лекарство и нигилизма и апокалиптики от истории и необходимости в ней жить и действовать, от обязанности держать себя во внятных разумных формах, предписываемых историей. Русское пьянство в подоплёке совершенно атеистично. Оно есть отказ принять тяготу, понести крест. Здесь безнадежно лопается презерватив богоносности, который так старался натянуть Фёдор Михайлович Достоевский на гигантский вечно эрегированный и совершенно языческий фаллос русского дионисизма.

Ещё раз: *«Только русский человек мог открыть этот Запад, который сгущеннее, конкретнее самого исторического Запада...»* (О. М.).

Да, это мы, русские XXI века, всё ещё открываем Запад и задыхаемся в его неимоверной гуманистической и эстетической густоте, мы, дикие... из русской дикости вырвавшиеся, мы бесчеловечные, от бесчеловечия русской антиистории уцелевшие, мы дионисисты, — мы входим, нет... врываемся в совершившуюся историю Запада, *«как маленькие черти в святилище, где сон и фимиам»*, чтобы пережить... нет, чтобы многократно, всю оставшуюся жизнь переживать это святилище, как величайшую сокровищницу лишь слабо ведомых нам культур, диковинной цивилизации и совершенно неведомого нам человеколюбия. Вот эта способность переживать *«сон и фимиам»* как открытие нового мира, вот это и есть дар русским от беспредельной нравственной свободы. И, воистину!.. — это свобода отринуть Россию, равно как и свобода воротиться в Россию. Равносвобода дерзновения. *«Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную почву традиции, с которой он не был связан преемственностью»* (О. М.).

Русский человек.

Человек из России.

Отравленный Россией.

Раздавленный Россией.

Заряженный Россией.

По слову Мандельштама: *«... страна и народ уже оправдали себя, если они создали хоть одного совершенно свободного человека, который пожелал и сумел воспользоваться своей свободой»* (О. М.). Свобода диагностики России, предпринятой Чаадаевым, беспрецедентна и почти невысказана для западного исторического человека (кажется только Гёте и Хёльдерлин ещё говорили столь ужасные вещи о немцах, как Чаадаев о русских), который совершенно рационалистически и наизусть знает свою правоту и пленён ею, скован собственным рационализмом, собственной *forza della ragione*, является заложником своей правильности на очевидно разумном своём месте в разумно вращающейся истории. Грустный «суд» Чаадаева над Россией стал ненавистен русским, но непреложен остаётся факт, что такой «суд» мог совершиться только из русской нравственной свободы<sup>3</sup>. Пусть даже и свободы только одного *«совершенно свободного человека, который пожелал и сумел воспользоваться своей свободой»*.

\* \* \*

Особого внимания заслуживает последний пассаж небольшого по размерам мандельштамова шедевра.

Привожу дословно: *«Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Петра, отправил за границу русских молодых людей, ни один из них не вернулся. Они не вернулись по той простой причине, что нет пути обратно от бытия к небытию, что в душной Москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима. Но ведь и первые голуби не вернулись обратно в ковчег. Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно, побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева. На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данта: «Этот был там, он видел — и вернулся». А сколько из нас духовно эмигрировали на Запад! Сколько среди нас — живущих в бессознательном раздвоении, чье тело здесь, а душа осталась там! Чаадаев знаменует собой новое, углубленное понимание народности, как высшего расцвета личности, и — России, как источника абсолютной нравственной свободы. Наделив нас внутренней свободой, Россия предоставляет нам выбор, и те, кто сделал этот выбор, — настоящие русские люди, куда бы они ни примкнули. Но горе тем, кто, покружив около родного гнезда, малодушно возвращается обратно!» (О. М.).*

Тут либо волшебным и лукавым, либо вздорно-поэтически перепутано мудрое с наивным. Разве ж первые голуби (первый вообще был ворон!) не вернулись обратно в ковчег Ноя? Да нет, как раз первые и вторые вернулись, и третий вернулся голубок с масличным листом в клюве, а вот не вернулся последний... По этому невозвращенцу и понял Ной, что обнажилась и найдена, наконец, земля обетования новой жизни, что воды «гнева Божия» опали, вернув почву ногам и лапам твари земной.

И вспомнив это, иначе, чем Мандельштаму, видится возвращение на родину Петра Чаадаева.

Правда твоя, Осип, что *«нет пути обратно от бытия к небытию»*.

Правда твоя, Осип, что *«в душной Москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима»*.

И снова правда твоя: *«А сколько из нас духовно эмигрировали на Запад! Сколько среди нас — живущих в бессознательном раздвоении, чье тело здесь, а душа осталась там!»*.

Так отчего ж Пётр Чаадаев из бытия в небытие вернулся всё-таки?

Пошто предпочёл московскую задуху бессмертной весне неумирающего Рима?

И на что вернулся?

Чтоб быть ему тут же арестовану в подозренье?

Чтоб быть ему объявлену сумасшедшим, да не просто, а получивши от полицейской держиморды диагноз: *«сумасшедший по распоряжению правительства»*?

Чтоб быть посажену в унижительный лекарский надзор?

Чтобы, посыпав голову пеплом *«Апологии сумасшедшего»*, слабодушно пересматривать точку зрения — а *«может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли?..»*. И после всех покаяний всё-таки играть с мыслью о самоубийстве, видя, до какой степени всё тщетно в этой стране?

Для этого вернулся?

А не граница ли то была?

Не предел ли той самой беспредельной нравственной свободы, с которой Чаадаев, по мнению Мандельштама, вошёл на Запад и которая вела его в его вещих (и как чудовищно сбывшихся!) пророчествах о России? А может, просто старые добрые близнецы Ксенос (ξένος — чужой) и Фобос (φόβος — страх), сыграли свою стандартную злую шутку с дерзким мыслителем-радикалом, внеисторическим русским человеком-апокалиптиком, бесстрашно вошедшим в мир истории, в царство традиции, в край «святых камней», чтобы...

Чтобы что?..

Чтобы увидеть бытие и вернуться в небытие?

Или чтобы увидеть, что и среди «святых камней» совершившейся истории тоже нет истинного бытия, что и тысячелетний папа в паланкине тоже лишь ветхий муляж исторической древности?

Допустим!

Однако ж какие очарования, ну... или утешения, сулило Чаадаеву возвращение к родному пепелищу? Знакомый с детства покров космической пыли и пепла, лежащий на этой стране? Привычная тьма и запах сырости родного подземелья? Удовлетворение трепетом современников: «Смотрите, он был там, где жизнь, и вернулся сюда, где её нет...»?

И вот теперь я спрашиваю тебя, Осип, хотя какие уж вопросы тут... одна риторика: кто они, сделавшие выбор *«настоящие русские люди, куда бы они ни примкнули»*?

И кому же горе?

И что такое родное гнездо?

И в чём нравственная свобода?

Ответы твои неявны, но более чем вняты, и, желал ты того или нет, они образуют головокружительный нравственный-наоборот-безнравственности всякого национализма, аморализму всякого морально декретированного патриотизма.

*Ответ 1:* Абсолютная нравственная свобода, та свобода выбора, которую предоставляет Россия, не предполагает аргументов вроде: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам!», как не предполагает она и аргументации в пользу сравнительных преимуществ зрелого исторического бытия.

*Ответ 2:* Сделавши выбор, признай избранное гнездо родным, признай... куда бы ты ни примкнул!

*Ответ 3:* Горе тебе, если избрав душой приют по зову внутренней свободы, ты смог лишь покружить над ним и малодушно вернуться обратно, сдавшись на какую угодно милость — родного ли внеисторического пепелища России, или прельщений состоявшейся западной истории.

Б. Левит-Броун,  
Верона, июнь 2011

<sup>1</sup> В знойный полдень 26 июня 1848 года, в Париже, когда уже восстание «национальных мастерских» было почти подавлено, в одном из тесных переулков предместья Св. Антония батальон линейного войска брал баррикаду. Несколько пушечных выстрелов уже разбили ее; ее защитники, оставшиеся в живых, ее покидали и только думали о собственном спасении, как вдруг на самой ее вершине, на продавленном кузове поваленного омнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке, подпоясанном красным шарфом, и соломенной шляпе на седых, растрепанных волосах. В одной руке он держал красное знамя, в другой — кривую и тупую саблю и кричал что-то напряженным, тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая и знаменем и саблей. Венсенский стрелок прицелился в него — выстрелил... Высокий человек выронил знамя — и, как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился... Пуля прошла ему сквозь самое сердце.

— *Tiens!*— сказал один из убежавших *insurges* другому, — *on vient de tuer le Polonais* {Смотри-ка!.. поляка убили. *Insurge* — повстанец (франц.)}.

— *Bigre!* {Черт возьми! (франц.)} — ответил тот, и оба бросились в подвал дома, у которого все ставни были закрыты и стены пестрели следами пуль и ядер.

Этот «*Polonais*» был — Дмитрий Рудин.

<sup>2</sup> Русская музыка XIX — начала XX века — это апокалиптика, парадоксально выразившаяся в формах высокого аполлонизма. Мы говорим «парадоксально», потому что крайностям, — а апокалиптика есть крайнее верхнее состояние нравственного сознания, — свойственны скорее формы дионисийские, чем аполлонические, и действительно, в музыке зрелого Скрябина аполлоническое уже претерпело слом и открылась дионисийская бездна. Но музыка Чайковского, например, есть раскрывшиеся в звуках аполлонические картины поистине райского блаженства, временами почти уже достигнутого и, о ужас... недостижимого Царства Божия. Тоска Чайковского, о которой фон Мэкк говорила, что от неё хочется умереть, но и нет сил от неё оторваться, потому что в ней ты ощущаешь свои высшие способности — это тоска апокалиптика, романтика апокалиптических температур.

Мучительная и несравненная по даруемым душе наслаждениям ностальгия Рахманинова не была ностальгией эмигранта. К тому времени, как в конце 1917-го Рахманинов навсегда уехал из России, он уже написал все самые свои пронзительные ностальгические мотивы. Нет, ностальгия русского романтизма — это настоящая могучая русская апокалиптика, ностальгия по миру иному, всем духом и душой востребование его немедленно и, либо черное отчаяние (Чайковский: Манфред последней проведение главной темы первой части, Патетическая симфония — финал IV части), либо страстная, похожая на просветление крылатая тоска (тот же Чайковский первая побочная тема второй части 5-ой симфонии в полной разработке, побочная тема 4-ой части Патетической симфонии; Рахманинов — прелюдии, этюды-картины, 2-ой и 3-ий фортепьянные концерты, адажио из 2-ой симфонии) от невыполнимости этого духовного требования. И хотя всякому романтизму свойственно яростное или горестное отторжение мира, никто из мировых романтиков не заходил так далеко в категоричности апокалиптического требования, как русские.

<sup>3</sup> В порядке внутренней равновесности концепции мы должны допустить, что, хоть и с очень малой долей вероятности, возможен и инверсивный вариант. То есть, и исторический человек, человек Запада, способен, если на то есть воля его духовной свободы, выйти из своего внятного и устоявшегося исторического бытия, чтобы войти в антиисторизм русского мира и вдохнуть ледяной воздух жидкого русского междубытия, неструктурированного, иррационального: уже не азиатского, ещё не европейского — до сих пор ни западного ни восточного — в опровержение хрустальной мечты наивных русских евразийцев. И мы должны допустить, что по воле внутренней свободы человек исторический способен в русском антиисторизме отыскать своё истинное прибежище, презрев закон родного пепелища и диктат отеческих гробов.

## СЛУШАЙТЕ СЮДА!

**И**горь, филолог по образованию, вот уже 17 лет в собственном бизнесе — проводит экскурсии по Америке для русскоязычных туристов.

В первые годы после приезда он, поселившись в небольшом городке штата Колорадо, сменил множество профессий, не оставляя и свою любимую журналистику. Колесил по штатам, выискивал для статей редкие стертые временем факты, часами просиживал в библиотеках, сопоставлял, выстраивал, литературно оформлял, дорисовывал возможные детали. Иногда для заработка, но больше для собственного удовольствия, на приобретенном по случаю микроавтобусе возил небольшие группы в экскурсии по городу и просто на пикники, развлекая народ забавными историями. Однажды взял с собой жену. Она и подтолкнула:

— Почему бы нам не начать собственное дело? У тебя хорошо получается. Разработаем, например, пару легких маршрутов для пожилых, бросим рекламу в Интернет, снизим, как только возможно, цены на путевки. Люди потянутся. Сколько их, выброшенных из жизни, часто совсем одиноких, сидит по домам, с грустью считая однообразные бесцветные дни.

В первый сезон прогорели, хотели даже от этой затеи отказаться, но к весне снова зашевелились. И пошло.

Теперь уже десять наезженных маршрутов. Записываются загодя, за год вперед. На некоторые маршруты — лист ожидания. Приходится повторять их дважды, а то и трижды в сезон.

Семь месяцев в году он на колесах. Между поездками — два-три дня перерыва. К концу сезона иногда устает, как актер, играющий заезженную роль. Меньше импровизирует, чаще повторяется. Случается иногда отвлечется, потеряет нить, как альпинист на высоте страховочный канат, забудет, что за ним в связке поднимаются другие. Может, пора подумать об отдыхе?

Нынешняя поездка из популярных — третий раз в сезоне. Колорадо-Юта-Вайоминг. Хорошо, что в группе несколько уже знакомых по прежним маршрутам, всецело ему доверяющих, не колеблясь вручивших ему свои судьбы. Но есть неконтактные, сторонятся других. Это беспокоит. Надо, наверное, уделить им больше внимания.

В первые три дня Игорь не меняет гостиницу, чтобы помочь всем легче воспринять заданный ритм. Осмотрели Денвер, парк и амфитеатр на тысячу мест «Красные скалы», где проводятся концерты известных музыкантов уже более ста лет, поднялись на самый высокий перевал континента Фолл Ривер. Еще были «Сад богов» с красными великанами —

одна из причуд природы, Военно-Воздушная академия, где к огромному плацу, на котором новички проходят муштру, примыкает космических размеров строение из стекла и бетона, которое вмещает, помимо основного внушительного зала для воскресных проповедей, несколько секций с аксессуарами для удовлетворения духовных нужд курсантов, будь ты христианин, мусульманин, иудей или даже буддист.

Когда поднимались по уникальной, самой высокой в мире железной дороге на вершину горы Пайка, волновался, как его команда перенесет кислородное голодание. Инструктировал, как себя вести: передвигаться очень медленно, делать по несколько глотков воды, глубоко дышать. Больше часа, повизгивая на поворотах, поезд устало тащился между серых, мокрых от дождя раздробленных камней, часто останавливаясь, где худенькие девочки в капюшонах переводили стрелки. С погодой не повезло. Наверху тоже мелко дождило, и горы прятались в облаках. Немногие экскурсанты отважились, шлепая по лужам, добраться до края обрыва снимать вспышки молний, кромсающих черную как подгоревший пирог тучу, висящую над расположенным глубоко внизу озером, краешек которого тускло блестел осколком битого стекла. В тесном вокзальчике в ожидании обратного отправления пили кофе из бумажных стаканчиков, покупали китайские сувениры, открытки.

Побледневший Вовчик, так по-дружески называет его Семен, спрятался в самом углу. К нему подседа пышнотелая красавица Роза.

— Ты живой?

— Как мамонт. Скажи, и шо я тут потерял? Черт меня дернул переться сюда второй раз. Держите меня за дурака. Если откинусь, напишите: «Тут лежит Вовчик, бывший одессит и дважды дурак».

— Я тебе удивляюсь, — парировала Роза. — Игорь предлагал: кто не хочет рисковать, может подождать внизу... Но посмотри. Все старперы здесь!

Игорь ходил по залу, раздавал из походной сумки бутылки с водой. Подошел к ним.

— Вы как тут?

Вовчик виновато улыбнулся.

— Порядок, Игорек, не волнуйся. Я уже принял. Сейчас отпустит, и можно приглашать корреспондентов... Наша Роза вот интересуется, сколько раз ты побывал здесь.

— Я? Может, тридцать. Не считал.

— Не надоело?

— Ну... Каждый раз рискуешь, не знаешь, как все пройдет. Можно было бы заменить чем-то другим, но это интересно. Нигде в мире нет ничего подобного... Высота больше четырнадцати тысяч футов над уровнем моря. Для вас, понимаю, это испытание, хорошая встряска, но, надеюсь, все обойдется. Потом будете чувствовать себя героями. — Достал из сумки и протянул им по бутылке с водой.

Симпатичный мужик. Что-то такое в нем есть, подумала Роза. Наверное, тяжело ему без бабы. В группе все больше пары или дамы преклонного возраста. Бросила на него любопытный взгляд, но тут же притушила.

— Пойду, поищу Семена. Скоро ехать.

Через десять минут поезд медленно пополз вниз, останавливаясь, пропуская встречный, постукивая как слепой. Семен грыз уже третье яблоко, поминутно вскакивая, наступая ей на ноги, совал аппарат в приоткрытое окно. Теплая вечерняя влага наполняла вагон, снимала напряжение.

Роза прикрыла глаза. Игорь. Бывают же такие мужчины! Уравновешенный, спокойный,



заботливый... Уже в возрасте, а мотается по этим горам, как молодой! Наверное, зарабатывает неплохо. Не то, что мой придурок.

У Игоря это любимый маршрут. Серьезных сбоев пока нет. Правда, в первый день что-то не заладилось с автобусным компьютером. Пока меняли, потеряли полтора часа. Но, если верить приметам, это хорошее начало. Как всегда, несколько новеньких (а большинство с ним уже не в первый раз) немного роптали, привыкая к его особой манере с первых минут общения, без всякой подготовки, окунать, погружать их в самую глубину происходящих здесь когда-то событий с массой, казалось бы, второстепенных подробностей и деталей, по его мнению, очень важных, придающих этим событиям ощутимую реальность, помогающим как бы стать их реальными свидетелями.

— Н-н-у... Ок, — включил он свой микрофон ровно в восемь утра, когда еще полусонные с возмущенно бурлящими от наспех и без разбора перегруженными животами туристы усаживались по местам. — Мы покидаем Денвер, и дальше по маршруту у нас каждый день новые гостиницы. Ничего не забыли в номерах? Проверяйте, пока еще стоим. Чемоданы... Я не шучу. Бывали и такие... Зарядные устройства. Зубы... Сегодня мы прогуляемся по золотой столице Америки Централ Сити, посетим Вэйл — один из лучших горнолыжных курортов мира, окунемся в чистые воды реки Колорадо, где в следующий ваш приезд для более близкого знакомства советую совершить прогулку на катере, либо, кто посмелее, на каное или каяках. Если получится без опозданий — полтора часа купания в термальных водах Гленвуд Спрингс.

Автобус тронулся, и он с деликатной мягкостью предложил всем желающим поработать вместе с ним, попробовать шаг за шагом восстановить, оживить давно прошедшие события.

— Ок... Продолжим... Будьте внимательны. Именно в этом месте, где мы сейчас проезжаем, наш герой, о котором вчера немного поговорили, в поисках золотоносной жилы уходит на запад, вверх по ручью. Один. Морозы здесь в феврале под сорок. Каждая проверка занимает три-четыре дня. На выбранном наугад участке берега надо расчистить снег, два дня поддерживать большой костер, чтобы немного оттаяла земля, и только после этого можно работать киркой и лопатой. Первая, вторая... десятая промывка — порода почти пустая. Обморозил ноги. Еды осталось на два дня. Разумно было бы вернуться, подождать до весны, но в нем желание везде быть первым побеждает. И...

Он прерывается на полуслове, будто хочет сквозь густой туман времени лучше рассмотреть, что же там происходит.

Вовчик по этому маршруту уже побывал. Удобно расположился на заднем сидении. Хоть и жарковато немного, но он один, никому не мешает. Можно расправить больную ногу. Кажется, он это уже слышал, можно немного подремать. Но вот будто что-то новое и вроде не к месту. Прислушался.

— В любом случае... В любом случае... А-м-м...

И снова затянувшаяся пауза. Не симптом ли? Подумал. Раньше за ним такого не замечал. Вспомнил, как старший брат незадолго до конца начал сбиваться с ритма при ходьбе. Приостановится и вдруг, с подскоком, меняет ногу, словно пристраивается, приноравливается к кому-то идущему рядом. Оказалось самое худшее. Опухоль мозга.

С Вовчиком еще такого не случалось, хоть и ему есть чем похвалиться, поразить воображение новых попутчиков, представляясь таким героем, награжденным за трудовые подвиги шестью шунтами, тремя байпасами и кардиостимулятором.

То-то, подумал, Игорь перестал сам водить автобус. Может неспроста?

Через час, чтоб у туристов не возникло проблем, — техническая остановка на «помыть руки». Попросил не покупать сувениры — впереди будет еще много и дешевле.

Кто-то, конечно, опаздывает. За кем-то пришлось пойти самому. Игорь уговаривает:

— Программа сегодня насыщенная. Если на каждой остановке будем терять по полчаса, в гостиницу приедем к полуночи. Выспаться не успеете. Завтрашний день будем считать потерянным. Просьба придерживаться назначенного времени. Сократить остановки на «помыть руки» не могу, как сами понимаете, уже не мальчики. Мужчины должны себя беречь. О женщинах не говорю...

— Але! Але! — врзается чей-то раздраженный голос. — Але! Что ты не отвечаешь?! Мама ела?! Представляешь, здесь еще что-то роют. Твой уже второй год без дела. Мог бы приехать, поискать... Я спрашиваю: мама ела?!

Игорь улыбается. Кто-то из новеньких. Нехорошо, конечно, перебивать его на полуслове: пятьдесят пять человек в автобусе, если каждый возьмет себе это в привычку... Но зато, по всему видно, его внимательно слушают...

Через час снова остановка. Игорь доволен:

— Полчаса опоздания у нас остается, но это допустимое отклонение. Где-то подождем. Что-то урежем... Начинаем понимать друг друга.

Вовчик принял очередную порцию таблеток, измерил давление, проверил пульс. Почти в норме. Повеселел.

— Сема! — позвал, но так, чтоб слышали другие. — Куда мы два часа опаздываем на полчаса?

— В долину гейзеров.

— А шо, таки могут перекрыть?

Прошелестели смехом, но тут же и притихли, забеспокоились:

— Вы что-то путаете. Давайте уточним, какой сегодня день.

— Седьмой.

— Четвертый, как выехали.

— Таки да.

— У меня в плане про гейзеры аж в седьмом. Мы еще в Колорадо.

— Я дико извиняюсь. Зачем так путать?

Выходя из автобуса, Роза увидела на сидении Игоря раскрытую книгу. Поинтересовалась:

— Что читаете?

— Демидов. Лагерные истории, 37-ой год. Это не для поездки. Заставляет сопереживать. Бывает тяжело, даже страшно.

— Могу дать вам Донцову.

— Спасибо, но... как вам сказать... — Посмотрел на нее с интересом. — Спасибо... да... можем обменяться. — Вышел из автобуса, подал ей руку.

Ей бы задержаться в этот момент, продолжить начатый разговор, сказать ему что-то приятное. Ведь не какая-нибудь простушка, не ровня другим. И внешность, и фигура. Но как-то не нашлось ничего подходящего.

Вот уже и парк Арок, и Солт Лейк Сити с огромным медным карьером, и ковбойский Джексон позади, а Игорь будто не замечает ее, все так же ровен со всеми, хоть она и старается все время быть к нему поближе.

Автобус, пройдя высокий перевал, стал осторожно скатываться вниз. Глубокое ущелье

украшало причудливое нагромождение веками отполированных до блеска огромных глыб, местами угрожающе нависающих над крученой дорогой, врезавшейся в почти отвесные склоны. Земля словно выворачивалась своим исподним, приобретенным сотни миллионов лет назад. На крутых поворотах боялись глянуть вниз, невольно, до судорог, сжимали подлокотники, поглубже втискивались в сидения. Не рухнул бы тебе на голову какой-нибудь из этих притаившихся монстров. Расплющит как соринку, сбросит в пропасть.

Наконец, уже почти внизу. Все чаще дорогу закрывает плотным туманом. Это, как можно себе представить, в адских подземельях идет постоянная работа, выбрасывая на поверхность ядовитые пары. Вокруг дыр в земле — белые скелеты безлистных деревьев и кустов. Немного жутковато, выглядит как будто после катастрофы на картине современного художника.

Игорь подогревает:

— Все это, где мы сейчас проезжаем и совсем скоро будем гулять, тончайшая по геологическим меркам крышка самого большого в мире супервулкана. Всего три километра отделяет нас от напирających на нее с неимоверной силой волн мало доступного для изучения внутриземного океана. Взрыв такого вулкана может стать концом цивилизации.

Народ зашевелился:

— Как вам это нравится?

— Приехали!

— Я шо-то не понял. А если...

— Не волнуйтесь. Матушка земля живет неторопливо, не по нашим с вами, по космическим законам. Для нее целая человеческая жизнь как капля дождя или искра от костра. Уверяю вас, мы все успеем и, надеюсь, еще десяток поколений после нас сможет любоваться этой красотой. А пока... Ну и ладно... Ок. Мы уже на месте. Сейчас поторопитесь. Вон справа все стоят в ожидании. Примерно через десять минут большой гейзер заговорит. Дальше по деревянному настилу спускайтесь вниз. Только просьба: ни шагу в сторону. За этим тут следят, да и опасно.

Ровно через десять минут к всеобщему восторгу из дырки в земле повалил пар, мощная струя, быстро набирая силу, поднялась высоко вверх, но тут же стала терять силу, сникать, лениво уходя под землю. Какое-то время еще похлупывала, словно брюзжала: «Все ходите, заглядываете. Нет от вас покоя». Кто-то в толпе объявил:

— Следующий сеанс через час.

Внизу Игорь поджидал отстающих. Подтягивались не спеша. Вовчик, хромая, подошел последним.

— И шо это там... шо за геморрой?

Семен популярно объяснил:

— Ты, видно, спал на уроке. Тут под нами такая колбочка с кручеными трубочками. Вроде самогонного аппарата. Снизу подогревает. Сверху блюет.

Вовчик постучал палкой по деревянному настилу. Из высокого шишкообразного нароста с широким жерлом плеснуло кипятком.

— Смотри, работает!

Туристы сгрудились, стали прижимать к поручням передних. Всем хотелось запечатлеть, не пропустить новый внезапный всплеск.

Вовчик отошел в сторону, подальше от шумящей возбужденной толпы.

— Сема, — позвал. — Скажи, чтоб не отпускали больше двух в одни руки. А то ж не хватит!

Семен подхватил шутку — знакомую с детства и почти забытую реакцию голодного одесского люда у магазинных прилавков. Стал проталкиваться в середину:

— Пропустите! Пропустите женщину с ребенком!

Игорь поднял руку.

— Не торопитесь. У всех будет время. Это не гейзер. «Чайник». Закипает каждые несколько минут.

Стал поодаль, чтобы не быть помехой стекающей в долину разноликой, многоязычной толпе. Не позволяя себе расслабиться, пристально следил за каждым из своих. Посмотреть на него со стороны — прямо деревенский пастух. Коренастый, в потертых джинсах, в выгоревшей узкополой шляпе на крепко посаженной голове.

За годы путешествий, как редко кто из коренных американцев, изучил эту страну, со страстью первооткрывателя проникая в ее историю, вращая в нее корнями своего сознания. Знает ее проблемы, чем она может и должна гордиться. Он убежден, его попутчики еще не настоящие американцы, хоть многие живут в этой стране уже по двадцать лет, и его долг, пока есть силы, шаг за шагом подводить их к пьедесталу ее величия. К тому же приятно сознавать, что многим одиноким, склонным к депрессии иммигрантам он помогает вернуться к жизни.

Вовчик уже перепробовал с ним шесть разных маршрутов. После того, как жена уехала к сыну в Бостон нянчить внука, да еще с учетом его стариковских проблем, оставаться одному в доме стало мучительно. Случись что... А с Игорем спокойно. Надежный, хоть и говорит без умолку целыми днями. Вовчик считает: слишком уж подробно. Оно, ведь, не школа. Еще автобус всегда переполнен. Сзади как в духовке. Но это так, не по существу. И все же, если разобраться, в группе большинству уже за шестьдесят. Кому-то перевалило за семьдесят. Стоит ли так стараться нагружать их головы подробностями исторических событий, утомительными экскурсами в эпоху геологических разломов, научно обосновывать процессы саморегуляции в природе, обсуждать перспективы выбора обществом тех или иных путей развития? Не проще ли было бы ограничиться комментариями в стиле подборки газетных анекдотов. Люди едут развлечься, пообщаться, завести новых знакомых. Так нет... Считает, что отпущенное время должно заставить их серьезно задуматься над своим существованием в этом мире. Нет, чтобы пошутить. Казалось бы, должен понимать: не дети, не ученики. И ведь терпят и снова хотят с ним ехать. Отбоя нет... Хорошо еще в каждой группе всегда найдется пара одесситов, с кем можно отвести душу.

Действительно, и почему к нему на туры надо записываться загодя, продолжал раздумывать наш путешественник, поджидая возвращения ушедших в долину энтузиастов. Казалось бы, для людей в возрасте это не отдых, скорее испытание. Гостиницы, хоть и приличные, но не из самых лучших. О пропитании — позаботьтесь сами. Только завтраки. Подъем, как в армии, в шесть тридцать, и целый день до вечера учеба: лекции по истории, географии, геологии, биологии. Обо всем сразу и вперемешку. Если конспектировать, наберется на целый том. К вечеру в голове такая кутерьма. В первые дни почти все стонут, падают от усталости. Зато к концу поездки, как ни странно, появляется энергия, желание снова куда-то ехать, узнавать что-то новое. Забываешь о своих болезнях, удивляешься, откуда берется эта депрессия. Не в том ли причина, что он помешан на этих своих разломах, ущельях, каньонах, каменных истуканах, влюблен в своих бесчисленных героев, увлечен рассказами об их характерах и поступках, построением догадок о возможных путях развития давно прошедших событий, серьезно обсуждая все

это со своими слушателями, как с равными. Начинаешь даже уважать себя. К тому же чувствуешь заботу и внимание, готовность защищать твои интересы...

Вечером Семен немного перебрал, долго не давал уснуть. Утром возился с чемоданами, что-то в них перекладывал, искал. К завтраку вышли с опозданием. Роза едва сдерживала раздражение.

В автобусе их встретили молчаливым осуждением, только Игорь, как всегда, вежлив и приветлив.

— Усаживайтесь поудобней. Сегодня у нас в плане продолжение экскурсии по парку Еллоустон. Посмотрим Большой каньон, водопады, грязевые вулканы. Спустимся в долину, где нас уже поджидают бизоны стада.

Семен, поиграв с компьютером, скоро уснул. Роза вслушивалась в льющуюся откуда-то сверху, ставшую уже привычной музыку знакомого голоса, и смутное, радостное чувство ожидания чего-то нового и необычного сменялось тревогой и жалостью к себе. У Семена в голове всегда только машины, футбол, скачки... Еще пять, десять лет такой жизни превратят ее в старуху. Вот ведь Игорь совсем другой. Но и ему приходится бесконечно мотаться по этим оврагам и лесам... Это жизнь?

Уже вечерело, когда стали спускаться в большой каньон. Игорь проверил, все ли на месте.

— Мы покидаем альпийскую тундру, где среди каменных россыпей на легко ранимом тонком почвенном покрове растут удивительные, низкорослые, подобные стелющимся кустарникам деревья со скрученной как корабельные канаты древесиной. Живут небольшими дружными семьями вместе с пра-, пра-, пра-, прародителями, которым, в это трудно поверить, может быть по пять тысяч лет... Спускаемся ниже, в верхний субальпийский уровень, где только хвойные леса. Еще нет девственно нежных белоствольных осин. Русские живописцы, если бы здесь побывали, увидев таких красавиц, переосинили бы все свои березы... Роза, вам нехорошо? Кружится голова? Не смотрите вниз. Сосредоточьтесь взглядом на чем-нибудь неподвижном, хотя бы на том причудливом изваянии из базальта на противоположном склоне...

Что это он? Достала зеркальце — никаких признаков нездоровья. Может, подтрунивает? Но нет, голос спокойный, мягкий.

— За этой нависающей справа над доро́гой скалой мы увидим первую осиную рощу. Въезжаем в канадскую зону. Еще несколько поворотов и попадаем на первый уровень со смешанными лесами и долинами, куда почти все живое, что обитает в горах, спускается зимовать. Там мы найдем место, где можно сделать остановку.

Автобус замедлил ход, почти остановился.

— Пропускаем местную индюшку с великовозрастным птенцом. Здесь уже каждую минуту нас ждут сюрпризы... Вот и приехали.

За очередным поворотом выстроилась длинная вереница машин.

— Если это бизоны, рушатся все наши планы. В прошлый раз простояли здесь больше двух часов. Лежали посреди дороги — не объехать. Пришлось вызывать служителей заповедника.

В автобусе оживление. Кажется, наконец, появилась реальная возможность пообщаться с достойными представителями местной фауны. Если повезет, сфотографировать, может даже потрогать. Но Игорь предостерегает:

— Простите. Я в ответе за каждого из вас. Мы еще не знаем, кто там остановил движение. Возможно это черный медведь или гризли. Хотя гризли предпочитают открытые места. Тем не менее... Тем не менее... Мы будем иметь возможность, надеюсь, совсем скоро сделать хорошие снимки внизу, где у реки бизоны бродят целыми стадами. Смотрите, колонна машин уже двинулась вперед. Кажется, нам везет... Смотрите справа. Это лоси. Уходят в лес. А вот и олени. Приготовьтесь фотографировать. Уже рядом.

Два быка-красавца, судя по отросткам на рогах, шестилетки, в эффектных позах застыли на пригорке, словно получая удовольствие от того, что их снимают. Оленихи с многочисленным семейством неторопливо брели вдоль дороги, флегматично выжидая, пока все проедут, чтобы перейти...

Широкая долина, как только что законченный художником пейзаж, сияла свежими вечерними красками. Неподвижную голубизну реки живописно дополняли несколько рыбаков. На отливающем расплавленным янтарем противоположном берегу удобно расположилось кажущееся игрушечным стадо бизонов. Кто-то попросил остановиться.

Игорь подошел к Розе.

— Как себя чувствуете?

— Спасибо, лучше.

— Она уже хочет бизона, — как всегда со своими комментариями влезает Семен.

— Я должен извиниться. Обещал эффектные снимки. Поверьте, никогда не знаешь, что тебя ожидает. В прошлый приезд здесь паслись огромные стада. Вам в утешение: завтра в музее можно сняться хоть в обнимку. Выглядеть будет убедительно.

— Это не фонтан. Она такого уже имеет. Хочет живого.

— Семен, не начинай! — не выдерживает Роза. Вовремя его не одернешь — наговорит всяких глупостей. Сколько уже раз, бывало, ставил ее в неловкое положение. Теперь же, в присутствии Игоря, это совсем ни к чему...

Ландшафты за окном уже не радовали разнообразием и новизной, как продолжение осмотра в галерее, где лучшие полотна выставлены у входа. Кое-кто еще старательно всматривался в разбросанные по равнине валуны, подозревая в каждом дремлющего великана. Другие что-то жевали, чтобы не уснуть. И только Роза с давно не испытываемым внутренним волнением, как прилежная ученица, вслушивалась в каждое слово.

— Благоприятные в этих местах в последние годы погодные условия вызвали усиленное размножение короедов-лубоедов, уничтожающих огромные массивы хвойных лесов. Вы видели, как часто склоны гор в этих местах покрыты зараженными деревьями: ржавеет хвоя, осыпается кора, мертвые стволы еще стоят или падают, как после урагана. Пораженные деревья при этом никто не убирает. Они сами как бы включают заложенную в них программу выживания. Какая-то часть упавших на землю шишек остается закрытыми. И, что удивительно, пролежав на земле несколько лет, в год благоприятный, когда популяция короеда резко уменьшается, они раскрываются, выбрасывают семена, дают молодую, уже здоровую поросль. Природа учит нас терпению... Пять, десять, даже пятнадцать лет ждать. И потом раскрыться...

Роза вздохнула. Раскрыться... Как же. И с неприязнью посмотрела на Семена. Тот мирно посапывал, развалившись в кресле.

Игорь поднялся, внимательно посмотрел на слушателей. Она поймала на себе его взгляд.

— Вижу, вы уже не в теме. Еще немного в заключение. Совсем коротко. Напрашивается вывод: природа сама восстанавливает нарушенный баланс. Просто не надо ей мешать. Даже пожары, которые здесь в горах довольно часты, иногда полезны для больных лесов.

Замолчал, словно ожидая чего-то.

Тем временем выехали к большой воде.

— Смотрите, — продолжал Игорь. — Склоны гор вокруг озера, насколько можно видеть, покрыты как стрелами тонкими стволами сгоревших сосен. Только у самой дороги осталось несколько уцелевших, еще зеленых. Ведь вот как бывает. Этой весной молодая объездчица, посчитав, что ее не продвигают по службе, решила обратить на себя внимание своеобразным способом, якобы в одиночку справившись с очагом лесного возгорания. Сама же его и устроила... Печально... Весь чудесный, здоровый лес на склонах с северной стороны озера сгорел. Эту ее шалость скоро раскрыли. Теперь будут судить... Ок... Вопрос по теме.

И вдруг, совсем некстати, заметив сочувствие в широко раскрытых глазах Розы, спросил:

— Кто склонен в угоду собственным желаниям жертвовать собой?

Опять его куда-то заносит, подумал Вовчик, ворочаясь в кресле, чтобы уменьшить боль в спине, с грустью наблюдая, как солнце стынущей медной отливкой врезается в полированную озерную гладь, беззвучно утопает. Сейчас бы ему вставить какую-нибудь репризу из новостных сообщений, дать свою оценку. Оживить обстановку! Посыпались бы вопросы, возражения.

На ночлег устраивались с опозданием, Игорь попросил:

— Задержитесь в автобусе, пока мы с водителем выгрузим чемоданы. Есть небольшая проблема, которую, надеюсь, мы безболезненно решим. Эта маленькая, но совсем не плохая гостиница на нашем маршруте не имеет достаточно номеров с двумя спальными местами. Они все на втором этаже. Без лифта. На первом же — номера только с одной кроватью-кинг для двоих. Есть волонтеры на первый этаж?

Вмиг разобрали. После изнурительного дня никому не хотелось тащиться с чемоданами наверх. Кто-то задержался возле автобуса, опоздал к раздаче, требовал передела. Семен безропотно понес два своих наверх. Игорь предложил:

— Все чемоданы можете оставить внизу у лестницы. Я разнесу по номерам.

Через полчаса почти вся компания, сдвинув прямо в холле несколько столов и притащив все, что по старой привычке в изобилии прикупалось по дороге, праздновала благополучное возвращение после высокогорных перевалов, грозных ущелий, супервулкана. Одесситы состязались в качестве и количестве анекдотов. Вовчик вспоминал старые, одесские. Семен сыпал свежими, из Интернета.

Игорь в углу за компьютером писал жене: «Все хорошо. Группа замечательная. Большинство одесситов. Водитель, как всегда, молодец. Во всех гостиницах оставил заявки на следующий сезон. Думаю над новым туром по Западной Канаде. В долине гейзеров без изменений. У меня, кажется, тоже. Так что еще поработаем».

Роза присоединилась к уже хорошо разгулявшейся компании. Увидев, как одна из туристок о чем-то беседует с Игорем, почувствовала неприязнь и раздражение. И что это она все время крутится вокруг, задает вопросы, что-то записывает?!

Игорь подошел к столу:

— Всем хорошего вечера. Завтра у нас легкий день. Я так спланировал, чтобы дать вам отдохнуть, сделать финал нашей поездки, в американских традициях, приятным во всех смыслах. Напоминаю, кто не слышал, подъем на полчаса позже, осмотр музеев здесь, в Коди. Переезжаем в Термополис, где у нас пикник на траве и двухчасовое купание в бассейне с чудесной по своему составу минеральной водой. Вы почувствуете себя молодыми, полными жизненных сил. Ночь в Каспере, и утром следующего дня выезжаем в Денвер, с остановкой в столице штата Шайенне.

От угощения он вежливо отказался, сославшись на неотложную работу.

Пошел читать Донцову, подумала Роза, осторожно дергая Семена за рукав.

— Идем уже. Мне надо выспаться.

Тот нехотя встал, подмигнул Вовчику.

— Ухожу в оборону.

Надев свой самый лучший красный купальник, как нельзя более удачно подчеркивающий ее статную фигуру, и волнуясь как актриса, готовая сыграть давно забытую роль, Роза пристально всматривалась в лица купальщиков. Искала Игоря. Справа на возвышении увидела маленький искусственный водопад, от которого по широкой изгибающейся трубе детишки «сливались» в длинный бассейн. Лежаки, тесно прижатые друг к другу, все были оккупированы. В воде — как на вокзале. Только в самом конце бассейна, где поглубже, было свободно. Плавали по трем поперечно отгороженным дорожкам, прыгали с вышки.

Семен, бросив на кафельный бордюр полотенце, под восторженные визги ребятишек тоже полез в трубу. Роза, нервно вздрагивая от прикосновений барахтающихся тел, пробралась в конец бассейна. У самых дорожек, где можно было стоять, нащупала ногой бьющую снизу сильную струю. Рядом еще и еще. Присмотрелась — на дне несколько схваченных ржавчиной круглых воронок. Придавила ногой одну, другую. Вдруг почувствовала: кто-то рядом. Подняла голову. Знакомая шляпа с обвисшими мокрыми полями. Под ней, в уголках губ, подобие улыбки.

— Тут настоящий гейзер под ногами, — сказала в растерянности. — Попробуйте.

— Действительно, я раньше не замечал. — Прижал ногой одну из воронок, невольно коснувшись ее руки. — Эти источники самые лучшие из всех, где я бывал. Вода не перенасыщена солями, снимает усталость. — Оглянулся, будто искал кого-то. — Вы первый раз с нами. Не очень утомил?

— Вы так хорошо рассказываете! Было интересно. Особенно про эти шишки. Лежат после стихийных бедствий, пять, десять лет, чего-то ждут... Сами придумали?

— Научный факт.

— А если не откроются?

— Освободившееся место займут другие виды. Природа прагматична.

— Мрачная перспектива. Я помню, вы тогда спросили что-то насчет желаний... и кто готов жертвовать собой... Так это всегда таки мы... женщины.

Роза густо покраснела. Что это я, подумала, как-то не так говорю, тороплюсь, будто выскочила из вагона на короткой остановке что-то прихватить с собой. Спокойнее. Надо быть спокойнее.

Игорь, осторожно отступая, поправил:

— Я сказал, в угоду собственным желаниям рисковать, ну, то есть, жертвовать... вряд ли стоит, если...



— Ну, не важно, — поспешно согласилась Роза. — Вы так думаете? Наверное, вы правы...

И тут, совсем некстати, бороздя путь между разомлевших, распаренных тел, появился Семен. Нырнул под поплавки, полез на вышку.

— Игорец! — крикнул. — Держи Розу, когда я прыгну, чтобы ее не выплеснуло на топчаны. Демонстрирую смертельный номер.

Оттолкнулся, стал перегибаться, входить в штопор, но, видно, немного не догнул, не довинтил — грохнулся, бревном ушел под воду. Забыл, что показывал этот трюк друзьям лет тридцать назад. Игорь даже разволновался.

— Вечно устраивает цирк, — вздохнула Роза.

Семен тюленем вынырнул из-под поплавков.

— Ну, красотища! Веселимся! — Повернулся к Игорю. — Есть предложение сделать перерывчик и по пивку. Ты как?

— Да нет, мне еще работать, — смутился тот.

— Сочувствую и понимаю. Это не Россия. Там мы местами могли себе позволить и не такое. — Подмигнул Розе. — Ну, в таком случае и в результате я вас оставляю. Еще успею покемарить, чтобы в автобусе не спать. Что мы сегодня проходим?

— Ну-у-у... Немного поговорим о жизни индейских племен, о стойкости и трудолюбии мормонов... о свободе выбора и ответственности за свою судьбу.

— Я слышала, вы возите и по другим маршрутам, где нет этих трагедий: супервулканов, страшных ущелий, обгоревших мертвых лесов.

— Рад буду снова быть вашим гидом. На следующий сезон складываю новый тур по Западной Канаде. Не ясно только с погодой. В тех местах, если заждит, то на неделю... Кажется, я сегодня позволил себе лишнего. Вода расслабляет, потом трудно сосредоточиться. — Подумал. — Надо еще о многом рассказать.

Посмотрел на часы. Увидев группу своих, направился к ним. Деловито напомнил:

— Жду в автобусе ровно через сорок минут.

Вот чудак, досадуя, подумала Роза, испугался... Видно, совсем одичал в этих горах. Ну, да ладно... Собственно, что в нем такого? Семен, хоть и грубоват, по крайней мере, мужик. Когда ему надо, бывает покладистым и внимательным. А когда Вовчик забыл все свои лекарства в гостинице, как он старался ему помочь. Звонил администратору, проверял, дергал Игоря, даже платил какие-то деньги, лишь бы поскорее доставили...

Подождав, пока возле боковой лесенки стало свободней, Роза выбралась из бассейна. Игорь с его индейцами, мормонами, бизонами уже не казался ей таким загадочным, непостижимым. Нет, эти пионерские походы не для нее. Круизы. Только круизы. Комфортно, и никаких волнений...

В Денверском аэропорту Игорь прощался со всеми как с родными. Делали снимки, обменивались адресами. Маленькая незаметная старушка-одуванчик попросила слова и заговорила неожиданно громким, хорошо поставленным голосом:

— Слушайте сюда! Я хочу посвятить нашему дорогому Игорьку стихи, которые сейчас написала. Пусть он будет нам здоров и счастлив.

Случилось так, что в пустой породе  
Среди многопудовых серых отвалов  
Нам повезло найти самородок,  
С которым каждому теплее стало.

Все дружно захлопали в знак одобрения.

— Ну, молодец!

— А что, так и есть!

— Хорошо сказала!

Пожимали ему руки, желали успехов. Роза подошла последней.

— Игорь, запишите: мы первые в Канаду.

Семен удивился:

— Вчера говорила: хочешь на Гавайи.

— Не Гавайи, а Багамы. Но это запасной вариант на случай, если что-то там с погодой...

Вечно ты все путаешь. Где Багамы, а где Гавайи.

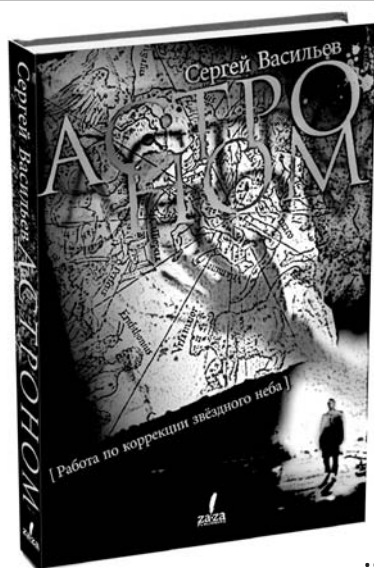
— Роза, ты мне просто начинаешь нравиться. Я точно помню, речь шла о круизах.

— Семен, прекрати!

— И шо вы спорите? — вмешался Вовчик. — Я первый на Канаду. Сзаду. Ты, Сема, видно не врубился. Роза хочет белого медведя.

— Ой, не могу! Вы меня таки достали. — Семен расхохотался, да так, что все полицейские на контроле обернулись. Не сумасшедший ли?

*Саванна, 2012*



## «АСТРОНОМ или работа по коррекции звездного неба»

**Сергея ВАСИЛЬЕВА**

В этой истории переплетаются  
**детектив**, фантастика,  
ирония и текущие заботы.

**Выпускнику** журфака  
«улыбается» удача:

...работать на новостной **ТЕЛЕКАНАЛ**...

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

*Александр ЛАНИН*

## ЖИЗНЬ ОДНА

### Блеск гранита

На груди у Венеры набухла роса,  
Голоса врываются в створ.  
Моя вера то в истину, то в чудеса  
Облетает палой листвой.  
На развалинах замка закончился бал,  
Кто-то плачет мокрым песком.  
Значит, нам не дано. Значит, нам не судьба.  
У гранита матовый скол.  
Распрягайтесь, приятели, время пришло  
Выносить святая святых.  
Сани вмёрзли в сугроб, ямщика замело,  
Воют волки — гордость и стыд.  
На любую старуху бывает Прокруст:  
«Вам порезать или куском?»  
На границах империи слышится хруст.  
У гранита матовый скол.  
По моей ли вине, по твоей ли вине,  
Но часы не ходят назад.  
У людей, что уверены в завтрашнем дне,  
Навсегда чужие глаза.  
И песку никогда не осыпаться вверх,  
Ты же чуешь это виском.  
Пятый год, как закончился атомный век.  
У гранита матовый скол.  
Чудеса слишком явно похожи на секс,  
Чтобы верить в них поутру.  
Так союзу республик со вставкой «СС»  
Не войти обратно в игру.  
Так и битым сердцам не мешает понять,  
Что любовь не лечат тоской.  
У страны нет желания что-то менять.  
У гранита матовый скол.

## Вперёд в прошлое

Сказал опрометчиво. Значит, пришла пора.  
С утра и до вечера, с вечера до утра  
Ни сесть и ни лечь, ибо снова впрягаюсь в плуг.  
С утра и до вечера, не покладая рук.  
Не время героев, не время и вешать нос.  
Друзья из конвоя — не повод писать донос.  
И скалятся трое, порвав и запутав нить.  
Мы ноги омоем, а руки оставим гнить.  
И скажет дурак: «На войне, мол, comme a la guerre.»  
Андреевский флаг омывает советский герб.  
И плавится лак, и наводит дуло пацан,  
И близится враг по другой стороне лица.  
По свежему следу, навстречу чужой весне.  
Война до победы — за право уйти во сне.  
Не «садо», не «педо» — мы видели их в гробу,  
По свежему следу таща на себе судьбу.  
В начале орнамент, в конце пятистопный ямб.  
Ходить бы конями подальше от волчьих ям.  
Намотано знамя, приказ, разворот, пинок.  
Но выбор за нами. Точней, за нашей спиной.  
Копыта, колёса, костыльная боль в ногах.  
Заточены косы — пока на чужих лугах.  
Не рухнут колоссы, нам с честью не пасть в борьбе.  
Все наши доносы написаны о себе.  
Чужие калечат, свои выбивают пыль,  
Но близится вечер. И хочется быть слепым.  
Расправлены плечи под выбритой головой —  
С утра и до вечера рядом идёт конвой.

## Лорелея

Тихий шорох паруса, плеск весла,  
Да стрекозы ресниц над ручьями глаз.  
Я не верю, что ты — была.  
Это ложь! Это чушь! Это шелест волн.  
Кто б ни выдумал этот хрустальный звон,  
Я хотел бы видеть его.  
Я уже под водой, сапоги — свинцом,  
Я пытаюсь увидеть твоё лицо  
На секунду перед концом.  
Нас на камни тащило, вело, несло,  
Ты ласкала гребнем копну волос  
Так печально и так светло.  
Золотистые пряди, точёный стан,  
Запятая, да точки, да минус рта,  
Неужели ты так проста?  
Но течение рвёт паутину рук,  
Словно парус дёргает на ветру.  
Ты исчезнешь, и я умру...

\*\*\*

Я родился позже на триста лет,  
На иной реке. И легенды след  
Не лежал на моём столе.  
Задевая небо концами рей,  
Корабли уходили за сто морей,  
Из Невы. Но к тебе ли в Рейн?  
Песня выдавит гибель, а та — слезу,  
Я тонул, но учил тебя наизусть,  
Словно лодка через грозу.  
Так обломок мачты коснётся дна,  
Значит пой по нам, но не плачь по нам!  
Наша смерть — не твоя вина.  
И ты сказка, ты миф, ибо нет чудес,  
Ты бросаешь свой гребень и до небес  
Вырастает сказочный лес.  
Это узкий фарватер и ночи мгла,  
Это лоцман — пьянчуга, его дела,  
Это всё скала...  
Но, пожалуйста, дай мне поверить, что ты — была.

## Гаммельн

У раздавшихся улиц трамвайный прорезался голос,  
Нарезающий дуги по сонному горлу с утра.  
Горожане расселись по офисам, дети — по школам.  
Старики на скамейках судачат на тему утрат.  
В центре города площадь. На ней продавали солону,  
А теперь там фонтаны, и ратуша, и каланча.  
А на площади памятник. Может быть и крысолову,  
Но, скорей, не ему. Городские легенды молчат.  
Кто там помнит, что было. Учебник не раз переписан,  
Деревяшка в музее лишилась былой красоты...  
Но в тени постамента шныряют голодные крысы  
И по старой привычке приносят сухие цветы.

## Взрыв

Это было, когда подвернулась опора моста —  
Заметались стада под растерянный оклик пастуший,  
И топтали собак, исступлённо, до пены у рта,  
И прогнулась вода под железобетонную тушей.

Генерал улыбался, сверкая подзорной трубой,  
Диверсанты вели разговор о взрывчатке и бабах —  
Нет резона делить направляющихся на убой  
На собак и овец, да и просто на сильных и слабых.

И краснела река, не умея беду искупить,  
Каменя лицом через мутную толщу забрала,  
Отмывая случайную кровь от овечьих копыт  
И случайную грязь от высоких сапог генерала.

«Это дело не лап, не копыт и, возможно, не рук» —  
В перекличках газет затерялись догадки и враки...

Говорят, пастуху кто-то кинул спасательный круг.  
Говорят, он уплыл.  
На овце.  
Под конвоем собаки.

## Эмигрантская молитва

*Что тебе снится, крейсер «Аврора»,  
В час, когда утро встаёт над Невой?  
(М. Матусовский)*

Бурлим половодьем, играем словами.  
В дубовые двери стучим головами.  
— Не вы ли последний? Тогда я за вами,  
Мой конь на века опочил.  
И утро встаёт за плечами, как пламя  
Затушенной на ночь свечи.  
Играем словами, бурлим половодьем.  
Стальными руками сжимаем поводья —  
Всё это охотничьи наши угодья,  
До самых британских морей.  
Гадаем впотьмах на неполной колоде,  
Да прячем под стол козырей.  
А тот, кто командует этим парадом,  
Древнее небес, но находится рядом.  
На новом плацу небывалый порядок,  
Зачем же я снова бреду  
Ожившей фигурой из Летнего сада  
По тонкому невскому льду?  
Поэзия есть настроение минус  
Желание жить, но, о боже, пойми нас:  
На восемь утра назначается вынос,  
На восемь пятнадцать — подъём.  
Протянем же ноги навстречу камину,  
По-детски играя с огнём.  
Чем больше грехов, тем смешнее молиться.  
Ему одному, невзирая на лица.  
— Иванушка, милый, не пей из копытца!  
И смотрит наполненный зал,  
Как с неба спускается синяя птица,  
Чтоб выклевывать трупы глаза.  
— Иванушка, милый, не пей из копытца  
— Пошла бы ты прочь, дорогая сестрица,  
Я пью уже ночь. Мне никак не напиться.  
Я пью уже тысячу лет!  
— О чём вы твердите, поручик Голицын?  
— А хрен его знает, корнет!  
Сломалась надежда, прогнила опора  
И нам не дано избежать приговора.  
Блажен, надевающий шапку на вора,  
И светел, забывший о нас.  
Так что тебе видится, крейсер «Аврора»,  
В тот самый предутренний час?

## Игра на больше-меньше

Чем больше прожитых лет, тем меньше штучек расистских.  
Прости мой глаженный вид, моя чужая страна.  
Вода омоет мой хлеб потопом в Новороссийске.  
И сытый голос любви опять захочет вина.  
Чем больше прожитых дней, тем меньше проклятых судеб.  
Прости мне пищу и кров, прими моё естество.  
Но, кто бы ни был на дне, опять достанется судьям,  
Ведь там, где судят за кровь, прощают за воровство.  
Чем больше выпитых снов, тем меньше скалятся плечи  
В лицо великой весне тугой ухмылкой горба.  
Прости мне этот веночек, как тот швейцарский диспетчер.  
Целуй терновый венец, забыв про соль на губах.  
Чем больше выбито влёт, тем меньше ключей скрипичных.  
Пришла пора разводных. Даёшь последний мазок!  
И только мурманский лёд встаёт оправданным кичем,  
Ногтями ничьей вины царапая горизонт.  
Чем больше учишься вновь, тем меньше кажется верным.  
Прости мне этот плевок в лицо чужого огня.  
Ты можешь простить за кровь, ты можешь простить за веру,  
И только за воровство не надо прощать меня.  
Чем больше кажется смерть, тем меньше идти до цели.  
Оставь мне каплю тепла, моя чужая страна...  
Ты будешь слышать мой смех на каждой открытой сцене.  
Ты будешь слышать мой плач на каждых похоронах.

\* \* \*

Слово отзывается на стук,  
Шаркает и держится за стену,  
Словно ощущает пустоту  
В клетках разлинованного тела,

Словно отзывается на плач  
Кулака по выкрашенной двери.  
Лучше бы сказало, что дела,  
Лучше бы смолчало, что не верит.

Снова лезет в скважину ключом,  
И, ругаясь (лучше бы молчало),  
Двигает созвездия плечом.  
И опять становится в начало.



## Одна жизнь Дашратха Манджхи

Дело было недавно, почти вчера. Засекай полвека до наших дней.  
Деревушка в Бихаре, над ней гора. И тропа в обход. И гора над ней.  
Путешествие в город съедало дни, напрямик по скалам — смертельный риск.  
Вот крестьяне и жили то вверх, то вниз. Да и что той жизни — навоз да рис.

Он — один из них, да, считай любой,  
И жена-хозяйка, считай — любовь.  
И гора смолола её, урча,  
В хороводе оползня закружив.  
До больницы день. Это птицей — час,  
А, когда телегой, возможно, жизнь.

Тишина скользнула к его виску, прошуршала по глиняному порогу.  
Неуклюже щерилась пасть окна, свежесломанным зубом белел восход.  
И тогда крестьянин достал кирку и отправился делать в горе дорогу,  
Потому что, если не можешь над, остаётся хотя бы пытаться под.

— Здравствуй, гора, — и удар киркой — это тебе за мою жену,  
За скрип надежды по колее, бессилие, злость и боль.  
— Здравствуй, гора, — и удар киркой — это тебе за то, что одну  
Жизнь мне суждено провести в этой борьбе с тобой.

Он работал день, он работал два, он работал неделю, работал год.  
Люди месяц пытались найти слова, а потом привыкли кормить его.  
Догорит геройства сырой картон, рассосётся безумия липкий яд,  
Только дело не в «если не я, то кто», и не в том что «если никто, то я».

— Здравствуй, гора, к чему динамит, я буду душить тебя день за днём,  
Ломать твои кости, плевать в лицо, сбивать кулак о твою скулу.  
— Здравствуй, гора, к чему динамит, ты ещё будешь молить о нём  
Все эти двадцать калёных лет, двести палёных лун.

И гора легла под кирку его.  
И дорога в город, примерно, час.  
Потому что время сильнее гор,  
Даже если горы сильнее нас.  
Человек-кирка. И стена-стена  
Утирает щебня холодный пот.  
Потому что птицы умеют над,  
Но никто иной не сумеет под.

Помолчим о морали, к чему мораль. Я бы так не смог, да и ты б не смог.  
Деревушка в Бихаре, над ней гора. У горы стоит одинокий бог.  
Человек проступает в его чертах, его голос тих, но удар весом.  
Человек просто жил от нуля до ста. Да и что той жизни — земля да соль.

# КОРОТКО ОБ АВТОРАХ НОМЕРА

## Гайй

*Хайфа, Израиль*

Родился в 1977 в Гомеле. Живет в Хайфе. Победитель международного конкурса поэзии «Пушкин в Британии» (2006, Лондон), 2-ое место и приз зрительских симпатий на супертурнире поэтов «Болдинская осень» (2008, Одесса), обладатель главной награды творческого фестиваля «Берновская осень» (2010, Берново). Автор книги стихов «...под шум неосторожных междометий».

## Игорь Джерри Курас

*Пригород Бостона, США*

Родился и прожил первые 30 лет своей жизни в Ленинграде, там же окончил школу, институт. В 1993 году переселился в США, где, помимо работы программистом в одной крупной корпорации, писал стихи и прозу, которые немедленно вывешивал на различных литературных сайтах. На бумаге в Петербурге вышли две книги стихов («Камни | Обёртки» с иллюстрациями Юрия Молодковца и «Загадка природы» с иллюстрациями Василия Голубева). Кроме того, существуют публикации в чикагской газете «Обзор» и в бостонском альманахе «Наш автограф».

## Владимир Порудоминский

*Кёльн, Германия*

Владимир Порудоминский родился в 1928 году в Москве. Автор многих книг, очерков, статей по истории русской культуры. Писал о Пушкине, Гоголе, Владимире Дале, Льве Толстом, Тургеневе, Гаршине, Чехове, Пирогове, Пущине, Брюллове, Ге, Крамском, Врубеле и других выдающихся писателях, художниках, ученых. Его книги выходили в различных издательствах, в сериях «Жизнь замечательных людей» и «Жизнь в искусстве». Долгие годы занимается изучением жизни и творчества Льва Толстого; автор книг «Счастье, которое меня ожидает» (молодой Толстой), «О Толстом», «Лев Толстой в пространстве медицины». В последние годы, не отказываясь от прежних творческих интересов, больше пишет прозу. Его рассказы, повести, мемориальные повествования публикуются в российской и зарубежной печати. Три книги прозы увидели свет в петербургском издательстве «Алетейя». Владимир Порудоминский подготовил к печати книгу записок о виленском гетто, переведенную на шесть языков. На иностранные языки переводились и другие работы писателя. Подробнее о В. Порудоминском — в Википедии.

## Каринэ Арутюнова

*Тель-Авив - Киев*

Профессиональный художник, прозаик, иногда «болеющий» стихами, автор книги «Пепел красной коровы» (серия «Уроки русского»). Родилась в Киеве, с 1994 года живет в Израиле. Лауреат фестиваля памяти Ури Цви Гринберга в номинации «Поэзия» (июнь 2009, Иерусалим). Публиковалась в «Зарубежных записках» (Германия), «Интерпоэзии» (США), «Крещатике» (Германия), «Отражении» (США). Шорт-лист премии Андрея Белого за сборник рассказов «Ангел Гофман и другие». Лонг-лист премий «Большая книга», «НОС» за сборник «Пепел красной коровы».

## Наташа Борисова

*Фрайбург, Германия*

Петербурженка. Окончив филфак университета (германистика), работала сотрудником кафедры английской филологии, сочетая педагогическую деятельность с работой журналистки. Издано 3 сборника ее стихотворений. Занимается переводами, преимущественно, немецких романтиков, журналистикой, а также работает экскурсоводом и переводчиком в старейшем в городе музее Августинер. В январе 2013 в Za-Za Verlag вышел сборник ее эссе «Отражения».

## Валерий Бочков

*Вирджиния, США*

Победитель второго Открытого чемпионата России по литературе в номинации «Проза».

Победитель конкурса «Согласование времён».

Лауреат Литературной Премии 2012 «ZA-ZA Verlag» в номинации «Малая Проза». Сборник рассказов «Брайтон-Блюз» получил звание «Книга Года». Проза Валерия Бочкова публикуется на страницах журналов «Знамя», «Волга», «Новая Юность», «Настоящее время», в сетевых изданиях. Автор книг: «К югу от Вирджинии», «Время Воды», «Брайтон-Блюз», «Ничего личного», «Автопортрет с луной на шее».

## Андрей Медведев

*Украина. Мариуполь*

Родился в 1966 г. Поэт, историк, экономист, преподаватель философии. Издавался в сб. «Лестница любви», Н. Новгород. 2008. Авторский сборник «Цикута для философа», Мариуполь. 2010.

## Евгений Имиш

*Москва, РФ*

Родился в 1971 году в Москве в артистической семье. Учился в ПТУ, в цирковом училище, в Саратовском медицинском институте. Работал на заводах, на ТЭЦ, в театрах, на «скорой помощи», писал рекламные статьи о дизайнерах и мебели в профильные журналы... Всегда, так или иначе, что-нибудь пописывал.

Первая публикация в «Флориде» — 08/2011.

Лауреат Литературной премии Za-Za 2012.

## Гея Коган

*Бремен, Германия*

Родилась в Риге, где и прожила до отъезда в Германию в 1995 году. По специальности — химик-технолог по обработке пластмасс, работала на заводе, в конструкторском бюро, а в последние годы занималась и фитодизайном — всё-таки ближе к творчеству. В Риге была участником семинара молодых литераторов, а после него — членом студии при СП. Публиковалась в периодической печати, в альманахе «Голоса». В Германии — тоже периодика и два «малолитражных» сборника.

## Елена Крюкова

*Нижний Новгород, Россия*

Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). Публикуется в толстых литературно-художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.).

Финалист премии «Ясная Поляна»-2004 (роман «Юродивая») и «Карамзинский крест»-2009 (роман «Тень стрелы»). Роман «Изгнание из Рая» — лонг-лист премии «Национальный бестселлер»-2003.

Лонг-листер премии «Русский Букер»-2010 (роман «Серафим»).

Лауреат премии им. М. И. Цветаевой-2010 (книга стихов «Зимний собор»).

Лонг-листер премии им. И. А. Бунина-2010 («Зимний собор»).

Лауреат премии «Согласование времен»-2009, Германия, в номинации «поэзия».

Финалист Волошинского конкурса-2009 в номинации «проза» (рассказ «Яства детства»), Волошинского конкурса-2010 в номинации «проза» (рассказ «Краденая помада»).

Победитель Литературной премии «Za-Za» 2012.

Подробнее о Е. Крюковой читайте в Википедии.

## Нина Садур

*Москва, Россия*

Драматург, прозаик и сценарист. Родилась в Новосибирске, дочь поэта Николая Перевалова. В юности примыкала к группе поэтов «Левая Сибирь» (И. Овчинников, А. Денисенко и др.). Окончила Литературный институт (1983, семинар драматургии В.Розова и И. Вишневской). В 1977 г. опубликовала первый рассказ в журнале «Сибирские огни», в дальнейшем печатала прозу в журналах «Знамя», «Стрелец», «Золотой век». В 1981 г. дебютировала как драматург пьесой «Чудная баба», под тем же названием выпустила в 1989 г. первый сборник пьес. С 2001 г. активно работает как сценарист.

## Марго Па

*Москва, Россия*

Мargarита Пальшина (псевдоним Марго Па) родилась в 1978 году в Архангельске, в настоящее время живет в Москве. Окончила Московский Современный Гуманитарный Университет. Прошла переподготовку в режиссерской мастерской при Первой школе телевидения (мастерская ВГИК). Работала креатором, дизайнером, режиссером видеомонтажа в крупных рекламных агентствах, внештатным автором туристических журналов. Первые киносценарии были переписаны в прозу и стали сборником повестей. В 2009 году написан роман-антиутопия «Белый город», стал романом 2010 года на proza.ru. Повести и роман опубликованы в электронной библиотеке «АСТ» elkniga.ru. Рассказы выходили в журналах «Новый берег», «Новая литература», «Сетевая словесность», «Зарубежные задворки», «Пролог», «Млечный путь», «Снежный ком». В 2009 году получила диплом международного поэтического конкурса «Золотая строфа». В 2012 году была участником «Школы Буковских лауреатов» в Милане от Союза Писателей. В 2012 году создан роман-мистория «Проникновение».

## Владимир Алейников

*Москва, РФ*

*Коктебель, Украина*

Стихи и прозу начал писать в школьные годы в Кривом Роге. Занимался музыкой, живописью и графикой. С 1962 г. — первые публикации стихов в украинских газетах. В 1964 г. поступил на отделение истории и теории искусства истфака МГУ. В 1965 г. он, вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его лидером. В феврале-марте 1965 состоялись знаменитые выступления СМОГа в Москве. С 1965 — начало публикаций стихов на Западе. Весной 1965 г. Алейников был исключён из университета (в 1966 г. восстановлен). При советской власти на родине не издавался. Более четверти века стихи его широко распространялись в самиздате. С 1971 по 1978 — бездомничал, скитался по стране. Алейников работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражке. В начале 80-х писал стихи для детей,

получил известность как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х изданы несколько больших книг стихов. Ныне Алейников — автор многих книг стихотворений и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. В. А. — член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле. Подробнее о В. Алейникове в Википедии.

## Анна Агнич

*Пригород Бостона, США*

Работает бизнес-аналитиком. Ее рассказы и повести можно найти на сети в литературном журнале «Зарубежные задворки» и на сайте газеты «Московский комсомолец». Бумажные публикации в журналах и альманахах: «Полдень, XXI век», «Сура», «Чайка», «РБЖ Азимут», «Другие люди», «Великолепная десятка: Сборник современной прозы и поэзии», «Согласование времен 2011», в журнале Союза писателей Москвы «Кольцо-А», в еженедельниках «Наша Канада» и «Континент» и в сборниках издательства «Фантаверсум».

## Алеся Шаповалова

*Мюнхен, Германия*

Родилась в Минске в 1976 г. По первому образованию — педагог-дошкольник, по второму — переводчик английского языка. Работала воспитателем, старшим педагогом, переводчиком, менеджером в автомобильном бизнесе. В 2002 г. заняла первое место во втором литературном конкурсе «Золотая щука» (Москва) в номинации «Лучший рассказ». Стихи печатались в литературно-художественном альманахе «Озарение» (Новокузнецк, 2003 г.), в журнале «Сетевая поэзия» (Москва, 2002 г.), сборнике стихов «Облако» (Киев, 2004 г.), в сборнике стихов «Книга о маме» по итогам конкурса «Сто лучших стихов о маме» (Иркутск, 2006 г.), в газете Международной ассоциации писателей и журналистов «АРИА» (Кипр, 2007 г.). В 2010 г. стала лауреатом международного поэтического конкурса «Под небом Балтики». С 2008 г. живет в Мюнхене.

## Григорий Блехман

*Москва, Россия*

Родился в 1945 году на Кубани в казачьей станице. С 1955 года отца живет в Москве. По специальности биохимик и физиолог. Доктор биологических наук. Много лет был научным и литературным редактором журнала «Физиология и биохимия». Сейчас основное занятие — литературная работа. Член Союза писателей России. Стихи пишет с детства, прозу — с уже зрелого возраста.

## Виктор Хатеновский

*Москва, Россия*

Родился в Минске. В 1985 г. окончил Саратовское театральное училище по специальности: актёр драматического театра. В 2007 году, после восемнадцатилетнего перерыва, возобновил занятие актёрской деятельностью. Стихи опубликованы в литературно-художественных журналах и интернет-альманахах России, Украины, Белоруссии, Германии, Канады. Живёт и работает в Москве.

## Борис Левит-Броун

*Верона, Италия*

Родился в 1950 году в Киеве, там же окончил школу, учился на искусствоведческом отделении КГХИ. После службы в армии работал фотографом, джазовым барабанщиком, джазовым певцом. В 1984 г. начал писать стихи, в 1989 г. — прозу, а в 1991 г. — философскую прозу. В 1989 г. эмигрировал в Германию, позже переехал в Италию, где продолжил занятия литературой, а также графикой.

Издано 14 книг и собрание авторских рисунков

Подробнее о Б. Л.-Б. читайте в Википедии.

## Юрий Холодов

*Саванна, США*

Юрий Холодов — профессиональный музыкант, до 2001 г. альтист известного украинского струнного квартета им. Лысенко, лауреат международного конкурса, лауреат Государственной премии им. Т. Г. Шевченко, Народный артист Украины. В настоящее время живет и работает в США. Публиковался в периодической прессе, выпустил книги: «Инесса и другие рассказы», 2001 г., «Соло для альты», 2006 г. «Тихая музыка» — третья книга Юрия Холодова.

## Александр Ланин

*Франкфурт-на-Майне, Германия*

Родился в 1976 году в Ленинграде. Окончил Боннский университет, математик, работает в банковском секторе. Стихи пишет с начала девяностых годов прошлого века. С 2001 года публикует свои тексты в интернете. Также было несколько публикаций в эмигрантских журналах и сборниках по итогам различных сетевых конкурсов.

Победитель литературного конкурса «Пушкин в Британии-2010» в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Приз имени Риммы Казаковой» «За лучшее стихотворение о любви».

В конкурсе «Осенние тетради» занял первое место в номинации «Подборка стихотворений» и второе место в номинации «Поэзия».

Редактор  
Е. Жмурко

Редакционная коллегия  
В. Порудоминский, Е. Крюкова, Н. Борисова, И. Дж. Курас

Обложка The Val Bochkov Studio © USA  
Компьютерная верстка и внутренние оформление О. Гураль

Copyright © 2013 Зарубежные Задворки  
ZA-ZA Verlag: [www.za-za.net](http://www.za-za.net)  
Düsseldorf, Februar 2013 — 240 s.

Гарнитура «Calibri»; кегль «12»  
Отпечатано в типографиях: LULU, USA и ООО «Книга по требованию», РФ